

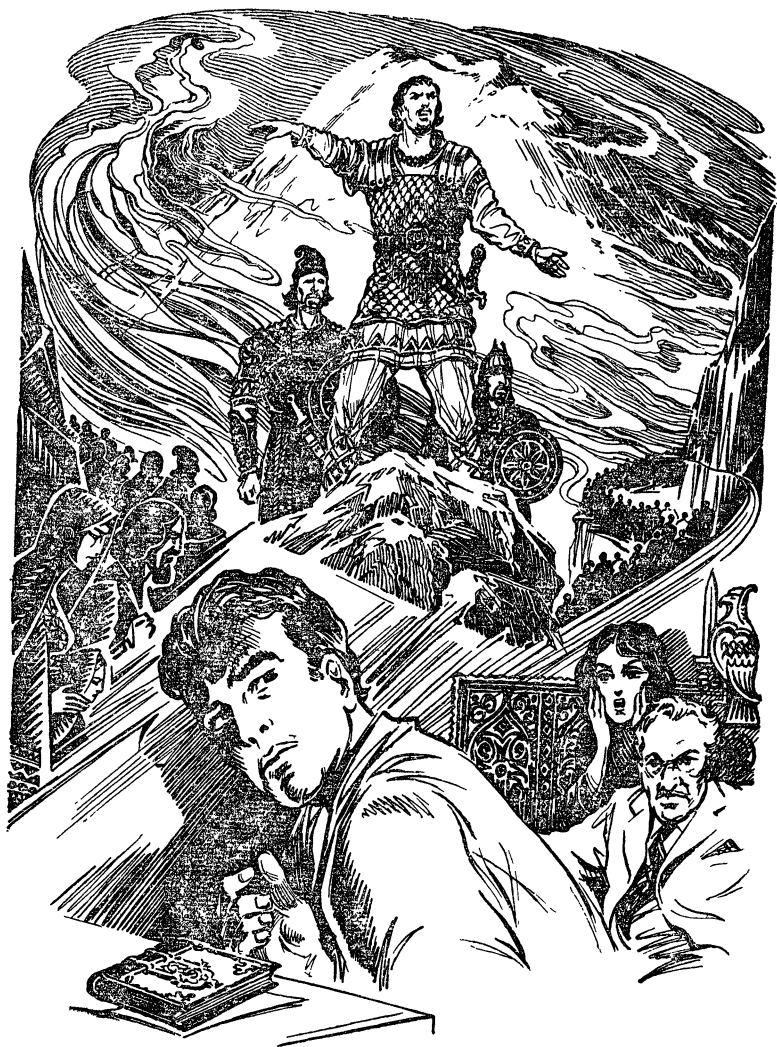
БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЛАДИМИР РЫБИН  
ГИПОТЕЗА  
О СОТВОРЕНИИ





БИБЛИОТЕКА  
СОВЕТСКОЙ  
ФАНТАСТИКИ



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЛАДИМИР  
РЫБИН

# ГИПОТЕЗА О СОТВОРЕНИИ



---

МОСКВА  
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“  
1986

84P7,  
P 93

Художник ЮРИЙ МАКАРОВ

P  $\frac{4702010200-033}{078(02)-86}$  172—86

© Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.

---

## ЖИВАЯ СВЯЗЬ

Едва материализовавшись, аппарат вдруг дернулся, послышался треск, и к ногам Сергеева упал... каменный топор. Гладкий, даже изящный, накрепко привязанный к отполированной палке, топор был в точности таким, какие Сергееву приходилось видеть в музеях. В первое мгновение он даже обрадовался: переход во времени только свершился, и сразу такой экспонат! Он нагнулся, чтобы поднять топор, и вздрогнул от близкого крика десятка здоровых глоток. Через раскрытый входной люк вливался прозрачный дым, пахнувший хвоей и пережаренным мясом. На ярко-розовом фоне утренней зари темнели перелески, а тут, в трех десятках шагов от аппарата, среди кустов бесновались, корчились в неистовой пляске люди в накиннутых на плечи звериных шкурах, воинственно размахивали топорами.

Это было почти невероятно, чтобы аппарат, скакнув через тысячелетия, вынырнул из времени в тот самый момент, когда у древних людей война, и в том самом месте, где идут боевые действия. Ведь, как ни часто воевали люди между собой, все же подавляющее время приходилось на мир, а не на войну, и возможность сразу оказаться в самой каше была такой же исчезающе малой, как столкновение космического корабля с метеоритом в пустоте космоса.

Но и эту вероятность предусматривали Правила, которые на зубок должны были знать все путешествующие во времени. Поэтому Сергеев сразу нажал клавиш с надписью «Возвращение». Но привычного головокружения, свидетельствующего о начале перехода через время, не испытал. По-прежнему пахло дымом и по-прежнему снаружи доносились воинственные вопли. С тревогой взглянув на своего помощника, молодого ассистента Колю, он включил аварийную систему. Но опять ничего не изменилось вокруг: связь со своим временем прервалась окончательно. В таких случаях путешественникам предписывалось оставаться на месте, окружив себя защитным полем, и ждать ровно сутки. Через сутки, минута в минуту, из безвременья материализуется спасательный аппарат и доставит потерпевших аварию в свое время.

Сергеев включил защиту, и почти в тот же момент на аппарат обрушился тяжелый удар другого каменного топора. Защита не работала. И тогда только Сергеев понял, что они попали в нештучную переделку. Он взял лучемер и выглянул через люк. Люди в звериных шкурах закричали громче, трое или четверо метнули топоры. Сергеев нажал на спуск, ударил по этим летящим топорам широким лучом, и они, вспыхнув в воздухе огненными мотыльками, исчезли.

Люди перестали кричать, но не разбежались в страхе, а стояли и смотрели в небо, на аппарат, на землю, не понимая, куда делись их такие тяжелые и крепкие топоры.

Наступила тишина, и Сергеев с помощью экрана кругового обзора смог оглядеться. Никаких военных действий он не увидел. И вообще не было никого вокруг, кроме этой группы воинственно настроенных дикарей. Это было непонятно. Топор мог попасть в аппарат лишь случайно, в тот краткий миг, когда материализации еще не произошло, а переход во времени уже свершился. В кого же они бросали?

— Что будем делать? — спросил Сергеев у своего ассистента, кивнув на воинственно наступающих дикарей.

Коля удивленно вскинул большие голубые глаза, растерянно захлопал ресницами: еще ни разу учитель не спрашивал у него совета.

— Н-не знаю, Сергей Иванович.

— Представь, что меня нет. Что бы ты сделал?

— Ну... вот этим лучеметом...

— Убивать нельзя. Они же беззащитны против нас.

— Зачем убивать? Я бы... провел черту.

— Какую черту?

— Они же все босиком, не пойдут на горячее.

— Умница, Коля. Именно черту.

Сергеев поднял лучемет, и кусты, росшие между аппаратом и толпой дикарей, ослепительно вспыхнули. Толкая друг друга, дикари попятнулись, но опять-таки не разбежались, остановились поодаль, скорее с любопытством, чем со страхом, смотрели на черную полосу, отделившую их от аппарата. Долго стояли так, ожидая, что еще будет. Наконец один, самый смелый, шагнул вперед, ступил на край черной полосы и вдруг завопил истошно, покатился по земле, вздергивая обожженной ногой. Это, как видно, убедило дикарей больше, чем горящие кусты, — все бросились бежать.

— Больше не сунутся, — сказал Коля.

— Жаль. Мы ведь тут не на экскурсии, а чтобы изучать этих самых людей...

В этот момент за стеной что-то зашуршало, и в люке показалась большая, черная от мозолей рука. Затем медленно, очень медленно высунулась и голова. Это был старик. Тяжелые брови нависали над глубоко запавшими глазами, седая борода спадала, казалось, от самых щек. Старик минуту без страха оглядывал внутренность аппарата и вдруг выкрикнул что-то хриплым, гортанным голосом.



Сергеев телепатически принял его восклицание как вопрос:

— Кто... вы?

— Люди, — ответил, широко улыбаясь.

К его удивлению, старик что-то понял, тоже заулыбался, отошел от люка и поманил узловатым пальцем. Сергеев огляделся, осторожно ступил на землю. Перед ним стоял невысокий человек в одежде из шкуры какого-то длинношерстного животного, накинутой на левое плечо, туго затянутой в поясе тонким кожаным ремнем. Под одежду было что-то напихано, отчего старик казался кривобоким.

— Хороший дом! — сказал старик тягуче и ласково, показав на аппарат. — Таких домов у нас нет. Мы еще не научились строить такие дома.

Сергеев готов был поклясться, что именно это сказал старик, так ясно высветилось понятие в его мозгу, тренированном телепатическим общением.

— Вы упали оттуда? — Старик показал на тяжелую тучу, висевшую в небе, и Сергеев вдруг понял, откуда он взялся, этот странный человек. Он находился на этом самом месте, где материализовался аппарат. Значит, топор, разбивший приборы, предназначался ему? Но почему его хотели убить? Кто он? Чужак? Вор? Изгой, отвергнутый своим племенем? Но может ли старый человек нести в себе столько зла? Злыми в старости не становятся. Если же он с молодости был лишен добродетелей, то как дожил до таких лет? Хорошо изучивший нравы эпохи, которую Сергеев собрался исследовать с помощью перемещения во времени, он знал, что в эту суровую пору изгнание из племени за антиобщественные поступки применялось неукоснительно. Таким образом племя очищалось от зла и потому оставалось добродетельным.

Старик забеспокоился, как видно, правильно поняв и насторожившийся взгляд Сергеева, и его мысли, сунул руку за пазуху, выхватил горсть каких-то неочи-

щенных семян и заговорил страстно, захлебываясь словами. И Сергеев понял: нет, он не вор, а старейшина племени, живущего своими трудами, как жили отцы и деды, он учит соплеменников сеять съедобную траву, а Великий охотник не хочет, чтобы люди сеяли траву, потому что тогда никто не пойдет за ним, люди будут ждать, когда трава вырастет...

Он схватил Сергеева за руку и потянул за собой.

— Коля! — крикнул Сергеев. — Оставайся в аппарате и никого не подпускай!

— А вы?!

— Не терять же время, раз мы все равно тут.

— Так они, может, людоеды!

— Сеющие хлеб не могут быть людоедами. И потом — я вооружен. Они же беззащитны против меня.

Старик быстро перебирал ногами, скользя кожаными постоломи по высокой жесткой траве, время от времени оглядываясь, торопил взглядом. Впереди блеснула вода, трава стала мягче, и скоро Сергеев увидел над пологом взгорье у речки желтые травяные крыши. Собаки с лаем кинулись навстречу, но Сергеев мысленно успокоил их, и они, виляя хвостами, побежали назад. Старик оглянулся, улыбнулся одними глазами, что-то сказал с оттенком удивления.

— Собаки доброго человека чувствуют, — слышалось Сергееву, и он снова удивился, как хорошо понимается чужая мысль, если не прислушиваться к словам, а прямо принимать смысл подсознанием. Там, в цивилизованном мире, где разум основательно приглушил древние инстинкты, это получалось с большим трудом, а здесь настроенное на телепатическую связь подсознание выполняло роль настоящего переводчика.

Из деревни выбежали мальчишки, затоптались вдали, боясь подойти. Самых маленьких матери шлепками загнали под навесы и осторожно выглядывали оттуда, из полумрака. Молодые парни, голые, в одних только набедренных повязках, что-то копавшие деревянными

мотыгами, схватили длинные копыя и застыли на месте. Посередине небольшого хлебного поля, желтевшего ровным квадратом, стояла девушка в чем-то белом, накинутом на плечи. В одной руке у нее была кривая кремневая пластина — серп, другой она держала длинную прядь волос, закрывая ими лицо. Даже коровы, что паслись у самой реки, замерли в неподвижности, словно и их тоже заразили эти охватившие деревню тревога и любопытство.

— Это Лю, моя внучка, — сказал старик, показав на девушку. И обвел рукой, словно представляя гостю все вокруг. — Вот смотри сам, мы живем, как жили отцы и деды наши. А Великий охотник не хочет жить как все.

Он прошел к большому костру, тлевшему посередине деревни, сел на обломок дерева и показал черной своей рукой на такой же обломок, лежавший по другую сторону костра, приглашая сесть.

Долго они сидели так, смотрели друг на друга, улыбаясь понимающе, как два заговорщика. Старик думал о том, что он уже стар и скоро совсем уйдет, но не может умереть, пока не докажет людям, что Великий охотник не прав, иначе люди послушают его, перестанут сеять съедобную траву, пасти коров, стронть дома и начнут метаться по земле, как дикие звери, и наполняться злом, как звери же, и люди других родов будут бояться людей Великого охотника, бояться и ненавидеть. И рано или поздно на них начнут охотиться, как на диких зверей, и племя исчезнет, проклинаемое всеми. Не может племя жить вне других племен, не может человек жить без любви друг к другу, к своему полю, к своей реке, к дому своему...

Старик оглядел влажными глазами поле, и реку, и березовое редколесье неподалеку, вздохнул и сказал уже вслух:

— Племя, живущее по-звериному, не племя, а стадо...

Сергеев кивнул, хорошо поняв и его мысли, и его слова.

Между тем солнце припекало, и Сергееву в его плотном металлизированном скафандре, обязательном для перехода сквозь время, становилось жарковато. Но снимать его техника безопасности не разрешала, поскольку только по этому скафандру человек, затерянный в веках, может быть найден и спасен.

Он расстегнул ворот, сказал тихо, прижав ларингофон пальцем:

— Коля, я тут, в деревне, в двух километрах на юг. Не беспокойся.

— Зачем он вас увел? — спросил Коля.

— Думаю, ему надо было доказать, что его племя — это добрые люди...

Он глянул на старика и удивился: тот внимательно слушал, наклонив голову, и кивал удовлетворенно, словно все понимал. «А может, он и в самом деле понимает? — подумал Сергеев. — Цивилизация многое дала человеку, но многое и отняла, точнее, заглушила. Например, сферу предчувствий, возможность интуитивных взаимопониманий. У человека в мозгу миллиарды нейронов, из которых больше трех четвертей всегда спит. Спит ли? Эволюция не могла создать бездействующий орган. И у этого старика — те же миллиарды нейронов. И возможно, у него, еще не оглушенного голосом всегда логичного разума, все эти миллиарды активно работают, предчувствуют, предугадывают, позволяют узнать такое, о чем люди будущего, оснащенные машинами времени, лучеметами, высочайшей технологией, даже и не догадываются...»

И тут ему представилась возможность убедиться в этом своем предположении. Старик вдруг забеспокоился, привстал и крикнул тревожно, что Сергеев понял как сигнал, предупреждающий о какой-то опасности. Женщины, успокоившиеся было совсем и высыпавшие на поляну, снова начали загонять ребятишек под навесы.



Мужчины и парни, похватав топоры и копья, сгрудились за спиной старика, опасливо поглядывая на Сергеева.

— Люди Великого охотника! — крикнул старик, показывая на едва заметную тропу, выющуюся по-над рекой.

И только тут Сергеев расслышал крики. Через мгновение он увидел десятерых голых по пояс парней. Они бежали к деревне, воинственно размахивая топорами. И он узнал их: это были те самые дикари, что нападали на старика. Сергеев шагнул им навстречу, поднял лучемер и пересек тропу огненной чертой.

Тишина повисла над деревней. Люди, стоявшие за спиной старика, сгрудились плотнее, с ужасом наблюдая, как дымится черная полоса земли. Нападавшие разбежались, попрятались за кусты. Только один, коренастый и сутулый с короткой рыжей бородой, стоял перед дымящейся полосой. Он оглядел ее внимательно и пошел направо, к реке. Обогнул полосу по сырому лугу и направился к костру.

Теперь Сергеев хорошо разглядел его: жилистые волосатые руки, набедренный пояс из толстой жесткой кожи, на котором болтался короткий кремневый нож с костяной рукояткой, на шее — ожерелье из семи или восьми острых длинных клыков какого-то зверя. В одной руке этот человек сжимал лук и три стрелы, другой придерживал на плече толстое древко тяжелого короткого копья.

— Зачем чужой пришел в нашу деревню?! — выкрикнул он угрожающе и приподнял на плече копье.

— Он добрый человек, — сказал старик.

— Чужой не может быть добрым человеком!

— Ты смел и силен, Великий охотник, но ты ошибаешься. Сам отбил от добрых дел и про других думаешь плохо.

— Чужие хороши лишь тогда, когда делают то, что я велю.

— Опять ты за свое, — примирительно сказал старик.

— Да, за свое! — с вызовом выкрикнул Великий охотник. — Когда человек делает всё, как ты и твои люди, он ничего не умеет. Я — только охотник, и я хороший охотник, лучше всех вас. Меня все боятся. Каждая деревня дает мне еду и ночлег у костра, чтобы я отгонял зверей. Сейчас у меня столько людей, сколько пальцев на руках, и каждый умел и бесстрашен, как я сам. Будет еще столько. Все мужчины этой деревни пойдут за мной. Нам не надо будет сеять съедобную траву, доить коров, добывать кремь. Все это сделают люди других деревень. А мы возьмем топоры и луки и получим лучшую еду. Мы все будем охотниками, а они будут работать, чтобы мы могли их охранять...

Он говорил громко и выразительно, явно в расчете на то, чтобы пришелец понял и устранился и не угрожал больше своей палкой, бросающей огонь. И чтобы слышали все: и те, что стояли рядом, и те, что обходили теперь дымящуюся полосу земли.

— Ты ошибаешься, — тихо сказал старик.

— Великий охотник никогда не ошибается. Я отниму у пришельца его палку, и никто на всей земле не посмеет со мной спорить. Тогда все деревни будут жить тихо и мирно...

— Ты ошибаешься! — твердо повторил старик. — Люди, разучившиеся копать землю, ходить за скотом, жить жизнью деревни, забудут, кого и зачем им охранять. Они будут охранять лишь самих себя, и скоро люди Великого охотника станут для людей деревень хуже диких зверей. Наступит время бед и разорений. Ты опасен...

И тут случилось то, чего Сергеев, напрягавший все свое умение, чтобы понять смысл дискуссии, никак не ожидал. В мгновение охотник перехватил копьё и яростно метнул его в старика. Почти сразу люди, стоявшие за спиной старика, метнули свои копьё, но охотник каким-

то образом увернулся от них, подхватил с земли сразу два, выпрямился, ухмыляясь.

И в этот миг дикий, полный ужаса женский вопль вдруг разорвал напряженную тишину. Сергеев не сразу понял, что произошло. Но это поняли все, стоявшие у костра. И те и другие люди дружно бросились к желтому хлебному полю, словно не они только что были непримиримыми врагами. Там, среди колосьев, металась девушка, ее длинные волосы живописно пластались на ветру.

Сергеев подбежал к старику, завалившемуся на спину, вырвал копьё, наклонился, чтобы осмотреть рану, но старик оттолкнул его руки, мутным предсмертным взглядом показал туда, в поле. Только теперь, с непонятным запозданием, Сергеева пронзило острое чувство тревоги. Не за жизнь старика, за нечто, показавшееся более важным. Он побежал вслед за всеми и уже на бегу разглядел что-то большое и темное, катившееся за девушкой. Зверь!

Первым добежал до девушки Великий охотник, оттолкнул ее, присел, уперев в землю оба копьё, выставив вперед острые наконечники. И тогда Сергеев разглядел зверя. Это был огромный медведь. Черной глыбой он навис над охотником, опустил, сломав копьё, достал его, мощными лапами рванул к себе. Сергеев поднял лучемер, намереваясь острым зарядом попасть в голову зверя, но вокруг метались люди с копьёми, и он все медлил нажать на спуск. Наконец лучемер свистнул пронзительно, под ухом у медведя вспыхнуло небольшое ослепительно белое пятно, и зверь рухнул навзничь, подминая людей...

Они лежали рядом возле костра, примиренные смертью, Великий охотник и мудрый старец, оба широко раскрытыми глазами невидяще смотрели в синее небо, словно прислушивались каждый к себе. С двух сторон неподвижно стояли люди. Между ними не ощущалось вражды, но не было и добросердечия, как будто и



те и другие заохлодели до поры. И только длинноволосая девушка сидела в стороне, уткнув лицо в колени, навзрыд плакала по обоим сразу.

«Путешествуя во времени, нельзя вмешиваться в естественный ход событий», — вспомнил Сергеев цитату из Правил. Легко писать такое, но как не вмешиваться, когда гибнут люди, а может быть, и целые сообщества людей?! Да он и не вмешивался ни во что, просто само его появление обострило и без того напряженные события. И чем дольше он останется тут, тем хуже для них. Свои проблемы народы решают сами, всякое вмешательство, даже если оно с благими намерениями, способно только затруднить и без того мучительный процесс.

«Надо уходить», — подумал Сергеев. Он сосредоточил свои мысли на добром, чтобы внушить этим людям чувство безопасности, доброжелательства, и, повернувшись, пошел прочь. Никто ничего не сказал, никто не тронулся с места, только девушка, когда он проходил мимо нее, подняла заплаканное лицо, скользнула пристальным взглядом по блестящему скафандру, по лучемету. Он не обратил внимания на то, о чем она в этот момент подумала, так был поражен красотой девушки. И если оглядывался, то прежде всего для того, чтобы еще раз взглянуть на нее...

Коля, как дисциплинированный часовой, ходил вокруг аппарата, держа лучемет наготове. Увидев Сергеева, он обрадовался так неистово, что сразу стали видны и его беспокойство, и тревога. Сергеев сел на камень, лежавший у входного люка, движениями рук возле висков сбросил нервное напряжение и стал рассказывать Коле о том, что произошло в деревне.

— А ведь я мог его спасти, — сказал под конец.

— Кого?

— Великого охотника. Теперь точно знаю: мог. И не сделал. Промедлил. Сознательно промедлил.

— Почему?

— Почему? — переспросил Сергеев. И вдруг вскочил, увидев неподалеку ту самую девушку. Она шла медленно, с трудом переставляя ноги, словно заставляя себя сделать очередной шаг.

Коля онемело смотрел на девушку, и по лицу его было видно, что он не столько удивляется, сколько любит ее.

— Кто это? — наконец спросил он.

— Лю, — коротко ответил Сергеев. — Внучка того старика.

— А... чего она?

— Пришла на тебя посмотреть.

— Я серьезно спрашиваю.

— А серьезно я знаю столько же, сколько ты.

— Может, спросить?

— Ты же не владеешь телепатией.

— Вы спросите.

— Тебя это интересует?

— А как же! — удивленно воскликнул он.

— Попробую.

Сергеев пошел навстречу девушке, и она замерла, застыла на месте, ожидая. Только по дрожащим коленям было видно, как страшно ей, как трудно стоять неподвижно.

— Чего тебе? — спросил Сергеев и еще дважды мысленно повторил эти слова.

— Я... так, — прошептала она.

— Идем к аппарату, коли так.

Он взял ее за руку, и она пошла за ним, обмякшая, послушная.

— Вот, знакомьтесь, — сказал он, подводя девушку. — Это Коля.

— Лю, — выдохнула она.

— Имя-то какое прекрасное! — воскликнул Коля, не отрывая глаз от ее лица.

— Смотри не влюбись...

Но он уже видел: парень то краснел, то бледнел и не мог произнести ничего вразумительного.

— Лю, — повторила девушка.

— Николай! — радостно представился он.

— Лай...

— Какой Лай?! Коля я.

— Ко...

Она быстро смелела рядом с Колей, должно быть, обостренным инстинктом дикарки чувствовала свою власть над ним.

— Сергей Иванович, возьмем ее с собой, а?

— Коля, это же не игрушка.

— Разве я говорю?..

— Не говоришь. Но и не думаешь. Она человек, Коля, что она будет делать в нашем времени?

— То же, что и мы.

— Грудного ребенка можно перевоспитать, а не взрослого человека. Она выросла в своем времени и принадлежит ему.

— Ну, хоть ненадолго. Мы ее вернем...

Сергеев недоумевал: взрослый человек, а несет такую чушь. Он мог резко оборвать, мог просто игнорировать его слова, как не заслуживающий внимания лепет, но не обрывал и не игнорировал, а терпеливо разъяснял, щадя взбаламученную в этот миг Колину психику. А девушка, словно поняв, о чем речь, или, что вероятнее, почувствовав беспомощность Коли перед нею, вела себя с ним все более бесцеремонно. Подошла вплотную, заглянула в глаза, заговорила быстро и страстно.

— Она зовет тебя, — сказал Сергеев.

— Куда? — побледнел Коля.

— В деревню. Правда, насколько я понял, ее больше интересует твой лучемер.

— Почему лучемер?

— Она видела его в действии. Лю говорит, что ты станешь у них Великим охотником и тебя все будут почитать как первого человека в деревне.

— Как Миклухо-Маклая?!

— Миклухо-Маклай был без оружия, его принимали как равного и чтили за доброту.

— А я добрый.

— Не знаю, каким ты станешь, получив власть над людьми.

Девушка меж тем бесстрашно протянула руку к лучемету, висевшему у Коли на груди, принялась гладить пластмассовый кожух.

— Можно, я дам ей потрогать? — спросил Коля, не имея сил оттолкнуть руки.

— Можно, — помедлив, разрешил Сергеев. — Только вынь обойму. — Его вдруг обожгла одна мысль, но он поспешил погасить ее, чтобы эту мысль не угадала девушка.

И все произошло так, как он ожидал: получив луче-мет, девушка прижала его к себе и так стояла минуту-другую, блестя глазами то ли от восторга, то ли от страха. И вдруг бросилась бежать.

— Стой! — закричал Коля. — Отдай луче-мет! — Он побежал было за ней, но девушка уносилась такими стремительными прыжками, что нечего было и думать догнать ее.

— Ничего, — утешил его Сергеев. — Без обоймы луче-мет не опасен.

— Как она могла! — горячился Коля. — Она ведь такая...

— Красивая, понимаю, — улыбнулся Сергеев. — Красота и зло несовместимы. Но она поняла, что значит для племени это оружие, и пошла добывать его. Так сказать, жертвуя собой. Жертвовать собой во имя племени в те времена было не исключением, а правилом.

— Она не сама... Ее заставили, — ничего не поняв из слов Сергеева, пробормотал все еще не опомнившийся Коля.

— Плохо, если заставили... Если смогли заставить.

— Почему?

Сергеев не ответил. Отошел к аппарату, сел на камень и задумался. Нет, он не хотел верить, что этих людей можно к чему-то принудить силой. Люди каменного века были трудолюбивы, бесстрашны и горды. И подчинялись старшему не потому, что боялись наказания, а осознавая свою принадлежность к единству рода, безопасность которого зависела от того, что впоследствии было названо термином «сознательная дисциплина». Один за всех, все за одного — только так можно было выжить в тех трудных условиях, и это было неписанным законом для каждого. В такие нравственные правила, господствовавшие на заре существования человека разумного, Сергеев глубоко верил, на что были у него, специалиста по первобытным культурам, веские основания.

Солнце зашло за край лесистой равнины. Редкие облака над горизонтом вспыхнули багрово, и, словно отзываясь на огненный призыв неба, разгорелась пламенем далекая излучина реки. Стояла тишина, какая часто бывает по вечерам; звери, затаившиеся в траве, в кустах, в каждом перелеске, ждали, когда упадет ночь и можно будет выйти на охоту. Звери были теперь главной опасностью. Люди в деревне, получив желанное, до утра едва ли разберутся, что нестреляющий лучемет — пустая игрушка в сравнении с их надежными кремневыми копьями.

— Давай, Коля, готовиться к ночи, — сказал Сергеев. — Ночевать будем внутри аппарата. Точнее, не ночевать, а переждать ночь. Спать не разрешаю. Да, я думаю, и не захочется нам спать. Когда еще удастся провести такую ночь среди первобытной природы? Мы будем сидеть и слушать, как воют волки и лают лисицы, как урчат медведи, уверенные в своей безопасности, как тигры охотятся на кабанов...

Они наглухо задраили входной люк и, включив внешние микрофоны, долго сидели, не зажигая света, слушали. А потом Коля не выдержал, спросил:

— Сергей Иванович, я так и не понял, почему вы промедлили, не спасли Великого охотника?

— Наверное, потому, что знаю историю, — ответил Сергеев.

— Разве знание может чему-либо помешать?

— Мудр был старик, — не отвечая на вопрос, задумчиво сказал Сергеев. — Ясновидец. Вот кого я взял бы в наше время. Чтобы понял, что был прав, и утешился на старости лет. Я все вспоминаю его слова: «Племя, живущее по-звериному, не племя, а стадо». Великий охотник хотел превратить всех мужчин племени в стадо людей, не желающих трудиться и умеющих только отнимать. Он уверял, что его люди будут охранять тех, кто работает. Но мы-то знаем, к чему в истории приводили подобные намерения. Сколько было отдельных владык и целых племен, утверждавших, что они устанавливают на земле всеобщий мир и порядок. Для этого они всегда выдвигали одно условие — чтобы все остальные люди стали послушными рабами. Но отрывавшиеся от труда, от дел насущных, эти владыки и племена быстро деградировали и исчезали в веках, оставляя после себя потоки крови и недобрую память. Достаточно вспомнить Чингисхана. Его орды не умели и не желали трудиться. Это была целая идеология: они — воины, а все остальные — рабы, обязанные кормить, одевать, вооружать их. Один бог на небе, один владыка на земле. Порядок! А порядка-то как раз и не было. Получался сплошной беспорядок. Жестокость и бесчеловечность становились нормой. А человек, пока он человек, не может мириться с бесчеловечностью. Заяц и тот сопротивляется, когда его настигает лиса. Для того ли человек прошел долгую и мучительную эволюцию от звериной дикости к высокому самосознанию и гордости, чтобы смириться с безумством самоубийц?!

Кто-то рывкнул в ночи совсем близко, и аппарат качнулся от тяжелого царапающего удара.

— Спокойно! — остановил Сергеев вскочившего было Колю. — Человек ночью не охотится, а зверь нам не опасен.

Большой зверь, должно быть, медведь, походил вокруг, временами тяжело наваливаясь на стенки аппарата, и удалился.

Снова они сидели молча, слушали ночь. Сергеев думал о мудром старце, его человечности и прозорливости. О Великом охотнике ему вспоминать не хотелось. И Коля — Сергеев ясно понимал его мысли — думал не об охотнике, а о красавице Лю. Он ерзал, громко вздыхал в темноте. А Сергеев молчал, не хотел прерывать его дум. Он знал: человек добреет, думая о добром.

Видимо, он все-таки задремал, потому что монотонные шорохи ночи внезапно исчезли и над низким горизонтом так же внезапно обозначилась розовая полоска зари. Темнота в аппарате стала какой-то мутной, словно бы забеленной молоком. В этой мути Сергеев разглядел лицо Коли. Он сидел с широко раскрытыми глазами и грустно улыбался.

— Все сердишься на девушку?

— Чего она такая?! — печально сказал Коля.

— Обычная для своего времени. Как видно, сторонники Великого охотника в этом племени побеждают. А жаль...

Он открыл люк, вышел в свежий росный сумрак утра и вдруг увидел прямо перед собой на камне лучемер и несколько колосьев, положенных поверх него.

— Коля! — закричал он радостно. — Коля, она не такая!..

— Ага, — засмеялся Коля, увидев свой лучемер. — Поняли, что не стреляет, вернули!

— Они не могли этого понять.

— Разобрались, что техника им не по зубам.

— Они не могли в этом разобраться.

— Чего же тогда?

— Всего скорее сработал хорошо понятный им принцип: нельзя красть.

— Чего же она?!

— Видимо, по молодости, по глупости. Думала осчастливить племя. Но мудрый старец, как видно, не одинок. И другие верят: краденое приносит несчастье.

— Значит, племя не пойдет за охотниками! — воскликнул Коля с таким жаром, словно это касалось его лично.

— Похоже, что не пойдет...

Что им было до племени, одного из миллионов, прошедших по истории? Эти люди давно свершили свое и ушли, растворились во времени. Что им, на миг заглянувшим в прошлое, было до всей этой эпохи? Но и юный Коля, и умудренный опытом Сергеев радовались, как подростки. Оба они вдруг, не разумом — сердцем, поняли, что между их высокоцивилизованным обществом и наивными добродетелями этих людей из первобытной деревни существует живая трепетная связь. Еще не осознав этой связи, они уже ясно ощущали ее, как тугую струну, которая, в каком месте ни тронь, вся отзывается прекрасным пением...

## О ЧЕМ ПЛАЧЕТ ИВОЛКА

— Не плачь, Алешка, ты же мужчина.

— Да-а, — еще громче залился малыш. — Это папино... папино...

Дед поднял разбившийся кристалл и посмотрел, нельзя ли его склеить. Это было нетрудно, но кристалл потерял бы главное достоинство — прозрачность, волшебную игру граней. И как он только разбился?! Словно живой, вырвался из рук. И удариться в вездеходе не обо что — повсюду мягко, до чего ни дотронься. А он



упал и разлетелся на две равные части. Видно, были в нем свои внутренние напряжения, которые только и ждали, чтобы разорвать кристалл пополам.

— Был у тебя один папин подарок, а теперь стало два.

— Да-а!..

Он не знал, как еще утешить внука.

— Не плачь, видишь иволка и та не плачет.

Алешка посмотрел на иволку с ненавистью, словно она была во всем виновата, и дед перестал его уговаривать: зачем в маленьком человеке множить объекты неприязни?

Иволка и впрямь не плакала. Сидела в углу, втянув свою квадратную голову, и молчала. Это было непонятно, потому что обычно она всегда, днем и ночью, издавала мелодичные звуки, напоминавшие то ли грустную песню, то ли безгоревой детский плач. За эти песни она и получила свое название. «Поет, как иволга», — сказал первый же из переселенцев, услышавший ее. Так и пошло: иволга да иволга. Хотя никакая она была не иволга, даже не птица, а маленькая ящерка из тех, что в обилии водились на плоскогорье. Видно, даже через десятилетия живет, не умирает в людях тоска по родному, если они и на другом конце Вселенной дают все-му, что ни увидят, земные имена. Но вскоре почему-то это название преобразилось в иволку. Плач ее не раздражал, даже словно бы успокаивал, вносил в душу чувство благополучия, чего-то доброго. Потому все в поселке мирились с присутствием в домах ящерок, они лазали где хотели, никому не причиняя вреда. Кое-кто из поселенцев даже приваживал их, намереваясь исследовать необычное воздействие плача на психику человека. Но дальше констатации самого факта такого воздействия дело ни у кого не шло.

Иволка молчала, и дед подошел к ней, погладил пальцем гладкую темно-коричневую кожицу на спине. Обычно от такого прикосновения глаза у ящерки взблес-

кивали и она начинала петь громче, но теперь иволка только еще больше втянула голову.

Алешка перестал плакать, тоже заинтересовавшись странным поведением ящерицы, и дед, собиравшийся уже оставить ее в покое, все продолжал гладить. Ему казалось: перестань он это делать, и Алешка опять вспомнит о своем горе.

И вдруг ящерица опала вся, лапки ее подогнулись, глаза закатились. Алешка сопел за спиной у деда, и он не оборачивался, боялся увидеть в глазах внука очередной упрек: кристалл разбил, иволку уморил... Слишком много обвинений сразу, достаточно, чтобы потерять в глазах маленького человека весь свой авторитет.

И тут деду показалось, что иволка запела, но не как обычно, а странным, дребезжащим голосом. Он было обрадовался, но тут же и догадался, что это сигналит — зудит какой-то прибор на пульте управления. Оглянулся, увидел красный мерцающий глазок на самом верху приборной панели. Прибор этот, сколько помнил, никогда не включался сам, а только во время контрольных проверок, поэтому дед не вмиг сообразил, что означает его зов. А сообразив, похолодел. Это был сигнал крайней опасности, когда вся компьютерная система уже не знает, что делать и вызывает о помощи к человеку. Он кинулся к пульту и тут же упал от сильного удара снизу, покатился по полу.

Очнулся от тряски. Открыл глаза, увидел рядом бледного Алешку, у которого тряслись щеки и дергалась нижняя челюсть. Преодолевая немоту в коленях, вызываемую сильной вибрацией пола, дед поднялся и огляделся, недоумевая, обо что мог так сильно удариться? Стрелка на шкале указателя землетрясений стояла на красной двенадцатибалльной черте. Таких землетрясений на этой планете еще никогда не было. Но пугало другое: почему сигналит прибор крайней опасности? Не мог же компьютер спасовать перед землетрясением, даже очень сильным? В него заложена программа,

предусматривающая самые экстремальные ситуации, и компьютер должен самостоятельно принимать решения, даже если вездеход перевернется, свалится с горы, упадет в море. На то он и вездеход, чтобы двигаться в любом положении, по любой поверхности, а если надо, то и над нею, опираясь на воздушную подушку.

Снова сильный удар снизу. Дед успел схватить Алешу и вместе с ним покатился по полу. Снова вибрация, от которой застучали зубы и помутилось в голове.

И вдруг все прекратилось. Только откуда-то доносился непонятный гул, да прибор все ныл надрывно и зудяще, моргая красным глазом. Дед глянул на экран кругового обзора и понял: ничего не прекратилось. Черные камни вокруг вездехода тряслись, как в лихорадке, и пыль клубами стлалась над горной долиной, словно дым. Это компьютер, сообразив наконец-то, что надо делать, поднял вездеход над трясущимися камнями. Было удивительно, что он так поздно сделал это, но разбираться в случившемся было некогда. Взгляд невольно приковывался к страшной картине, разворачивавшейся на широком, в полстены, экране. Вид местности все время менялся, громадные камни ворочались, как живые, горы, обступившие долину, укутывались в плотные покрывала лавин. Такого не было за всю историю существования поселения, такого здесь даже не предполагалось. Планета считалась тихой, отшумевшей давным-давно, еще миллионы лет назад. Да, видно, копилось внутреннее напряжение, пока не прорвалось таким невиданным землетрясением. Отсутствие мелких землетрясений должно было говорить не о покое, а о скрытом копящемся напряжении. И если не было мелких землетрясений, то, может быть, следовало их вызвать искусственно. Уж лучше частая, да небольшая тряска, чем один такой катаклизм...

Мысли проносились в голове стремительно и сумбурно. Шевельнулось беспокойство о поселке, который не мог, как вездеход, оторваться от грунта и переждать

землетрясение. Но поселок был далеко, и хотелось верить, что туда доносятся лишь отголоски этого буйства стихий. Дед взглянул на Алешку. Тот, не отрываясь, смотрел на экран и, похоже, не испытывал испуга ни за себя, ни за свою мать и приятелей своих, оставшихся там, в поселке. Он еще не знал страха за близких, которых нет рядом. Как все дети. Потому, наверное, так редко у них стрессы, нервные перенапряжения.

А иволка все так же неподвижно лежала на столе, куда положил ее Алешка, и молчала. А гул землетрясения все не прекращался. А прибор все зудел, предупреждая о какой-то еще неведомой опасности.

— Чего еще можно ожидать? — спросил дед у компьютера.

— Непокойно гравитационное поле, — ответил бесстрастный голос.

— Что значит непокойно? — Его даже не встревожило это сообщение. Что может быть стабильнее гравитации? Она какая есть, такая и есть, и непокойным может быть лишь поведение предмета в гравитационном поле. Вероятно, и теперь компьютер принял одно за другое.

— Меняется гравитация.

— Как меняется? Увеличивается? Уменьшается? Насколько?

— Колеблется. В среднем пока остается на своем уровне.

«Пока»! Это словечко совсем не понравилось деду, и он решил не переживать землетрясения, а поскорей убраться из этой долины. Пока не поздно. Клубы пыли начали наползать на экран, потом все застлала равномерно-серая вуаль, которая время от времени разрывалась на мгновение, и тогда было видно, что вездеход летит над местностью с огромной скоростью. И на черном экране радиолокатора, испещренном негативными изображениями извилистых горных склонов, все было

в движении, словно горы шевелились, просыпаясь от вечного своего сна.

— Ничего, Алексей, и не такое видали, выберемся, — сказал дед испуганно прижавшемуся к нему малышу и потрепал его по голове. А сам подумал, что такого, пожалуй, не видывал никто, разве что те, кто не возвращался из дальних экспедиций. Кто знает, что видели они в свой последний час?

«В последний час», — повторил дед мысленно и заставил себя не думать о мрачном. Вдруг Алешке передается эта готовность поверить в безнадежность? Способность детей предчувствовать — самое неизученное явление. Никому не ведомо, что они могут, да еще в такой исключительной ситуации.

Пыльная завеса за экраном стала редеть, сквозь нее прорывались багровые отблески.

— Что происходит? — спросил дед у компьютера. — Ты давай докладывай, не жди вопросов.

— Пока нет повода для беспокойства.

Ничего себе — нет повода. Совсем нехоти вспомнился деду старый анекдот о некоем мальчишке, который много лет не произносил ни слова и закричал лишь тогда, когда его отец едва не попал под машину. «Ты же можешь говорить, почему молчал?» — спросили его. «Не было повода», — ответил он. Достойное дитя компьютеризированного рационалистического века. Но деду сейчас совсем не хотелось находиться в роли близких того мальчишки. Словно дикарю, только что обретшему дар слова, ему хотелось разговоров. Чтобы кто-то говорил и говорил, успокаивал. Он посмотрел на Алешку, опасаясь, не понял ли внук этой минутной слабости. Алешка был занят своим кристаллом, складывал половинки, раздумывая, как их можно соединить.

— Скоро у меня будет два папиных подарка, — сказал он.

— Я же говорил...

— Видишь, какие они уже большие?

Кристаллы и впрямь вроде как выросли. Дед взял один из них, взвесил на руке и решил, что это не они растут, а происходящее каким-то образом действует на сознание, ломая привычные представления об окружающем. Ведь бывает же, что даже самое неизменное из имеющегося во Вселенной — время — и то, как нам порою кажется, замедляет или ускоряет свой бег. Кто этого не испытывал? То оно тянется, как резина, то мчится — не замечаешь.

— Гравитация заметно снижается, — сказал компьютер.

— Ты разберись хорошенько, в чем там дело.

— Я никогда не докладываю, не разобравшись.

— Может, дело вовсе не в гравитации? Я же не чувствую никакого снижения.

— Речь идет об очень слабых воздействиях.

— А говоришь — заметно.

— Это заметно лишь для меня.

— Ты уж, пожалуйста, уточняй, не пугай нас.

— Вы же сами просили сообщать все...

И тут полыхнуло где-то совсем рядом: сплошная пелена пыли за экраном на мгновение стала кроваво-красной. Вездеход начал резко тормозить, отчего их обоих прямо-таки прижало к пульту управления. И полумертвая ящерка и обе половинки кристалла, которые Алешка тоже положил на стол, едва не съехали на пол.

— Необходимо сменить курс, — объяснил компьютер. — Впереди извержение.

Дед и сам видел на черном экране локатора, что выход из долины загораживала какая-то подвижная белая мембрана. Она пульсировала, шевелилась, словно огромная гусеница, выползавшая из-за горы. И только у левого среза оставался еще темный провал прохода.

— Может, проскочим?

— Опасно, — коротко отрезал компьютер.

— Тогда поворачивай назад. Вернемся тем же путем. Вездеход круто развернулся и помчался, все набирая

скорость. Пыльная пелена за экраном, заклубившаяся было, распавшаяся на отдельные пятна, снова стала сплошной, серо-багровой.

— Вот так, Алешка, и живем, — вздохнул дед. — Так и носимся то туда, то обратно.

Сказал он это с одной только целью — успокоить внука, отвлечь его, не дать испугаться. Но, как видно, Алешку теперь занимала лишь одна мысль.

— Мы не поедem к папе? — спросил он и, как всегда делал, когда требовал прямого и правдивого ответа, подался к деду доверительно, снизу вверх заглянул в глаза.

— Обязательно поедem. Вот выберемcя из этой долины и поедem другой дорогой.

Он вдруг откинулся на спинку кресла и тихо засмеялся.

— Не понял, — холодно сказал компьютер.

— Это тебя не касается, — отмахнулся дед и протянул внука к себе. — Хочешь, расскажу один смешной случай?

— Про папу?

— Про папу, про папу, — сказал дед, поражаясь проницательности малыша. — Папа твой вот как ты был, ну, может, чуточку постарше. Мы тогда только переселились на эту планету, обустроились и решили, что теперь самое время заняться эстетическим самовоспитанием. Все, конечно, знали, что высшая радость — это радость деяния, сотворения, то есть труда, но уж больно нам захотелось иметь ее, радость, так сказать, в чистом виде. И все тогда ударились в искусства, кто стихи сочинять начал, кто на скрипочках играл. Ну и, конечно, детей своих стали натаскивать на то же. Дети ведь это как бы концентраторы родительской мечты. На детях проверяется возможность того, чего недополучили сами...

— Это непедагогично, — сказал компьютер.

— Что?

— Непедагогично при детях иронизировать над родителями.

— А, отстань, смотри лучше по сторонам.

— Я смотрю...

— Помолчи, пожалуйста, хоть пять минут.

Дед погрозил компьютеру пальцем и задумался, вспоминая, на чем он остановился.

— Ишь какой, еще вмешивается, — сказал Алешка. И вдруг изрек: — Яйцо курицу учит.

— Ты откуда это взял? — изумился дед.

— Мама так говорила.

— Да... мама, конечно, умница, но ты это... не думай, что она всерьез. Шутила мама. Компьютер, действительно, создан человеком. Но не одним. В нем как бы миллионы людей, в нем опыт всего человечества. Так что яичко-то не простое, а золотое... Вот... О чем, стало быть, я? Да, о скрипочках. Решили мы с мамой, то есть с бабушкой твоей, непременно научить сына, то есть папу твоего, играть на скрипке. Часами мучили, заставляли пикивать. Прямо скажу, музыкант из него не получался, другой у него был талант. Но мы, уверенные, что все в руках человека, не отставали. Закрывали его в комнате и говорили: «Играй, чтоб мы слышали, как ты играешь». Сначала он отлынивал, потом, слышим, играет. Обрадовались: смирился, значит. Только монотонно как-то играет, одну и тут же ноту сто раз — туда-сюда, туда-сюда. Даже нам слушать надоело. Как, думаем, у него только терпения хватает? Заглянули в комнату, а его и след простыл. В окошко удрал. А сидит на столе иволка, скрипит своим мелодичным голоском. И что ведь придумал, шельмец! Привязал к лапке нитку, к нитке — грузик и спустил его со стола. Грузик тянет иволку, она сопротивляется и кричит громче обычного.

Алешка закатился звонким радостным смехом, передвинул иволку на середину стола, погладил.

— Вот какой у меня папа,



Виновато оглянувшись на деда, потянул ящерку за лапку. Та никак не отреагировала.

В этот момент полыхнуло по экрану красным, и тревожный багровый отблеск лег на стены, на лица, на все в салоне вездехода.

— Пять минут прошло, — бесстрастно сказал компьютер. — Докладываю: изливается магма.

— Так жми быстрее. Надо ж выбираться отсюда.

— Мы идем на предельной скорости. Но, кажется, не успеваем.

— Что значит «кажется»? — удивился дед. Впервые услышал он, чтобы всезнающий компьютер выразился так неопределенно.

— Выход из долины перекрывается интенсивным горообразованием.

На экране радиолокатора, в том месте, где чернел провал выхода, как и там, сзади, змеилась яркая, все увеличивающаяся полоса.

И снова вездеход резко затормозил. Но пыльно-дымная пелена за окном все продолжала лететь, только теперь в другую сторону. Дед взглянул на телеглаз компьютера, и компьютер, не дожидаясь вопроса, разъяснил, что за бортом сильный ветер. Вездеход медленно пошел навстречу ветру, и дед понял, почему автоштурман принял такое решение: поскольку все равно приходится пережить землетрясение на воздушной подушке, то лучше делать это там, где можно хотя бы оглядеться. Скоро видимость и впрямь улучшилась, и дед ужаснулся тому, что увидел: вокруг, словно подвижная озерная гладь, шевелилась огненная лава. Вездеход висел над ней в каком-нибудь метре, и если бы не надежная теплоизоляция, то теперь можно было бы чувствовать себя как на сковороде.

Сразу стало трудней дышать. Дед знал, что это только кажется — установки регенерации воздуха, несомненно, работали надежно, — но от ощущения, что в вездеходе пахнет гарью, не мог отделаться.

— Ложись-ка поспи, — сказал он как можно спокойнее, боясь, что малышу передастся его тревога.

— Да-а, папа увидит, что я сплю, и обидится.

— Не бойся, когда приедем, я тебя разбуджу.

Дед перенес его в люльку, висевшую в соседнем отсеке, потрогал другую люльку, свою, подумал, что хорошо бы сейчас завалиться спать вместе с Алешкой, чтобы ничего не видеть, не замирать сердцем каждую секунду, ожидая очередной выходки взбесившихся недр. Все равно ведь от него теперь ничего не зависит, мудрый компьютер и надежная автоматика сумеют оберечь от любой неожиданности лучше и быстрее, чем это сделал бы он сам. Но знал: все равно не уснет, только изведется.

— Расскажи еще про папу.

— Что б тебе такое рассказать?..

Он начал вспоминать какие-то бытовые пустяки, а сам все думал о том, почему ни один прибор из сотен, разбросанных по поверхности планеты, не предупредил о близящемся катаклизме? Наверное, потому, что так они устроены, приборы, информируют об уже случившемся, но не о том, что может случиться. А нужны бы такие, чтобы сообщали о готовящемся, накапливающемся. Ведь живая природа устроена именно по этому принципу, она способна предчувствовать. Иволка вон когда еще перестала плакать! Сколько людей задавались вопросом: «О чем плачет иволка?» Сколько было гипотез об этом, и серьезных и шуточных. И никто не спросил себя: почему она ни с того ни с сего вдруг перестает плакать? Было ведь такое... Теперь ему казалось, теперь он был совершенно уверен, что такое каждый раз случалось перед чем-то нехорошим. Предчувствие, предугадывание — без этого живой организм не может. А люди, словно бы и неживые, занимаются складированием информации. Считается: чем больше знаешь, тем умнее. Умнее ли? Вон компьютер один знает больше, чем сотни людей, а умнее ли он хоть одного любого че-

ловека? Потому что ум — это еще и чувства, ощущения, эмоции всякие. Они даны человеку не для того же только, чтобы задним числом пугаться или радоваться свершившемуся. С точки зрения эволюции это было бы件 unnecessary. Они даны, чтобы предвидеть, загодя приготовиться. Иволка в этом смысле и та умнее компьютера, чувствует приближение беды...

Алешка спал тревожно, веки его то и дело вздрагивали. Дед закрыл ему ноги пледом и пошел в салон управления.

— Ну, чего еще можно ждать от этой милой планетки? — спросил, обращаясь к телеглазу компьютера.

— Вулканическая деятельность будет продолжаться.

— Сколько?

И тут ему показалось, что лежавшая на столе ящерка дернула лапкой. Он погладил ее и заметил: закатившиеся глаза чуть шевельнулись.

— На этот вопрос я не могу ответить, — проскрипел компьютер.

— Зато я могу. Недолго, нет, недолго. Вон иволка, кажется, оживает.

Он расслабленно упал в кресло, только теперь почувствовав, как устал от страха за Алешку. Хорошо, что внук уснул, а то недолго было и сорваться, не выдержав нервного напряжения. Что бы тогда подумал Алешка? Как бы повернулась в нем детская доверчивость, вера в деда и вообще во всех взрослых?

«Нет, нервные перегрузки нельзя копить, — думал он. — Нужна разрядка, что-то освобождающее от перенапряжения, ослабляющее слишком перетянутые струны. Вон и целой планете лучше бы потрястись маленько, не копить энергию. Энергия все равно ведь выветрится, и чем больше ее накопится, тем грандиозней будет взрыв. И в человеческих коллективах так, и в каждом отдельном человеке, везде...»

Сквозь надежные звукоизолирующие переборки доносящая глухая гул. Дед поднял глаза к экрану и увидел,

как дымящее озеро магмы вздулось огромным пузырем и выплеснуло гигантский фонтан пара. Вездеход рванулся в сторону, но крутая раскаленная волна, вскинутая взрывом, догнала, ударила в борт. Истошно завывали двигатели, стараясь оторвать вездеход от влипившейся в него магмы. И оторвали-таки, но все продолжали выть. Вездеход снова завис над огненным озером, но был он уже не так устойчив, покачивался и вздрагивал, словно через силу держался на воздушной подушке.

— Сколько?! — крикнул дед и оглянулся на дверь соседнего отсека, боясь, не проснулся бы Алешка.

— Вес аппарата вырос на двенадцать тонн, — ответил компьютер.

— Я спрашиваю: сколько продержимся?

— В нормальном состоянии вездеход способен держаться на воздушной подушке триста часов. Запас энергии...

— Меня интересует не что было бы, а что будет...

И тут он увидел, как иволка подняла голову. Подняла и уронила вновь, и напряглась, собираясь с силами.

— Давай к горам! — крикнул дед.

— В горах возможны камнепады...

— Выбери место поровней. Поднимемся как можно выше.

— Опасно...

— Выполняй!

Теперь магма уже не стлалась сплошным озером, как внизу, в долине, вползая в расщелины, она делилась на десятки багрово-красных дымящих рукавов. Вездеход качало, как доисторическую телегу, то он резко взмахивал над грудами камней, ударяясь о них днищем, то нырял в расщелины, приседая на упругих пружинящих струях воздушной подушки, и все выл, выл, истошно, надсадно, надрывно.

Острые скальные уступы были уже совсем близко.

Вездеход пересек широкий рукав магмы, вползающий в ущелье, и приблизился к другой, не столь крутой горе с черными склонами, усталыми хаотическими нагромождениями камней — следами недавних лавин. И тут тяжелый удар потряс машину. Послышался истошный скрежет металла, и все стихло. Двигатели не работали. Большой экран, усыпанный тысячами мелких трещинок, стал белым, как молоко. Радиолокационный экран, наоборот, пугающе чернел, не изображая ничего. Дед бросился к Алешке. Тот стоял в дверях отсека, тарашил глазенки и не плакал.

— Ничего, Алешка, ничего, и не такое бывало...

Он прижимал внука к себе, а сам все оглядывался по сторонам, соображая, что теперь делать. Поймал взглядом белый погасший глаз компьютера, но все же спросил:

— Что теперь? Починимся или как?

Компьютер молчал.

— Ты посиди, посиди, — сказал он Алешке, устранивая его в кресле. — Я сейчас...

Он выскочил в спальный отсек, чтобы внук не видел его растерянности, сел на край люльки и сжал голову. Ясно было, что последний удар нанес вездеходу камнепад, от которого предостерегал компьютер. Огромная глыба вбила машину в расщелину, в раскаленную магму. Через полчаса мертвый вездеход будет иметь такую же температуру, как и магма... Он потянул носом, уловив какой-то новый запах, и понял: пахнет гарью. Значит, вездеход еще и раскололся, и наружный воздух, насыщенный ядовитыми выбросами недр, просачивается в отсеки?

Дед кинулся к аварийному ящику, сорвал запор, схватил две кислородные маски, натянул одну на Алешку, другую надел сам. И тут увидел, что иволка на столе пытается подняться на лапки. Это словно бы придало ему уверенности. Ничего он не знал, лишь предполагал, что иволка способна реагировать на буйство стихий, их

развитие или угасание, но сейчас, когда разум не предлагал никакой альтернативы, дед попросту был убежден в сверхчувствительности ящери. Он подбежал к выходному люку, но тот так перекосялся, что было ясно: открыть его можно лишь резак. Аварийный люк находился внизу, и сквозь него уже дышала жаром близкая магма. Оставался только верхний люк, он не предназначался для входа-выхода и был так узок, что дед боялся застрять в нем. Но в него наверняка пролез бы Алешка, и потому дед кинулся к верхнему люку, попробовал его открыть. Автоматика не работала, и он долго возился с тугими задрайками. Наконец откинул их и только тут увидел, что люк погнут. Выхода не было. Он вытер ладонью обильный пот — в вездеходе становилось жарко, — спустился вниз и сел рядом с Алешкой.

— Иволка шевелится, — радостно сообщил Алешка.

— Шевелится, — машинально повторил дед. И еще больше поверил в свое предположение, что если ящерка обмирала перед безумством недр, то оживает, надо полагать, потому, что все затихает. Значит, все позади? Обидно сгореть в этой консервной банке, когда все позади. Не за себя обидно — немало успел сделать в своей жизни, — из-за Алешки сердце сжималось так, что мутилось в голове.

Голова! Он стукнул себя по лбу и вскочил. «Ищи, должен же быть какой-нибудь выход. На кой черт все твои дела, если не можешь спасти ребенка!» И тут он вспомнил о взрывных патронах. Ими крушились горные породы, когда иначе нельзя было взять пробы. Против металлопластика, из которого сделан вездеход, эти патроны бессильны, но встряхнуть, раскачать люк они, наверное, смогут? Дед кинулся в хозяйственный отсек. Там была тьма. Нашупал на переборке кнопку аварийного освещения, ударил по ней кулаком. Тусклый, словно ранний рассвет, сумрак осветил груды вещей, сброшенных со своих мест. Роясь в них, он вдруг вытащил

тяжелые горные сапоги с острыми шипами. Обрадовался, словно в этих сапогах было все спасение, быстро переобулся.

А патроны не находились. Ему уже начало казаться, что их вообще нет, патронов, поскольку рейс не экспедиционный, а самый что ни на есть прогулочный. Даже уверенность в этом появилась: ведь если бы они были, то, пожалуй, взорвались бы от такого удара. Но что это за патроны, взрывающиеся от толчка? Значит, у них должно быть надежное хранение? Ну конечно, потому их и нет в этой гряде валяющихся вещей, что они ни при каких условиях не должны вываливаться из своих гнезд... Удивительно, как туго ворочаются мозги, когда надо, чтобы они шевелились побыстрее!.. Дед метнулся в угол и увидел патроны в своих гнездах. Навыдергивал их целую охапку, гремя шипами по ступеням, побежал наверх.

Укрепить патроны на присосках по всей поверхности люка было делом одной минуты. Дед спрыгнул вниз, схватил Алешку, отнес его в спальный отсек и принялся заматывать ему голову какой-то подвернувшейся под руку курткой. Здесь было жарче, чем в отсеке управления, в углу уже что-то дымило и коробилось.

Взрыв оглушил. Бросив Алешку в мягкую люльку, дед побежал к люку и засмеялся, обрадованный: в открытую круглую дыру втекал прозрачный горячий дым.

— Алешка! — крикнул он, оттянув ото рта маску. — Иди сюда быстро!

Он сам удивился, как ему удалось протиснуться в узкий люк. Кругом, словно тысячи змей, шевелились, ползли, вздымались белесые струи дыма. Огромная глыба смяла вездеход, вдавила его в пластичную магму. Но эта глыба массивным мостом соединила вездеход с горным склоном, по которому только и можно было подняться, вырваться из этого пекла.

— Алешка!

Голова малыша в глазастой маске показалась из лю-

ка. Он уже протянул деду руки, но вдруг отдернул их обе и исчез.

— Алешка!!

Дед наклонился над люком, готовый нырнуть туда вниз головой, чтобы поскорей найти перепуганного мальчишку. Но тут он снова увидел внука. Схватил его, выдернул из люка, поднял на руки и понес по черной глыбе, по горной осыпи, уходя все выше и дальше от этого раскаленного ветра, от этих дымных ядовитых змей. По пути на мгновение оторвал взгляд от камней под ногами, взглянул на Алешку и не увидел испуга в его глазах, а лишь какой-то напряженный блеск полулюбопытства, полурадости. Догадался, что Алешка бежал вниз, как видно, за своим кристаллом и теперь вполне доволен, что не забыл про него.

Ноги на осыпи скользили, и если бы не шипы, то он давно бы уже не удержался, сполз вместе с Алешкой в это пекло. Выбравшись на твердое место, постоял, давая уняться дрожи в ногах, огляделся. Долина была застлана сплошной пеленой дыма. Неузнаваемые от этой невиданной перетряски горы громоздились черными угловатыми горбами на фоне блеклого затянутого тучами неба.

И снова он шел и шел, щупая руками горячую Алешкину одежду, осторожно ставя ноги, чтобы не оступиться: рядом были обрывы, пропасти. Пот заливал лицо, но некогда было вытереть его. Он торопился подняться как можно выше, где было не так жарко, поскорей уйти от скальных выступов с их камнепадами туда, к перевалу, к более-менее ровному месту. Сколько шел, не мог определить, думал только о том, чтобы Алешка не испугался, не расплакался. Успокоить его он, наверное, не смог бы: сил уже не оставалось.

Тропа сузилась до того, что на ней едва умещалась нога. Поколебавшись секунду, дед шагнул вперед и пошел, крепко прижимая к себе Алешку, чувствуя спиной острые выступы скалы. Еще шаг, еще. Наконец увидел



площадку, такую широкую, что на ней можно было не только стоять, но и лежать, хоть вдоль, хоть поперек.

Он уже ступил на край этой площадки, когда под ногой подломился камень. Почувствовав, что падает, дед обеими руками отбросил от себя Алешку туда, на площадку, качнулся от этого толчка, изогнулся весь, стараясь если не устоять, то хоть упасть не на самую кромку обрыва, но неожиданно ударился головой о выступ скалы и потерял сознание.

Очнулся он от плача иволки и сразу заметался глазами, ища Алешку. Тот сидел у стены и, держа иволку на сложенных лодочкой ладонях, дышал на нее.

— Поет, — радостно сообщил Алешка, увидев, что дед открыл глаза. — Давно поет, а ты все спишь и спишь.

Он боялся пошевелиться, не зная, в каком положении лежит, может, на самом краю пропасти. Шевельнул лопатками, почувствовал, что лежит всей спиной, твердо. Тогда осторожно начал шевелить пальцами, ощупывать камни. Наконец приподнял голову, огляделся. До края пропасти было не меньше метра. Еще не думая о том, как ему в беспамятстве удалось отползти от края, дед вдруг почувствовал такую радость, какую, наверное, еще никогда не испытывал. Выбрались! Алешка жив, здоров, сам он отделался, как видно, одними синяками. И вроде бы все позади: недра утихомирились. Иволка вон снова поет свое, а уж она-то чувствует, убедился. И почему говорят, что она плачет? Прав Алешка: она так поет печально. А печаль — это ведь та же радость, только тихая, умиротворенная.

Дышалось легко: с гор дул прохладный ветер, относил жар и смрад остывающей магмы.

— Где ты иволку-то поймал? — спросил дед как можно спокойнее.

— А это наша, та самая. Ожила она, видишь?

— Та самая? Она же...

Он понял, что Алешка, кинувшись тогда, в вездеходе,

за своим кристаллом, не забыл положить в карман также и иволку, понял и обрадовался за внука: это о многом говорит, если уж в такой горячке проявилась добродетель.

— Папин-то подарок цел? — улыбнулся он Алешке.

Лицо малыша внезапно изменилось, и дед понял: случилось непоправимое.

— Неужто потерял?!

— Я... я его там... забыл.

Он дернулся всем телом, и дед, испугавшись, как бы мальчишка не вскочил на ноги, подполз к нему. Обнял и закрыл глаза, борясь с головокружением, пересиливая вдруг подступившую к горлу тошноту.

— Как это забыл? — спросил машинально.

Алешка молчал, и дед не стал больше задавать вопросы. У него было странное состояние: голова раскалывалась от боли, от сострадания к Алешке, а в душе, в сердце, где-то, в общем, внутри было сплошное ликование. Если уж о своем драгоценном кристалле не вспомнил, спасая живое, значит, настоящее, человеческое, зреет в нем, то, во имя чего, по сути дела, вся жизнь родителей, всех взрослых людей. Чтобы дети вырастали людьми, хранителями высших добродетелей добродобрия, доброделания, к которым, собственно, и сводятся все деяния человечества.

Он открыл глаза и увидел застывшее лицо внука, не лицо — маску. Большими неподвижными глазами малыш смотрел перед собой, и было в этих глазах что-то каменное, пугающее.

— Ты чего? — потормошил он внука.

Алешка не ответил, даже не изменился в лице.

— Я тебе его потом достану...

Он тут же догадался: дело не в самом кристалле — внук омертвел от сознания собственной оплошности. Папин подарок для него все равно что сам папа, и если забыл о подарке, значит, забыл о папе?

Надо было как-то помочь внуку, вывести его из это-

го окаменелого состояния. У детей не бывает маленького горя, если уж оно приходит, то непременно безысходное, бесконечно огромное. Не находя облегчающего выхода, оно способно сломать в маленьком человеке что-то важное. Мертвая порода и та не выдерживает перенапряжений — вон как раскололся кристалл, как разверзлись недра...

— А ты поплачь, полегчает, — сказал он, поглаживая Алешку по плечу.

— Да-а, — всхлипнул малыш. — Сам говорил... мужчинам нельзя...

— Один раз можно. Поплачь, поплачь, так надо...

## ЗОДЧИЕ

..и в субботу на вербной неделе...

Государевы зодчие

Фартуки наспех надели,

На широких плечах

Кирпичи понесли на леса...

— Неправильно! — закричал Вовик.

— Что неправильно? — удивился учитель, и очки его смешно поползли на лоб.

— Зодчие кирпичи не носят. Надо говорить: «рабочие фартуки надели».

— Гм, а зодчие что делают?

— Зодчие творят, создают проекты, ищут красивые формы домов, дворцов, городов... Да вы сами говорили...

— Что я говорил?

— Вот это самое.

— Но ведь зодчество — не только созидание красоты. Это прежде всего — жизненно необходимое деяние...

Они шли по широкой тропе среди густых зарослей цунги, и учитель, считая, что каждый миг общения с воспитанником важен для воспитания, читал Вовику

стихи древних поэтов. Солнце раскаленным пузырем висело в бледном небе Аранты, и если бы не ветер, дувший навстречу, то в этом зеленом коридоре можно было бы задохнуться.

Посередине тропы валялась маленькая веточка. Учитель поднял ее, отбросил в сторону. Ветка отскочила от плотной зеленой стены и снова упала на тропу. Тогда учитель засунул ее меж других веток и поспешил догнать Вовика, успевшего убежать вперед. Вовик всегда убегал, когда учитель отвлекался. Это была его игра: заметил раз, что учитель боится оставить его одного хоть на миг, и каждый раз старался улизнуть. Он был совсем не злым мальчиком, но кто из ребятишек не старается делать по-своему, если его излишне опекают?

— А если ящер навстречу? — припугнул учитель.

— А вы сами говорили, что здесь они не водятся.

— Ящер ведь не знает, что я об этом говорил.

Вовик весело рассмеялся, и учитель сразу перестал сердиться, так он любил, когда его подопечный смеется.

— А вы видели ящера?

— Видел... Один раз...

— Вы никогда об этом не рассказывали. Расскажите.

Рассказать? Нет, он этого рассказывать не будет. Воспитанник не должен даже в воображении своем видеть учителя слабым, униженным грубой силой. Даже если эта сила — страшный ящер Аранты, обладающий такой способностью к мимикрии, что и в десяти шагах его трудно заметить, и такой стремительностью, что человек обычно даже не успевает вскинуть оружие, как оказывается сбитым мощным хвостом. А дальше... Дальше страшно даже думать. Ящер в мгновение ока отгрызает голову жертвы и уползает, сопя и облизываясь. Остальное его почему-то не интересует, только голова. Первые переселенцы на Аранту, эту удивительную планету, так похожую на Землю, оборонялись против ящеров с помощью сложных сооружений. Но все равно было

немало жертв. Пока ящерам Аранты не объявили самую настоящую войну. Покончили с ними биологи с помощью обычных земных тараканов, которые, как выяснилось, оказались прекрасными распространителями ящерной чумы. Теперь ящеры водились только на одном острове, отделенном от материка огромными просторами океана. Этот остров не посещался людьми, и там было что-то вроде заповедника, где мир Аранты сохранялся в неприкосновенности.

Но однажды, еще в молодости, учитель встретил ящера на такой же вот тропе в зарослях джунгли. Откуда он взялся, так и не удалось установить. Вероятно, это был случайно уцелевший экземпляр. Ящер был то ли сытый, то ли больной, он кинулся не сразу, и это спасло учителя. В следующий миг плотный заряд лучевой энергии испепелил ящера. Выручил робот, сопровождавший учителя. Потом кое-кто жалел, что ящера не усыпили, а уничтожили: ленивый, неповоротливый зверь был для ученых новостью. Но сам учитель не жалел об этом никогда, такого страха он в тот раз натерпелся...

— Расскажите, — снова попросил Вовик.

— В другой раз, — сказал учитель. И пожалел, что так сказал. Вовик был не из тех, кто забывал про обещанное ему. Хотя про свои обещания он забывал часто.

— А зачем вы все веточки убираете с дороги?

— Чтобы дорога не зарастала. Я же тебе говорил.

— Я и сам знаю.

— Почему же спрашиваешь?

Вовик не ответил, и учитель счел вопрос исчерпанным. Каждый ребенок знал, как быстро разрастается джунгла. Маленькие деревца похожи на земные елочки. Но иголки на них не простые. Если присмотреться, то можно увидеть на каждой иголке множество оспинок. Это точки роста. Из каждой такой точки проклевывается росточек, в свою очередь, похожий на иголку. И на каждой иголке свои точечки. Упавшая ветка не усыхает, а быстро прорастает: иголки, оказавшиеся внизу,

уходят в грунт и становятся корнями. Стоит только недоглядеть, как такая веточка быстро превращается в куст, в дерево, наконец, в целую рощу, через которую ни пройти, ни пролезть — так плотны заросли. Лишь у старых цунговых рощ, где нижние ветки, совершенно лишённые света, отмирают, внизу появляются пустоты, в которых, как в пещерах, темно и сыро.

Заросли, через которые они шли, были еще молодые, плотные, словно два зеленых вала нависали над дорогой.

— А они что, каждый день собирают ветки? — спросил Вовик.

Учитель понял: речь об антах, полудиких аборигенах, обитающих на Аранте обособленными городищами. Странное имя дали земляне-первопоселенцы этим маленьким созданиям, похожим на толстых, неуклюжих кукол. Антей, по древней земной мифологии, все-таки великан, а эти лилипуты, да еще пугливые, замкнутые, упорно не желающие вступать в контакт с людьми и допустить в свои городища. Впрочем, если бы и допустили, то еще неизвестно, каким образом людям удалось бы проникнуть в лабиринты слепленных из глины конурок и переходов, которые, собственно, и образовывали городище.

— Почему вы не отвечаете? — спросил Вовик.

— Да, да, конечно, каждый день собирают ветки. Это же их дорога, чуть запусти, и она зарастет.

— А почему мы не поставим сюда машину? Пускай бы каждый день чистила. Анты нам только спасибо скажут.

— Не скажут. Уже пробовали. По дорогам, проложенным машинами, анты не ходят.

— Почему?

— Вот этого никто не знает. Не ходят — и все. Тебе же известно, как они замкнуты.

— А вот и не замкнуты, — возразил Вовик. — Я знаю.

Он и в самом деле что-то такое знал, этот Вовик. Анты почему-то не чурались его. Не все, конечно, но некоторые прямо-таки бежали к нему, когда он выходил из зарослей цунги на огромное, усыпанное щебелкой плато, на котором, неподалеку друг от друга, стояли целых три городища антов. Что-то такое знал Вовик, да не говорил. Или он и сам ничего не знал, а просто анты чувствовали его детскую бесхитрость. А может, потому его выделяли, что был он мал ростом, ниже своих сверстников, и это как-то сближало его с куклоподобными антами. Во всяком случае, прецедент был весьма любопытный, и внимание всего поселения землян в последнее время было приковано к Вовику.

На этот раз, когда они вышли на плато, их никто не встретил. В бесформенных нагромождениях бурых бугров — городищах антов — не было видно никакого движения. И вообще вся эта каменистая пустыня будто вымерла. Такого еще никогда не бывало. И в той стороне, где громоздились кубы «Вовиковой игрушки» — города, который он строил по своему разумению и собирался подарить антам, — тоже лежала печать неподвижности.

— Погоди, Вовик, надо осмотреться. Что-то не так сегодня, — обеспокоенно сказал учитель.

Вовик и сам видел, что не так, остановился у кромки цунговых зарослей, вопросительно посмотрел на учителя. Солнце палило, поднимаясь все выше, и стоять долго на открытом месте под пеклом было невозможно. Потом, то и дело оглядываясь, они пошли к «Вовикову городу», пошли той самой тропой, которой ходили много раз.

Издали это действительно походило на город: кубики домов высотой в рост человека стояли ровными рядами, отделенные друг от друга достаточно широкими улицами. А все начиналось с игры. Вовик, нагледевшийся на тесные поселения антов, вдруг задался целью по-

строить для них целый город с просторными домами и улицами, показать пример, как надо жить по-человечески. С завидной уверенностью молодости он уверял, что анты не смогут не оценить заботу о них и что этот подарок им послужит первым шагом к давно желанному взаимопониманию. Взрослые посмеивались над наивностью Вовика, но ему никто не мешал, это было бы непедagogично. Вовик сам спроектировал свой город, взяв за образец, — что все видели, но чего никто ему не говорил, — картинку из детской книжки, где были изображены города, оставленные на Земле давними предками переселенцев.

Сначала строить Вовику помогал робот, который понатаскал туда множество всяких механизмов. А потом случилось то, чего никто не ожидал. Однажды посмотреть на строительство пришли двое молодых антов. Это был первый случай, когда аборигены пошли на контакт, и о «Вовиковом городе» заговорили все. Затем в город пришли еще двое аборигенов. Тогда поселение землян затаило дыхание, ожидая, что получится из Вовиковой затеи. А получилось самое неожиданное: каким-то образом Вовику удалось заставить этих первых любопытствующих антов приняться за работу. Вовика расспрашивали, как это ему удалось, но он только пожимал плечами. А может, он и в самом деле ничего не знал, действовал по таинственной детской интуиции, которая, как известно, не поддается взрослой логике.

Суетливый робот со своими самоходными агрегатами все время пугал антов, и тогда Вовик принял истинно мудрое решение: велел роботу совсем убраться со строительной площадки. Тут, несмотря на свои семь лет, он рассудил совсем по-взрослому: решил, что город, если анты построят его своими руками, будет для них желаннее.

Вовик очень гордился своим городом и не подпускал к нему никого из сверстников. Взрослые и сами сдерживали ребятишек, опасаясь, что появление на стройпло-



щадке толпы мальчишек и девчонок сорвет интересный эксперимент.

Обычно, когда Вовик выходил из зарослей цунги, ему навстречу выбегали все анты, принимавшие участие в строительстве. А было их уже около десятка. Они бурно радовались приходу Вовика и делали все, что он им говорил. А к вечеру уставали так, что едва стояли на ногах. Некоторые валились прямо на улице и засыпали каким-то тяжелым непробудным сном. Маленькие и жалкие, они лежали в пыли в самых разных позах, и было неприятно и почему-то страшно смотреть на их неподвижные тела.

Сейчас на окраине города не было никого. Это тревожило, но не давало оснований поворачивать назад. И они, ученик и учитель, медленно пошли через голый щебеночный пустырь. Когда до города осталось не больше ста метров, они услышали впереди какой-то шум. Замерли на месте, прислушиваясь, и вдруг учитель почувствовал, как у него похолодела спина: меж крайних домов-кубиков он увидел вытянутую вперед крокодилью морду ящера. Теперь стало ясно, отчего опустели городища антов и почему никто из строителей не встречается. Можно было, должно было предугадать опасность, а он, вроде бы опытный человек, этого не сделал и повел ребенка на верную смерть! Оружия у него никакого не было, а бежать от ящера, да еще по голому плато, совершенно бессмысленно. Он стоял, больно сжав руку Вовика и лихорадочно соображал, что теперь делать. Мелькнула мысль: откуда в таком населенном месте взяться ящеру? Но теперь было не до отгадки. Он стоял и удивлялся, почему ящер не кидается сразу?

Но вот ящер оскалил свои желтые зубы, шевельнулся и из глубины недостроенного города послышался шум: мощный хвост, по-видимому, рушил постройки. И наконец он побежал вперед. Лениво побежал, будто нехотя. И вдруг исчез. Пыль столбом взметнулась на том месте, где он только что был. И неведомо откуда донес-

ся страшный предсмертный вой. Вовик рванулся в сторону, но учитель удержал его, крепко сжав руку. Острый хвост ящера вздыбился над дорогой и опал, рухнул, словно его подрубили. Учитель понял, что ящер просто провалился в какую-то яму. Откуда на дороге взялась яма, это было непонятно. Сколько раз они проходили здесь, и никогда никакой ямы не видели. Да еще такой, чтобы в нее мог провалиться большой зверь. Но теперь яма, к счастью, была. И учитель увидел ее, когда, переборов себя, подошел ближе. Свежие края говорили о том, что яма недавно вырыта. Зачем? Специально для ящера, чтобы он не напал на людей? Но кто мог знать, что ящер появится именно с этой стороны? Кто мог вырыть яму да еще предусмотрительно вкопать в ее дно острые кольца? Анты?..

И тут учитель похолодел от мысли, что яма предназначалась вовсе не для ящера, а для них с Вовиком. Только они должны были пройти этой дорогой. Сегодня, как и вчера и позавчера, как ходили все эти дни. Ящер — случайное совпадение, спасшее их?..

Учитель вынул небольшую коробку радиопередатчика и сообщил о случившемся. Он собрался тут же идти обратно, но вдруг увидел впереди, в улицах «Вовикова города», совсем маленького сгорбившегося анта. Присмотревшись, он понял, что ант очень старый, какой-то мохнатый от слишком длинных седых волос, свисавших с головы. Никогда учитель не видел такого старца и потому стоял и рассматривал анта, стараясь понять, что ему нужно, почему он прыгает там и машет руками? Наконец, понял: он просто зовет их. Значит, там что-то случилось? И учитель, крепко держа Вовика за руку, побежал к городу. Не мог не побежать, потому что, как всякий учитель, был полон сострадания ко всему живому.

Ант, как только увидел, что люди бегут к нему, перестал махать руками, стоял неподвижно, ждал, когда они приблизятся. Дождавшись, повернулся и пошагал по

недостроенной улице с темными нишами квадратных окон. Учитель пошел следом: он уже знал, что если ант так вот, ничего не говоря, поворачивается и неспешно уходит, значит, приглашает идти за собой.

В молчании они прошли улицу, затем другую и оказались на площади, такой большой, что учитель никак не мог понять, зачем Вовику понадобилась эта обширность. Вовик, когда его спрашивали, отмалчивался. А может, он и сам не знал, зачем спланировал такую площадь. У дальнего ее края высилась башня, похожая на гриб из-за широкой шапки наверху. Шапка была смотровой площадкой — этого Вовик не скрывал. Наоборот, он очень охотно рассказывал, когда речь заходила об этой башне, говорил, что без смотровой площадки антам никак не обойтись, что, только посмотрев сверху на этот город, они оценят подарок по-настоящему.

Не доходя до башни, ант остановился и маленькой ручкой показал вперед. Там, куда он показал, что-то лежало ровненьким пунктиром. Еще до того, как разглядел, что это такое, учитель похолодел от страшного предчувствия. Подошел ближе и увидел, что это те самые анты, которые работали на строительстве.

— Что тут случилось? — спросил он. И спохватился, вынул коробочку радиостанции, набрал код кибернетического переводчика и включил динамик погромче.

— Что тут случилось? — повторил он в микрофон.

Через мгновение динамик затрещал, защелкал по-антовски. Старый ант удивленно посмотрел на учителя, на коробку в его руках и вдруг торопливо затрещал о чем-то, странно и часто причмокивая и словно бы всхлипывая.

— Уходите и больше не приходите, — начало переводить радио. — Вы приносите несчастье. Анты не хотят иметь с вами никакого дела...

— Их убил ящер? — спросил учитель, показывая на лежавшие в ряд трупы антов. И тут же сам понял, что

ящер здесь ни при чем. Иначе чего бы они лежали целехонькие, в ряд?

— Они умерли от опасной болезни, — прощелкал старый ант. — Болезнь принес этот мальчик, — указал он на Вовика. — Он давал еду, которой нельзя насытиться, но которая заставляла антов забыть о доме, о труде, о других антах и думать только о том, чтобы лизать ядовитый корм. И чем больше они лизали его, тем больше хотели. Эта болезнь заставляла их целыми днями заниматься глупостями здесь, в нагромождении никому не нужных камней...

— Это не глупости! — закричал Вовик. — Мы строили город для вас же...

— Анты никогда не будут здесь жить.

— А вот они говорили, что будут. — Вовик показал на мертвых строителей и, испугавшись, что посмотрел в ту сторону, спрятался за учителя.

— Они потеряли головы, нализавшись отравы. Они могли говорить и делать все, что угодно.

— Какой отравы? — спросил учитель, повернувшись к Вовику. — Чем ты их кормил?

— Ничем!..

Впервые за все время учитель не поверил ему, но не подал вида: нельзя показывать воспитаннику, что ты ему не веришь.

— Он хороший мальчик. Если он что-либо делает, то только с благими намерениями, — сказал учитель.

— Благими намерениями выстлана дорога в ад...

— Что?! — удивился учитель и, исключив динамик, спросил, точно ли так сказал старый ант, попросил повторить.

— Глупая доброта хуже зла, — сказал автомат-переводчик. — Фраза труднопереводимая, но смысл ее примерно такой.

Это было неожиданно и по-новому показывало аборигенов. Люди думали, что мышление антов не выходит



за утилитарные рамки, а они, оказывается, способны к философским умозаключениям...

А старый ант, словно подтверждая эту мысль учителя, вдруг заговорил о том, что всякое разумное существо, живущее среди себе подобных, сильно только тогда, когда оно занимается своим делом. Если его заставить делать чужое дело, оно, это разумное существо, очень быстро перестает понимать свое место в жизни и становится беспомощным, как ребенок. А если многие анты начнут заниматься не своим делом, то очень скоро антов не станет совсем. Цунга не может не расти во все стороны, иначе это не цунга. Ящеры на воле не могут не быть хищниками. Если их обречь на голод, а затем начать кормить только зелеными ветками цунги, они становятся не ящерами, а домашними животными...

Он еще что-то говорил в этом же роде, но учитель уже не слушал, он думал о том, что хоть «Вовиков город» и не будет построен, все же он, этот город, послужил некой точкой соприкосновения с недоступными антами.

Учитель терпеливо дожидался, когда старый ант перестанет говорить, чтобы задать какой-либо другой вопрос. Такого рода беседы были очень большой редкостью, и если уж разговор получился, то его следовало продолжать как можно дольше. Каждое слово, каждый оборот мысли, каждый прямой или уклончивый ответ будут потом исследованы лингвистами, психоаналитиками, социологами. И потому учитель готов был забыть даже о Вовике и продолжать эту беседу без конца.

Но ант не оправдал его надежд. Он вдруг резко прервал монолог, повернулся и быстро пошел, покатился по самой середине улицы, не приближаясь к домам, словно они были свежеекрашены и о них можно было испачкаться. Отойдя достаточно далеко, он остановился, обернулся и стал ждать, когда люди уйдут.

— Ну что ж, Вовик, пошли домой, — сказал учитель.

Вовик покосился на лежащих у стены антов и тяже-

ло, совсем как взрослый, вздохнул. Затем он вздохнул еще раз, уже облегченно, сунул руку в карман, вынул коробку с леденцами, еще раз покосился на мертвых антов и снова убрал коробку.

— Ты их конфетами кормил? — догадался учитель.

— Так они сами просили. Прямо как сумасшедшие были, когда я коробку вынимал.

— Что они говорили?

— Ничего не говорили. Смотрели так, будто никогда конфет не едали. А сосали... уж я и не знаю... Даже глаза закатывали от удовольствия.

— Это было для них отравой.

— Конфеты?!

— Для тебя конфеты, а для них, как видно, яд. Ты слышал, что говорил старик?

— Если бы яд, они бы умирали. А они не умирали. За каждый леденец готовы были делать все, что угодно. А вы говорите — яд...

— Как тебе объяснить... Это по-другому — яд. Так они были анты, как анты, а наевшись конфет, забывали, что они анты, забывали про свои дела и обязанности. Ты разве не понял, что говорил старик?

— Понял, — сказал Вовик и оглянулся на башню, на одинокую фигурку старика, темневшую в просвете улицы. Рука его, зажатая в большой ладони учителя, мелко дрожала.

Они медленно шли по дороге, и учитель думал о том, что анты, возможно, не сами умерли. Вполне возможно, что их убили. Как носителей болезни, опасной для коллектива. Как отщепенцев. В назидание другим антам, в назидание людям, чтобы больше не лезли со своими «благодетиями». И яму вырыли, и весь этот спектакль с ящером разыграли для предупреждения...

Учитель резко остановился от этой мысли, дернув Вовика за руку. Значит, они знали, что ящер побежит именно тут?! Может, они сами его и выпустили? Значит, у них, что же, есть прирученные ящеры?..

Вспомнилось, как старик говорил, что если ящера кормить зелеными ветками цунги, то он становится домашним животным. Но зачем маленьким антам огромные ящеры?.. Мало ли зачем. Может, просто на мясо...

И тут ему пришло в голову, что тот неизвестно откуда взявшийся ящер, так напугавший его в молодости, тоже, возможно, был не дикий, а прирученный. Значит, у антов давно существует животноводство? Как же люди это проглядели? А впрочем, много ли известно об антах? А много ли понято? Только то, что соответствует воззрениям людей?..

— Знаешь, давай догоним старика, порасспросим еще, — сказал учитель. И, не отпуская руки Вовика, быстро пошел назад, через площадь, к темневшей в улице фигурке анта. Но тот не стал дожидаться, исчез куда-то, словно провалился.

— Послушай, Вовик, тут все гораздо сложнее, чем мы думаем, — сказал учитель, остановившись. — Они не хотят, чтобы мы давали им что-либо по своему разумению. Потому что наше разумение, как видно, совсем не соответствует ихнему... — Он поморщился, машинально поймав себя на жаргонном словечке. Но тут же забыл о своей оговорке. То, что пришло ему сейчас в голову, было куда важнее, куда значительнее. — Мы ведь как ищем с ними контакта? Предлагаем, можно сказать, навязываем наши знания, наши представления о том, что хорошо, что плохо. Но видишь, Вовик, что по-нашему сладко, то по-ихнему — яд. Надо давать, ничего не навязывая. Хорошо еще, что ты начал строить свой город в стороне. А если бы на месте их же городища? Мог ведь приказать роботу разрушить несколько лачуг и на их месте возвести то, что по-твоему — дворцы. Это было бы совсем нетрудно, верно? Ведь анты разбегаются, когда приходит робот, и никого в жилищах не остается...

— А я так сначала и хотел, — признался Вовик.

— Хорошо, что расхотел. Все-таки ты, значит, умный парень.



— Конечно, умный, — сказал Вовик.

— Вот как? Значит, хвастливый? Плохо это, хвастливые редко бывают умными.

Вовик ничего не ответил, но учитель и не заметил этого. Он все думал об антах, об этом странном народце, не желающем поступаться ничем из привычного им. Такая стойкая последовательность! Может, не зря их называли антами? Может, первые поселенцы землян на Аранте усмотрели эту стойкость в их привычках, в их характере? Легендарный Антей был ведь силен до тех пор, пока стоял на земле. На своей земле, которая была для него матерью. Он стал беспомощным лишь тогда, когда его оторвали от земли. Не то ли же самое только что говорил старик? Значит, и у них эта истина в ходу? Нельзя отрываться от родины, от своего родного и привычного, иначе перестанешь быть самим собой. Пашешь землю — ты пахарь и хлебороб, перестал пахать, бросил свое дело — ты никто. Станешь сильным в другом? Едва ли. Но если и станешь, то не в своем деле, а в чужом, нужном не своим, а чужим. И анты оказались достаточно мудрыми, чтобы понять: если людям удастся оторвать их от привычных дел, заставить строить города, в которых надо жить по-другому, если вообще можно жить, то они, живя по указке людей, перестанут быть антами, а людьми не сделаются. В лучшем случае они станут хорошими слугами людей. Потеряв самобытность, они потеряют то хорошее, что имеют сами, чем отличаются от людей. Они всегда будут только подражать людям и, значит, никогда не сравняются с ними. Анты со всем их своеобразием исчезнут, останутся безликие толпы подражателей и слуг... Какой же надо обладать мудростью, чтобы предугадать эту опасность, понять ее и решительно противодействовать ей?!

— Вот что, Вовик, давай ломать эти дома, — сказал учитель.

— Почему?! — обиженно воскликнул Вовик.

— Подумай сам, ты же умный мальчик. С нашей стороны это будет жест доброй воли.

Вовик молчал, нахмутив лоб, то ли сосредоточенно думал, то ли обижался.

— Потом мы пришлем роботов, они тут все выровняют. Но сейчас нужно самим, своими руками, чтобы это видели анты.

— Но их же нет никого.

— В это я теперь не верю. Сейчас они наверняка наблюдают за нами, ждут, что мы будем делать. Они проверяют нас, понимаешь? Если мы выдержим эту проверку, значит, сделаем немалый шаг к тому, чтобы они поверили нам. Ради доброжелательного контакта, ради доверия нужно не только строить, а иногда и разрушать уже построенное. Ну что, начнем?

По-прежнему палило солнце, но теперь они оба не замечали жары. Они работали. И хоть внешне их работа походила на разрушение, они создавали. Создавали взаимопонимание. Дома были невысокие, не поднимались выше головы взрослого человека. Их тонкие стены пробивались камнями. Потом учитель нашел большую жердь, и тогда дело пошло быстрее. Они просовывали жердь в оконные и дверные проемы, наваливались на нее, и постройки рушились с такой легкостью, что теперь даже Вовику казалось: жить в таких хилых домах никак невозможно.

Пыль столбом стояла на улицах, и учитель, вспомнив свое педагогическое правило, что каждый миг общения с воспитанником важен для воспитания, начал читать Вовику стихи все того же древнего поэта Кедрина:

...вечен труд  
Твоих безвестных зодчих,  
Трудолюбивых,  
Словно муравьи...

Вовик теперь не возражал. Он видел антов, высыпавших невесть откуда, издали наблюдавших за их разру-

шительно-созидательной работой, и удивлялся своему учителю: почему он все знает наперед, ну почему?..

## ГИПОТЕЗА О СОТВОРЕНИИ

Сорен Алазян оказался невысоким, худощавым, очень подвижным армянином с небольшими усиками на тонком напряженном лице. Такой образ возник в глубине экрана. Алазян сказал что-то неслышное, заразительно засмеялся и исчез.

Гостев сунул в карман овальную пластинку с округлыми зубчиками — ключ от своей квартиры, который машинально крутил в руках, недовольно оглянулся на оператора — молодого парня с короткой, старящей его бородкой.

— Что случилось?

— Дело новое, не сразу получается, — проворчал оператор и защелкал в углу какими-то тумблерами, заторопился.

А Гостев ждал. Сидел перед экраном во всю стену, как перед открытым окном, и ждал. За окном-экраном поблескивала матово-белесая глубина, словно висел там густой туман, насквозь пронизанный солнцем. Шлем с датчиками был чуточку тесноват, сдавливал голову, но Гостев терпел: совсем ненадолго собирался он погрузиться в свой «сон», можно было и потерпеть.

В тумане засветились какие-то огоньки, их становилось все больше, и вот они уже выстроились в цепочки, обозначив улицы. Вверху, в быстро светлеющем небе, помигивая рубиново, прошел самолет. Восходящее солнце живописно высветило заснеженный конус горы, затем другой, поменьше. Горы словно бы вырастали из молочного тумана, заставшего даль, красивые, величественные. Их нельзя было не узнать, знаменитые Арараты, большой и малый. И улицы, выплывавшие из тумана

на, Гостев сразу узнал: это был Ереван последней четверти XX века.

Был Гостев историком, специализировался по XX веку, бурному, не похожему ни на какой другой. В этом веке история как-то по-особому заторопилась, словно ей вдруг надоело медленно переваливать из века в век, и она помчалась к какому-то, никому в то время не ведомому концу, то ли счастливому, то ли трагичному. Было неистовство невиданного человеколюбия и неслыханной жестокости, научные открытия следовали одно за другим с нарастающей быстротой. Люди сами растерялись в этом вихре научного прогресса. Они оказались на краю самой страшной бездны, когда-либо разверзавшейся перед человечеством.

Двадцатым веком занимались многие историки, а он все оставался непонятым, загадочным. Поэтому открытие компьютерного хроноканала — хроноперехода было воспринято всеми как долгожданная надежда разом разрешить все загадки истории, объяснить все необъясненное. Хроноканал позволял историку-исследователю включиться в компьютер, который «знал» все о нужном времени и месте, «встретиться» с людьми, жившими в иные эпохи, и как бы заново прожить то, что было когда-то. Хроноканал надежно вел в прошлое, ему было недоступно только будущее. Пока недоступно, говорили оптимисты. Потому что, по их мнению, экстраполировать будущее машине, знающей все, тоже будет нетрудно. Ведь семена будущего высеваются в настоящем...

Гостев был помешан на прошлом, только на прошлом, и, когда ему предоставили возможность воспользоваться хроноканалом, он выбрал, по его мнению, самое значительное, — решил своими ушами услышать, своими глазами увидеть, через какие суждения и заблуждения пробивалась одна из основополагающих гипотез — гипотеза о начале начал мироздания. Гостева привлекали непроторенные, малоизученные пути. В отличие от некоторых своих коллег он считал, что науку делают не

гениальные одиночки, что прежде чем Ньютоны и Эйнштейны объявляют о своих открытиях, зачатки этих открытий долго вызревают в умах многих людей, порождая причудливые идеи. Он считал, что эти в свое время не получившие признания идеи заслуживают особого внимания. То, что не понято было современниками, в иных условиях, в миропонимании людей будущего, может послужить отправной точкой для очередных грандиозных идей, гипотез, открытий. Гостев относился к тем, кто верил в древнюю истину: что есть или будет, — все уже было. Природа ничего не прячет от человека, у нее все на виду. Просто человек не всегда готов увидеть то, что лежит на поверхности. Так человек каменного века мог страдать от холода, сидя на горе каменного угля.

Потому-то и выбрал Гостев последнюю четверть XX века, город Ереван, в котором жил и работал один из «возмутителей спокойствия», в то время мало кому известный ученый Сорен Алазян. Компьютер, знающий все, выдавал о нем прямо-таки анекдотичные сведения. Алазян никак не хотел удовлетворяться распространенной тогда тенденцией — понемногу «грызть гранит науки». Он все дробил разом, сплеча, быстро добираясь до сути поставленного вопроса или, что тоже немаловажно, доводя его до абсурда. Он был философом в естественных науках. И как часто бывало с такими людьми, одни считали его гением, другие шарлатаном. Однажды седовласые академики, не зная, чем еще занять непоседливого коллегу, засадили его за такую работу, которая, по общему мнению, гарантировала им десятипятнадцать лет спокойной от Алазяна жизни. Полгода в научном мире тогдашней Армении было тихо. На седьмой месяц Алазян принес онемевшим академикам отчет о выполненной работе...

Гостев огляделся и понял, что он в гостинице, из окон которой виден чуть ли не весь Ереван. Встал с легкостью, прошелся по гостиничному номеру, от боль-

шого ящика в углу — телевизора — до скрипучей деревянной кровати, застланной желтым покрывалом, размышляя, как связаться с Алазяном, чтобы не насторожить его: по опыту использования хроноканала другими историками знал он, как болезненно реагируют фантомы — компьютерные копии людей — на малейшие ошибки исследователей. Тут сказывалась недостаточная изученность самого хроноканала: фантомы каким-то образом приобретали частицу непомерной чувствительности своих создателей — компьютеров. В конце концов Гостев пришел к выводу, что ему ничего не остается, как играть роль, и он решил позвонить Алазяну по телефону и, назвавшись приезжим журналистом, попросить разрешения навестить ученого.

Как и должно было быть, Алазян ответил сразу, словно специально дожидался этого звонка.

— Я все понял, — сказал Алазян, не дослушав до конца длинную тираду Гостева. — Где вы находитесь?

— Я... — растерялся Гостев, чуть не сказав «я не знаю». — Пожалуй, в гостинице.

— В какой?

— В этой, как ее... Большая такая, на горе.

— Не знаете? — удивился Алазян. — Как же вы в ней поселились?

Гостев понял, что попался, и затосковал: так бездарно провалить сеанс, которого с трудом добился. Сразу заболела голова: тесный шлем даже в компьютерном сне напоминал о себе. Он с тоской поглядел в окно, увидел на соседней горе большой памятник — величественную фигуру женщины с мечом в опущенных руках.

— Тут передо мной на горе памятник...

— Ясно! — обрадованно воскликнул Алазян. — Это гостиница «Молодежная». Я сейчас приеду.

Гостев хотел возразить, что ехать никуда не надо, но в трубке уже частили, торопились короткие гудки.

В дверь постучали почти сразу: машина, как видно, сэкономила время. Улыбаясь, как в первый раз на экра-

не, скромно и приветливо, Алазян быстро обошел гостиничный номер, посмотрел в окно на огромную фигуру женщины с мечом, кивнул удовлетворенно, присел к невысокому журнальному столику, снова вскочил, принялся выкладывать из портфеля яблоки, гроздь винограда в большом сером кульке. Бросил пустой портфель в угол, снова заходил по комнате.

— Я очень извиняюсь, что не могу вас к себе домой пригласить, — быстро заговорил он, не давая Гостеву вставить слово. — У нас не полагается так гостей встречать, но не могу сейчас домой, неподходящая обстановка, не для гостя... А вы прямо из Москвы? Кто вам рассказал обо мне?..

— Да я ненадолго, — торопливо сказал Гостев. — Мне только поговорить с вами о теории абсолютных координат пятимерного континуума...

Алазян резко остановился посередине комнаты.

— Откуда вы об этом узнали?

— Из четырнадцатого выпуска трудов Армнипроцветмета. — Гостев с трудом выговорил длинное трудное слово.

— Как эта книжка к вам попала? У нее тираж-то всего пятьсот экземпляров. На пятнадцать авторов. Представляете? Весь тираж авторы разобрали.

— Попала, — неопределенно ответил Гостев. — Для истории и одного экземпляра достаточно.

— И вы все прочли?

— Вашу статью прочел.

— Поняли что-нибудь?

— Понял...

— Это не мое открытие, не мое, понимаете? — перебил его Алазян таким тоном, словно ему сказали, что ничего не поняли. — Еще Герман Вейль в тысяча девятьсот двадцать четвертом году утвердил в науке представление о пятимерном континууме и, можно сказать, осуществил предсказание Лейбница о необходимости рассмотрения пространства, времени и массы в качестве

координат континуума... Вы меня понимаете? Континуум, коротко говоря, — компактное множество. Пятимерный континуум — это пять координат, к которым сводится все многообразие мира, — три измерения пространства, время и масса. Да, масса, которую до этих пор как-то не учитывали. Впрочем, вероятно, всему своя пора. Двухмерная физическая картина древности, соответствующая геометрии отрезков и плоскостей Евклида, уступила место представлениям трехмерной (пространственной) физики средневековья — натурфилософии Галилея — Ньютона. Затем пришла пора четырехмерной релятивистской физики Лоренца — Эйнштейна. Физика пятимерного континуума завершает этап выбора координат... Вы меня понимаете?.. — Он недоверчиво посмотрел на Гостева и словно спохватился: — Прощу извинить, заговорился. Сейчас мы поедем обедать...

— Я не хочу обедать, — возразил Гостев.

— Пока доедем — проголодаетесь. Вы раньше были в Армении?

— Нет... не был, — сказал Гостев.

— Вы не были в Армении?! — воскликнул Алазян таким тоном, словно Гостев признался в каком-то проступке. — Тогда так... Минуточку. — Он кинулся к телефону, быстро набрал номер, заговорил с кем-то по-армянски торопливо и страстно.

За окном всюду сияло солнце, тучки скользили по синему небу, пухлые, неторопливые. Время шло, и Гостев начал подумывать о том, не прервать ли сеанс. Похоже было, что не он задает программу, а Алазян уверенно и властно втягивает его в свое привычное поведенческое русло. Достаточно было Гостеву произнести шифр — пять цифр: 8-17-80 — и все остановится. И хоть через час возобновится сеанс, хоть через день, все начнется с этого самого мгновения. Никакого перерыва Алазян даже и не заметит. Только, может, удивленно посмотрит на гостя, забормотавшего вдруг какие-то цифры. Но он не стал говорить своего магиче-



ского шифра, решил, что лучше всего Алазян может раскрыться именно в своей обстановке. Заставить его только произносить монологи, лишив возможности «жить» привычной жизнью, — значит обрезать сложнейшие нити ассоциаций и обеднить мысль. И как ни дефицитно, как ни дорого компьютерное время, надо этим временем жертвовать. Если хочешь «встретиться» с истинным предком, а не с манекеном, ограниченным непонятными для него, чуждыми ему потребностями. Все должно идти так, как шло бы на самом деле. Только тогда можно быть уверенным, что картина прошлого — истинна...

— Сейчас придет машина и мы поедem в Гегард, — сказал Алазян, резко положив телефонную трубку.

— Зачем... в Гегард? — растерялся Гостев.

— Тому, кто не видел Армении, Гегард надо посмотреть обязательно. Так же, как Горис, Гошаванк. И конечно, Эчмиадзин, Рипсима... Но я предлагаю поехать в Гегард. Потому что там, по пути, храм Гарни и хороший ресторан, где можно по-настоящему пообедать...

Он говорил это с завидной уверенностью, что иначе не может быть, иначе никак невозможно. Решительно вышел на балкон, заглянул с высоты через перила.

— Вот уже и машина идет.

— Может, поговорим — и все? — робко спросил Гостев.

— Дорогой поговорим. Где ваше пальто? Нет пальто? Как же вы из Москвы? Там ведь уже холодно. И вещей никаких не вижу. Налегке? — Он с недоумением посмотрел на Гостева. — Более чем налегке.

И снова Гостеву подумалось, что сеанс срывается. Потому что даже всезнающий компьютер не может учесть всего. Вот ведь не догадался снабдить его в эту необычную командировку хотя бы чемоданом. Должен же он знать, что была во времена Алазяна такая потребность у людей, — отправляясь в поездки, брать с собой чемоданы с вещами, дополнительную одежду. В растерянности он сунул руку в карман, вынул большой, как

раз по ширине кармана, блокнот и успокоился: все-таки компьютер соображает, поправляется на ходу. Ведь Гостев только здесь решил объявить себя приезжим журналистом, и вот у него уже блокнот в кармане. Какой же журналист XX века без блокнота?! В то время еще не умели обходиться без того, чтобы все записывать...

Поколесив по улицам Еревана, машина вырвалась на загородное шоссе и помчалась по неширокой асфальтовой дороге, извивающейся вдоль крутых и пологих склонов. Алазян, сидевший впереди, рядом с молчаливым шофером, непрерывно и страстно рассказывал о проблемах, изучением которых он в разное время занимался, — о постоянстве силы притяжения и непостоянстве скорости света, о влиянии приливных сил Галактики на вращение Земли и об эрозийном сейсмическом конусе — эрсеционе, о шкале температур ниже «абсолютного нуля», о зависимости распада системы от ее энергии, о гравитационной неоднородности пространства, о неаддитивности энтропии и прочих и прочих.

То ли от частых поворотов, то ли от этого обрушившегося на него клубка теорий, идей, гипотез у Гостева разболелась голова, и он спросил устало, почти раздраженно:

— Как можно одновременно заниматься столь разными вопросами?

— Как разными? — удивился Алазян. — Все они имеют отношение к главному вопросу миропонимания.

— Какому?

— Основополагающему.

Следовало повторить вопрос, но Гостев не сделал этого. Он чувствовал себя очень уставшим, хотелось спать. И чтобы прекратилась эта качка вправо-влево. И чтобы Алазян замолчал, перестал мучить своими то ли на самом деле гениальными, то ли бредовыми идеями. И вдруг он вспомнил, отчего головная боль, — от того, что тесен шлем. И подумал, что вот так же, наверное, уставали от бешеного фонтана идей Алазяна его

современники — ученые — и винули его, хотя виноваты были сами, привыкшие к медлительности и постепенности, разучившиеся с молодой бесцеремонностью тасовать доводы, выводы, идеи. И он устыдился своей слабости.

— Трудно, наверное, так много работать, думать обо всем сразу? — сочувственно спросил он.

— Трудно не думать, — ответил Алазян. — Перестать думать — значит умереть.

— Должен же человек отдыхать?

— Обязательно. Вот сейчас мы и отдыхаем.

— Ничего себе, отдых! Между делом, отдыхая, противоречить Эйнштейну...

— А кто противоречит Эйнштейну?

— Да вы же своим пятимерным континуумом...

— Такой неблагоприятной задачи я перед собой не ставлю. Разве геометрия Лобачевского — Римана противоречит геометрии Евклида? Разве релятивистская физика противоречит физике Галилея — Ньютона? Так и теория пятимерного континуума не противоречит представлениям классической и релятивистской физики, а дополняет, расширяет, обобщает и углубляет эти представления. Эйнштейн видел ограниченность физики Галилея — Ньютона в ее механицизме, обусловленном рассмотрением лишь пространственных координат. Теория относительности утвердила необходимость учета четвертой координаты — времени. Но она тоже оказалась ограниченной. Это скоро почувствовалось. Несмотря на все усилия релятивистов, они не смогли создать единой теории поля. Причина, мне думается, не в недостатках теории относительности, а возможно, в том, что в представлениях релятивистов отсутствовал пятый континуум — масса, внутреннее состояние системы...

— А почему только пять континуумов? Может, найдется шестой? — перебил Гостев.

— Я его себе не представляю.

— Ну как же! Вы говорите: за пятое надо принять

массу. Но если есть масса, то почему не быть ее отсутствию, просто пустоте.

— Вакуум? Это не пустота, это особое состояние массы. Эфир, как говорили раньше.

— Отсутствие есть присутствие?

— Вроде того. Ведь массу тоже можно рассматривать как отсутствие. Отсутствие вакуума — эфира. Если масса отсутствует в одном состоянии, то обязательно присутствует в другом. И при определенных условиях одно переходит в другое. Рождаются же миры вроде бы из ничего...

— Даже целые вселенные, — вставил Гостев, рискованно намекнув на сделанные уже в ХХI веке открытия.

— Даже вселенные, — как ни в чем не бывало подтвердил Алазян. — Звезды, планеты и астероиды, вместе взятые, по расчетам, составляют лишь пятнадцать процентов массы Вселенной. Остальное приходится на вакуум. — Он помолчал, посмотрел на горы, на небо, испятнанное тучами. — Мне кажется, это можно сравнить с грозой. Бывает, тучка-то всего ничего, а льет и льет дождем. И получается, что воды выливается во много раз больше, чем ее было в туче. Туча — как генератор, перерабатывающий влагу окружающего воздуха в дождь. В воздухе вроде и нет ничего, пустота, а оказывается, в нем огромное количество вполне реального дождя. Или возьмите зарождение кристалла... Так и с вакуумом. Теория первоначального взрыва утверждает: в результате какого-то импульса космос вдруг начал перерабатывать энергетические поля вакуума в материю. Масса начала бурно, взрывообразно менять свое состояние...

— Но почему? — спросил Гостев. — Что-то ведь должно быть в основе, какая-то закономерность, побудительная причина?

— Почему? — переспросил Алазян и задумался.

Вильнув очередной раз, дорога внезапно выпрямилась и, как лезвие меча, рассекла показавшийся впе-



реди зеленый поселок. И там, за поселком, на фоне хаотического нагромождения гор вдруг поднялась поразительно стройная колоннада древнего храма. И эта колоннада, как последний мазок художника, словно бы завершила картину, став ее связующим центром: беспорядок цветowych пятен, изломанных линий вдруг стал живописным.

— Какая красота! — воскликнул Гостев, подавшись вперед.

— Красота! — с каким-то особым удовлетворением, словно все окружающее было его личным, подтвердил Алазян. — Это Гарни. Вечная красота!

Они вышли из машины и долго ходили вокруг храма, меж тесно поставленных колонн, а потом отдыхали от жары в его сумрачной прохладе. И Алазян с уверенностью экскурсовода все рассказывал о многотысячелетней истории этого места, бывшего и энеолитическим поселением, и крепостью, летней резиденцией армянских царей, об этом храме, построенном без малого две тысячи лет назад, разрушенном землетрясением, триста лет пролежавшем в руинах и вновь возрожденном, восстановленном людьми, верящими, что красота не умирает, не должна умирать...

— Как действует красота! — сказал Алазян. — Один дополнительный штрих — и хаотичное мгновенно становится гармоничным...

Потом, проехав еще немного по извилистой асфальтовой дороге, они увидели впереди монастырь Гегард. В тесном ущелье, вплотную прижавшись к высоченным изломам скал, как бы вырастая из них, поднимался белый остроконечный конус церковного купола с едва видным издали крестиком наверху. Он, этот маленький конус, и несколько белых прямоугольников крыш, прилепившихся к нему, приковывали взгляд, казались центром, главным, ради которого создано все это нагромождение гор. И снова Алазян сказал свое загадочное:

— Один штрих — и все меняется. — Он помолчал,

рассматривая выступ горы, на минуту заслонивший монастырь на изломе дороги. — Тысяча лет между храмом Гарни и монастырем Гегард. И верования разные — язычество и христианство, — а законы красоты, пропорциональности, гармонии все те же...

Гостев не понял, что хотел сказать Алазян. Не ради того же размышлял об этом, чтобы открыть очевидное. Не похоже это было на Алазяна, чья мысль купалась в парадоксах и находила все новые. Но он не стал спрашивать, веря, что мысль, как плод, должна созреть сама. Даже если она рождена в таинственных скоплениях простейших электронных элементов, чутко прислушивающихся к логике ими же созданного фантома.

Они ходили по тесному монастырскому двору, уставленному хачкарами — ажурными крестами, вырезанными на плоских камнях. И на стенах построек, на скалах — повсюду виднелись кресты, местами образуя сплошное кружево. Плиты с крестами стояли и на соседних обрывах, словно часовые, охранявшие эту древнюю красоту от хаоса гор.

— Каждый крест — это же столько работы! — сказал Гостев. — Зачем?

— Для самоутверждения народа, — быстро ответил Алазян. — В любом народе, даже в каждом отдельном человеке, живет потребность как-то утвердить себя.

— Можно строить дома, сажать деревья...

— Строили и сажали. Но дома сжигали завоеватели, деревья вырубали... Вы знаете историю армянского народа?

— Немного, — слукавил Гостев.

— Это народ-мученик. В течение последних двух тысячелетий он только и делал, что защищался от многочисленных попыток уничтожить его, поработить, ассимилировать. Очень хорошо сказал об этом писатель Геворг Эмин: «Для того, чтобы уберечься от захватнических притязаний своих агрессивных соседей, прикрывающихся дымовой завесой «общности интересов», «слия-

ния», «единства целей», маленькая Армения издавна была вынуждена еще более обособиться, изолироваться, подчеркивая не то, что роднит ее с другими народами, а то, что отделяет от них, утверждает ее самобытность. Когда ей угрожала Персия, Армения, чтобы не быть растворенной в ней, оградилась защитной стеной христианства. Когда под лозунгом равенства всех христианских стран ей угрожала поглощением Византия, Армения выдвинула свое толкование христианства, отделившись от вселенского. А когда осознала, что проповедь христианства (даже «своего», армянского) на греческом и ассирийском языках подвергает опасности существование армянского языка и способствует ассимиляции народа, она создала свой алфавит, свою письменность, чтобы проповедовать свое христианство на своем языке, сохранить независимость и самовластие...»

Алазян цитировал уверенно, словно читал текст, и Гостев недоверчиво посматривал на него: такая хорошая память или это компьютер подсказывает своему фантому, своему детищу?

— Вся эта церковь вырублена в скале. Наружные пристройки появились потом. Айриванк, как называли монастырь раньше, значит «пещерная церковь». Впрочем, вы сами увидите...

Жестом хозяина он пригласил Гостева войти в маленькую дверь, но вошел первым, быстро прошагал тесным переходом и остановился посреди просторного зала с колоннами и высоким сводом. Здесь было сумрачно, свет, падающий через небольшое круглое отверстие в центре свода, придавал всему этому залу с черными провалами ниш некую таинственность. Но света было достаточно, чтобы понять, что все вокруг — колонны, своды, барельефные изображения на стенах — вырезано в сплошном монолите горы. Каким же нужно было обладать терпением, настойчивостью и вместе с тем чувством красоты и соразмерности, чтобы вручную, примитивными инструментами, зачастую с помощью то-



го же камня вырубить все это, предусмотрительно сохраняя наросты скалы для барельефных украшений! Почему непомерный, наверняка изнурительный труд этот не убивал чувства красоты? Или именно постоянно живущее в людях это чувство как раз и побуждало на строительный подвиг?..

Гостев понимал, что он, тоже включенный в компьютер, думает обо всем этом совсем не случайно, что машина подталкивает его к каким-то серьезным выводам, но каким именно, понять не мог. И только росло в нем нервное напряжение, и от этого все больше болела голова. В какой-то миг ему захотелось произнести свой шифр, выкрикнуть его в темноту как заклинание. Вот было бы интересно внезапно исчезнуть, раствориться в таинственном полумраке!..

Они возвращались по той же горной дороге. На очередном повороте Алазян указал шоферу на придорожный ресторан, и они, оставив автомобиль на стоянке, втроем вошли в большой зал, гудящий возбужденными голосами. Алазян пошептался с официантами, и скоро стол был накрыт.

— Зачем так много еды? — спросил Гостев. — Ведь не съедим.

— Сколько съедим, — неопределенно ответил Алазян и, разлив шампанское по бокалам, встал над столом. — Я поднимаю тост за великий русский народ, с которым армянский народ находится в близком родстве. Оба наши народа исходят из одного, затерянного в глубине тысячелетий, индоевропейского корня.

Он выпил до дна, сел и неожиданно запел чуть дребезжащим красивым голосом:

То не ветер ветку клонит,  
Не дубравушка шумит,  
То мое сердечко поет...

Гостев тоже выпил шампанское и удивился, почувствовав, как ясность мыслей словно бы подернулась

легким туманом. Захотелось обнять этого удивительного Алазяна и петь с ним вместе, тянуть из самого сердца сладкую печаль:

Догорай — гори лучина,  
Догорю с тобой и я...

Этого он не ожидал, чтобы компьютер был так педантичен и, воздействуя на какие-то лишь ему известные центры мозга, вызывал подлинное чувство печали. Хотя следовало ожидать: если уж все по правде, так все по правде.

За высокими сводчатыми окнами ресторана начинался крутой склон, а дальше во всю ширь распахивалась панорама ближних и дальних гор. Гостев встал и пошел к окну. Ноги ступали нетвердо, и он, пошатнувшись, едва не облокотился о плечо какой-то женщины. Мужчина, сидевший с ней за одним столиком, свирепо поглядел на него и медленно стал подниматься с места.

«Скандала только и не хватает, — обеспокоенно подумал Гостев. — Что в таком случае выкинет компьютер?» И негромко сказал прямо в лицо сердитому мужчине:

— Восемь, семнадцать, восемьдесят!..

На миг он зажмурился, а когда открыл глаза, увидел себя полулежащим в кресле перед огромным, слабо люминесцирующим экраном. Оператор удивленно поглядел на него от пульта управления.

— Вы прерываете сеанс? Но у вас все показатели в норме.

— Голова болит, — раздраженно сказал Гостев. — Шлем надо заменить.

— На замену шлема и переключение всех датчиков уйдет не меньше часа. Я не уверен, что компьютер столько времени продержит момент.

— А говорили: может держать сколько угодно.

— Теоретически. Но дело-то новое, и я боюсь, что уже теперь течение «сна» изменится и вы не попадете в

ту же точку смоделированного пространства-времени...

Но он вернулся в ту самую точку. Вспомнил наметившееся доверие между ним и фантомом, предощущение открытия, вспомнил все это и решил отмучиться до конца, не меняя шлема.

— Пить не надо, — наставительно сказал ему оператор, оборачиваясь к своему пульту.

— Пить не надо! — как эхо повторил сердитый мужчина, все еще поднимавшийся из-за столика.

Ничего не изменилось вокруг. Казалось, его короткое отсутствие не было даже замечено. Подошел Алазян, заботливо увел Гостева на место, вернулся к сердитому мужчине и принялся что-то говорить ему по-армянски. Через минуту он уже чокался там, за столом, и Гостев заметил, что сердитые мужчина и женщина уже посматривают в его сторону с доброжелательным интересом.

«Вовсе не надо пить, — сердито сказал себе Гостев. — Не для того ты погружаешься в машинный «сон». Он решил больше не тянуть и, сославшись на недомогание, сейчас же предложить Алазяну ехать и дорогой еще порасспросить его о разном.

Возвращались в сумерках. Дальние горы затягивала вечерняя мгла. Кое-где дорогу перегораживали полосы плотного холодного тумана — сказывалась осень. И всю дорогу Алазян говорил быстро и страстно, будто несколько не устал за день, не замечая, что повторяется, или не желая этого замечать, поскольку мысли его требовали повторения и повторения, привыкания к ним слушателя.

— ...теория относительности была воспринята не сразу. Четырехмерный континуум, где время рассматривалось в качестве четвертой координаты, вначале не укладывался в сознание и воспринимался лишь одиночками. Эта теория породила идола — постоянство скорости света. Эта универсальная константа была объявлена максимально возможной в природе скоростью вза-

имодействий. Позднее Эйнштейн и сам бросил тень на своего «идола», отказавшись от постоянства скорости света в гравитационном поле. Тогда была высказана идея, что свет обладает гравитационной массой и отклоняется у мощных гравитационных тел, то есть испытывает ускорение. Однако «идол» жил. Это было странно для быстро развивавшейся революционизировавшей физики, но никто не пытался поставить под сомнение парадокс постоянства скорости света...

— Как же не пытался? — перебил Гостев. — А опыты...

— Опыты Майкельсона, — перебил его Алазян, — в действительности привели лишь к выводам относительно независимости скорости света от других движений. В этих опытах свет распространялся в условиях постоянного гравитационного поля Земли. Но результаты можно трактовать и так, что скорость света на Земле есть функция от тяготения Земли. Если бы измерительная аппаратура находилась в космическом пространстве и опыт проводился в состоянии невесомости, то там скорость света, вероятно, оказалась бы выше. Скорость фотона зависит от гравитации, от расстояния, пройденного им, и, стало быть, от времени его жизни. Старея и ускоряясь, он в конце концов превращается в поле...

— И что из этого следует? — спросил Гостев.

— Из этого следует важнейший постулат теории пятого континуума: скорости взаимодействия, универсальной для всей Вселенной, не существует. Из этого следует, что, рассматривая структуру мироздания, мы не можем сбрасывать со счетов состояние системы...

Он замолчал, вглядываясь в россыпь огней уже близкого Еревана. И снова Гостеву показалось, что Алазян что-то напряженно обдумывает. Мелькнула мысль: может, его думы самые будничные, может, он озабочен одним — как поскорей отделаться от назойливого журналиста? Это будет неожиданным, если фантом первым

устанет и откажется от контакта. Гостев отбросил эту мысль. Не потому, что такого в принципе не могло быть, — мера терпения фантома должна быть равна безграничным возможностям компьютера, — просто не вязалось это с характером Алазяна, никак не вязалось.

— Итак, вы утверждаете, что все представления о мироздании укладываются в пять компонентов: три пространственных, время и массу. Но напрашивается вопрос: что же их объединяет?

— Они и есть единство. В природе нет ничего, кроме материи в пространстве и во времени. И выходит, что элементы пятимерного континуума по отдельности не существуют...

— Но ведь естественное состояние мира — хаос...

— Нет, не хаос! Только не хаос! — быстро и страстно воскликнул Алазян.

— Тогда что же?

Алазян помолчал, снизу вверх рассматривая стройные ряды светящихся окон, рядами опоясывающие цилиндрическое здание гостиницы, к которой они подъезжали. Автомобиль обогнал этот вертикально поставленный цилиндр по круто поднимающейся дороге и остановился у ярко освещенного подъезда.

— Я вам завтра отвечу, — сказал Алазян, выходя из автомобиля.

— Почему не сейчас?

— Я подумаю. Вы ставите очень интересные задачи.

Он проводил его до двери гостиничного номера и ушел, трижды извинившись за что-то. Гостев принял ванну, лег в постель и, уже засыпая, все думал: какие такие задачи поставил он перед Алазяном? Когда?

Он уснул с неожиданной мыслью: компьютер не просто «воскрешает» человека в фантоме, а как бы продолжает его жизнь. И то ли в своем собственном, то ли в иллюзорном машинном «сне» Гостеву чудились в гармоничном смещении времени и пространства сияющие перспективы человеческого бессмертия...

Ему казалось, что только на миг закрыл глаза, как уже проснулся бодрым, совершенно выспавшимся. В широкие окна заглядывало солнце. Город внизу еще кутался в прозрачную вуаль тумана. Дальше, за городом, туман был плотнее, белым половодьем захлестывал пространство до самого Арарата, живописным конусом возвышавшегося на горизонте.

С предощущением чего-то нового, необычайного Гостев встал, босиком прошелся по холодному паркету. И тут в дверь постучали. За дверью стоял Алазян, широко, радостно улыбался.

— Едем завтракать, нас ждут...

На такси они добрались до района новостроек, где рядами стояли одинаковые пятиэтажные дома. Их действительно ждали. Стол был уже накрыт, и за ним сидели человек шесть, которых Алазян представил как своих друзей. И сразу начал читать стихи. Сначала это была длинная поэма о Заратустре, потом столь же длинный стихотворный пересказ легенды о несчастной любви красавицы Ахтамар, каждую ночь зажигавшей огонь на берегу, чтобы ее любимый не заблудился в темноте.

Гостева стихи утомили. Он хотел было напомнить Алазяну о вчерашнем разговоре, но тут в комнату вошла молодая, очень красивая девушка — дочь хозяина этого дома, скромно села к столу, послушала стихи, высказала несколько зрелых замечаний и ушла. И сразу разговор за столом пошел только о ней. Все наперебой хвалили родителей, школу, где она училась. Хвалил и Гостев, не в силах удержать теплое чувство нежности и благодарности к кому-то, вдруг охватившее его. Скоро девушка вернулась и подала Гостеву сувенир — чеканку с изображением стройной и гибкой Ахтамар, держащей огонек в поднятых руках. На обороте красивым ученическим почерком с наивным простодушием было написано: «На долгую память от Тамары».

«Дать бы себе волю влюбиться, — с радостным зло-

радством думал Гостев, пока они спускались по узкой лестнице во двор и усаживались в автомобили. — Интересно, справился ли бы компьютер со всей полнотой томящих и возвышающих чувств?..»

Сколько открытий сделал он за этот сеанс! Оказывается, не только бессмертие богов и мудрость всех мудрецов может подарить человеку машина, но и, наверное, само счастье, светлое лекарство любви!..

На этот раз ехали с эскортом. За их автомобилем, непонятно зачем, следовал точно такой же. Тамара сидела рядом, и это для Гостева многое меняло. Исчезло нетерпение поскорее заставить Алазяна высказаться и на том закончить сеанс, неожиданные и частые его экскурсии то в историю, то в архитектуру, то в эстетику уже не раздражали, и вообще вся эта поездка, еще недавно выглядевшая для Гостева вынужденной, теперь казалась совершенно необходимой, прямо вытекающей из задач хроносеанса.

Они выбрались на загородное шоссе, напрямую пересекавшее обширную долину, и тут Алазян сам вспомнил о вчерашнем разговоре. Ничего он, оказывается, не забывал, просто следовал древней истине, что всему свое время и не место в гостях деловым беседам. А то, что разговор предстоял серьезный, это Гостев понял с первых же фраз, заумных, непростых даже для него, человека из будущего.

— Почему наше пространство трехмерно? — спросил Алазян. — Почему из бесчисленного множества формально возможных размерностей в нашем мире реализовалась именно трехмерность?

— Возможно, это обусловлено нашей психофизиологической организацией? — в свою очередь, спросил Гостев.

— Существует и такое объяснение. Но не законами логики или психологии объясняется трехмерность пространства. Это объективный физический факт, его про-

исхождение связано с глубокими законами нашего мира...

— Это и есть ответ на вчерашний вопрос? — не без иронии спросил Гостев.

— Лишь попытка ответа. Вы задали очень интересный и очень трудный вопрос: хаос ли, случайности ли в основе сотворения? Я всю ночь думал об этом.

— Когда же спали?

— Подремал немного. Но я всегда сплю немного. А тут еще этот ваш вопрос: почему все так, а не иначе?..

— Детский вопрос...

— Дети порой бывают мудрее нас, взрослых, связанных догматическим мышлением. Право же, стоит задуматься, почему все так, а не иначе. Кант полагал, что бог перед сотворением мира был свободен в выборе размерностей пространства. Кант ошибался: даже бог не мог бы позволить себе волюнтаризм. Расчеты показывают, что число пространственных измерений может быть только нечетным и что при  $N$  больше трех электрон был бы неустойчив и падал на ядро. И круговые траектории планет были бы неустойчивы, планеты или падали бы на притягивающий центр, или улетали в бесконечность. В нашем мире все подчинено, если можно так выразиться, высшей энергетической целесообразности. Вы меня понимаете?

— Пытаюсь, — сказал Гостев. Он не совсем понимал, что хочет сказать Алазян, но сейчас, в присутствии Тамары, ему нравились рассуждения об устойчивости, о целесообразности, о красоте.

— При  $N$  больше трех атом не может существовать. В этом случае нет ни пространства, ни материи, ни, разумеется, времени — ничего нет...

Машины стремительно въехали в улицы города Эчмиадзина и остановились возле высоких ворот древнего монастыря. Словно обрадовавшись возможности переменить разговор, Алазян, едва выйдя из машины,



с новым энтузиазмом начал рассказывать об этом монастыре, в котором будто бы есть постройки, сохранившиеся с начала четвертого века, того самого, когда Армения «отгородилась крестом от персидской экспансии». За ними ходила толпа людей, решившая, как видно, что Алазян — экскурсовод, так уверенно говорил он об арке царя Тиридата, о патриарших покоех, о древнейшей урартской стеле, о еще не потемневшем от времени обелиске — комплексе хачкаров, возведенных в память о двух миллионах мучеников-армян, жертв турецкого геноцида...

Снова Гостев заподозрил, что компьютер подсказывает Алазяну. Не может же один человек знать все.

«Почему не может? — спросил себя Гостев. — Гений может все. На то он и гений, чтобы быть гармонично развитым. Недаром же многие гениальные писатели были и поэтами, и художниками, и музыкантами, и даже учеными. Гению все дается, потому что в нем, как говорил поэт, живет «божественный глагол». Если для Сальери сочинительство было тяжким трудом, то для Моцарта — игрой. Моцарт, несомненно, был универсален, и, если бы Сальери из зависти его не отравил, он выразил бы себя и во многом другом. Гениальность есть универсальность — высшая степень гармоничности...»

Так думал Гостев и все пристальнее приглядывался к Алазяну, находя в нем новые и новые черты — добросердечие, бескорыстие, какую-то открытую, беззащитную благородность... И остро, до тоски душевной, жалел, что между ними, реальными, — пропасть времени. Иначе они бы стали друзьями. Обязательно стали бы, потому что постыдно быть рядом с гением и не обогатиться от этого редкого соседства...

— Сардарapat! — представил Алазян очередной мемориал, к которому они вскоре подъехали.

Несоразмерно длинные и тонкие арки тянулись ввысь, и там, наверху, в небесной голубизне, призывно

плакали колокола. У подножия арок, опустив головы, стояли крылатые быки, с каменным терпением слушали печальный перезвон. И естественно вплетался в эту мелодию быстрый рассказ Алазяна о последней из многих за долгую историю Армении попыток уничтожить армянский народ. С того трагичного года не прошло и трех четвертей века, и еще живы люди, чьи родители в те страшные дни были растерзаны и брошены в придорожные канавы, выселены в пустыни, изгнаны из родных мест. Земли, на которых народ жил тысячелетиями, обезлюдели. Гармоничное, соответствующее естественным внутренним закономерностям развитие народа застигло хаос распада, смерти. Но не исчез народ. На оставшейся у него крохотной территории он сохранил гармонию души своей в традициях, трудовых навыках, в песнях и верованиях, сохранил национальную гордость, стихийную жажду единства.

В том 1915 году численность народа уменьшилась вдвое. А еще через три года турецкие поработители решили совсем стереть Армению с лица земли. И простой народ, не организованный ничем, кроме наследственного чувства единения, почти не вооруженный, толпой вышел на эти Сардарапатские поля, навстречу хорошо оснащенной турецкому регулярному войску. И одержал победу. Спас то, что создавал века и тысячелетия.

Да будут разрушены  
Все дьявольские ловушки  
И распознаны все приманки удилищ,  
И обнажится темная западня коварства...  
И зубы грызущих  
Да будут вырваны с корнем!..

Алазян произнес эти стихи, как молитву, взметнув руки к гудящим колоколам, и, не оглядываясь, быстро пошел по длинной аллее, уставленной громадными фигурами сидящих каменных орлов, к кроваво-красной стене, за которой в отдалении виднелось такое же кроваво-красное здание, похожее на древний замок. И словно

подчеркнутая этой краснотой, густо синела даль горизонта с пронзительно красивым конусом горы Ара-рат.

Возле массивных деревянных дверей этого здания Алазян остановился и, обращаясь к Гостеву, произнес успокоенно и торжественно:

— Это были стихи гениального нашего поэта Григора Нарекаци, жившего тысячу лет назад. — И отступил в сторону, церемонно открыл тяжелую резную дверь. — Теперь прошу в музей.

Он водил Гостева, и Тамару, и всех других, приехавших вместе с ними людей по музею и снова с завидной уверенностью экскурсовода говорил и говорил, сообщая многочисленные сведения едва ли не о каждом экспонате. И снова Гостев с недоверием косился на него, мучась сомнениями: неужели сам все знает? И снова думал о какой-то неуловимой, но ясно ощущаемой общности между законами микро-макромира, и историческими судьбами народов, и судьбами отдельных людей, и закономерностями, определяющими красоту поэзии, живописи, архитектуры, даже обычной, вроде бы не подчиняющейся никаким законам интимной человеческой любви...

Потом все они оказались в ресторане за столом, уставленным с безумной щедростью. И грохотал оркестр, и юная Тамара мило улыбалась Гостеву, наполняя душу сладкой печалью. И Алазян уводил Тамару танцевать, на середину зала, свободную от столиков, упоенно, по-молодому кружился вокруг нее, и она, маленькая и худенькая, каким-то волшебством вдруг превращалась во время танца в гордую, стройную и высокую богиню, снисходительно-поощряюще улыбалась со своей высоты, сама, по-видимому, не понимая того, электризовала, подбадривала Алазяна, музыкантов, Гостева, сидящего за столом.

Своды ресторанный зала, выложенные из красного кирпича, тянулись ввысь, и там, в вышине, пронизанный

солнцем, бьющим в стрельчатые окна, клубился розовый дым...

— Что-то вы всё думаете, думаете... — Тихий голос Тамары, прозвучавший над самым ухом, заставил Гостева вздрогнуть.

— Так уж надо, — переводя дух, растерянно пробормотал он.

— Танцевать надо. Танцы помогают думать.

— Разве не отвлекают?

— Нет, нет. Это у нас все девушки знают. Когда перед экзаменами ум за разум заходит, лучшее средство — потанцевать...

— Она правильно говорит. Она знает. — Алазян наклонился с другой стороны, запыхавшийся в танце, улыбающийся, пахнувший почему-то сухой полевой травой.

— А до чего додумались вы, танцуя? — тотчас спросил Гостев, решив, что случай для продолжения беседы самый подходящий.

— Пока ни до чего. Но что-то интересное вырисовывается. Этой ночью я просмотрел некоторые работы. — Он сел рядом и, не сводя глаз с какой-то точки на столе между тарелками, заговорил быстро, словно боялся, что не успеет высказаться: — Английский теоретик Поль Дирак записал однажды, что «физический закон должен быть математически изящным». Он, да разве только он один, был убежден, что если найдено симметричное, «красивое», как говорят физики, обобщение теории, то это первый признак каких-то важных физических закономерностей, которые непременно должны реализоваться природой. Бельгийский ученый, один из создателей научной статистики, Адольф Кетле, писал, что «все элементы организмов колеблются около среднего состояния и... изменения, происходящие под влиянием случайных причин, подчинены такой точности и гармонии, что их все можно перечислить наперед». Обратите внимание, и тот и другой подчеркивают осново-

полагающее значение красоты, гармоничности... Авиаконструкторы считают, что красивые самолеты лучше летают. Педагоги в один голос твердят о необходимости гармоничного развития личности... Все ученые пробираются сквозь хаос фактов к идеалам универсальных теорий с явным желанием придать картине мироздания максимальную красоту и гармоничность. Что означает всеобщая жажда гармонии? Случайна ли она?.. Нам кажется, что мир многолик. Но это, пожалуй, лишь потому, что мы плохо его знаем. У каждого человека своя точка зрения, зависящая от меры его знаний и способностей. И от времени, в котором он живет. У времени множество обликов, соответствующих формам пространства и состояния масс. Так и должно быть для единства пространства-времени-массы... Но существует нечто объединяющее, существует! Есть ли что общее, скажем, между жизнью отдельного человека и «жизнью» целой галактики? Абсурдное сравнение, не правда ли? Но все-таки давайте сравним. Известно, что размер нормальной галактики самое большее в сто тысяч раз превышает размеры ядра, из которого она образовалась. Известно, что активное состояние ядра галактики длится не более одного процента от времени ее жизни. Почти те же самые соотношения, что и у человека. Из ядра половой клетки размером в десять в минус третьей степени сантиметра вырастает организм размером около пятидесяти сантиметров, — рост в пятьдесят тысяч раз. Время «сотворения» человека — девять месяцев — равно примерно одному проценту его жизни... Совпадения ли это?.. Жизнь, как считал академик Вернадский, — явление вселенское, она — результат взаимодействия макро- и микрокосмоса. Жизнь не случайность, не выхлест слепого хаоса. Она необходимый элемент эволюции Вселенной, результат взаимодействия высших законов гармонии, которым в конечном счете подчинено все. И разум, возможно, он для того и создан, чтобы ускорить процесс упорядочения, гармонизации. Возмож-

но, на нас, носителей вселенского разума, возложена природой особая миссия. Миссия миссий...

— А мы неразумно копим атомные бомбы, — неожиданно сказала Тамара, и Гостев вдруг увидел, что все сидят за столом, не притрагиваясь к еде, благоговейно слушают.

Алазян как-то сразу сник.

— Я что-нибудь не то сказала? — растерялась Тамара.

— Что ты, девочка! — Алазян погладил ее по тонкому плечу и встал: — Я предлагаю тост за наших милых дам, присутствующих и отсутствующих, которые не дают нам взлететь слишком высоко, ожечь крылья о солнце.

Тамара покраснела и поставила бокал.

— Нет, нет, — успокоил ее Алазян. — Это неплохо, совсем неплохо. Я говорил о разуме как о вселенском явлении. Разум каждого отдельного человека — это как элементарная частица, возникающая и исчезающая, переходящая в поле. Особая частица, обладающая индивидуальной волей. Разум каждого отдельного человека нуждается в напоминании, что он лишь гость в потоке вечности, призванный выполнять свою небольшую, но непременно добрую миссию. И безропотно уйти...

Произнеся последние слова, Алазян как-то по-особому, пристально посмотрел на Гостева, и Гостев заволновался, приняв это за намек на свой слишком затянувшийся визит. В эту минуту он совсем забыл, где и почему находится.

— Да, — сказал он смущенно и посмотрел на часы. — Мне уже пора.

Он медленно поднялся. Ему захотелось уйти эффектно, цифру за цифрой произнося шифр, прерывающий сеанс. Но вдруг увидел погрустневшие глаза Тамары и снова сел.

— Мне в самом деле пора... Я не говорил раньше... Но мне нужно сейчас... сегодня... Улететь самолетом...

— А у вас вещи в гостинице, — лукаво напомнила Тамара.

— У меня все с собой. Вы оставайтесь здесь, а я — прямо на аэродром.

Он собирался отойти куда-нибудь за угол и там назвать свой шифр. Но Алазян властно усадил его на место.

— У нас так не принято. Если надо, — не смеем задерживать. Но позвольте уж проводить, как полагается...

Почти все время, пока ехали до аэропорта, Алазян молчал, то ли обижаясь на Гостева, то ли обдумывая что-то свое, очередное.

Возле билетной кассы гудела толпа, и Гостев растерялся, не зная, как поступить в этом случае. Ему не удавалось остаться одному, чтобы прервать сеанс, и улететь самолетом при таком обилии желающих, как видно, нечего было рассчитывать. Выручил Алазян, сбежал куда-то, пошептался с кем-то и принес билет на ближайший рейс. Обнял Гостева, расцеловал в гладкие щеки и отстранился, удивленный.

— Чем вы так чисто бреетесь?

— Жидкостью, — не задумываясь, сказал Гостев.

— Какой жидкостью?

Гостев вспомнил, что эта жидкость для бритья в конце XX века еще не была известна, и покраснел, не зная, что и как ответить. Выручило радио, вдруг оглушительно прокричавшее, что объявляется посадка на самолет. И он, так ничего и не ответив, заторопился к выходу, возле которого, за высокой загородкой, дежурные и милиционеры проверяли билеты и багаж.

Он все ловил момент, когда можно будет назвать шифр, но всякий раз, оглядываясь, видел наблюдающие за ним глаза. Так он и вошел в самолет, протолкался среди оживленных пассажиров к своему креслу, сел и задумался о словах Алазяна, сказанных там, в ресторане. Ясно было, что, говоря о всеединстве Все-

ленной, он пытался сформулировать какую-то важную мысль. Какую?

Вспомнилось парадоксальное сравнение Алазяном человека с целой Вселенной. Удивительно, что сравнение это не так уж и поразило. Только теперь он понял почему: нечто похожее ему уже приходилось слышать. Давно, очень давно. И вдруг он ясно вспомнил, — или это компьютер помог вспомнить? — тот разговор. Не слишком известный, но, по общему мнению, весьма перспективный поэт, с которым Гостеву однажды пришлось беседовать, говорил со страстью едва ли не то же самое, что и Алазян:

«...Еще ничего нет, еще неизвестно, что будет, и будет ли вообще, еще тихо и спокойно вокруг, и только чувствуется неясное томление, неслышимый гуд, заставляющий пристальнее вслушиваться и всматриваться в окружающее. Что это? Откуда это? Как будто мелодия звучит в абсолютной тишине, мелодия, которую не разобрать. Как будто ритмы отбивают невидимые там-тамы, но какие — не слышно. И мучаешься в предчувствии неведомого, и ждешь, и боишься его.

И вдруг... Что побуждает к этому «вдруг» — никто не знает. Но что-то происходит, и ты словно прозреваешь, и внезапный свет заливает и прошлое и будущее, и на тебя обрушивается торжествующая музыка понимания. И ты из мятущегося ничтожества вдруг становишься богом, всевидящим, всеслышащим, всезнающим...

Так видимая пустота мироздания, вроде бы полнейший вакуум вдруг исторгает из себя бездну материи, наполняет Вселенную торжествующе-пульсирующими ритмами волновых полей, рождает планеты, звезды, галактики, заставляет их гнаться наперегонки к неведомой цели... Куда? Зачем?..

Не одним ли и тем же законам подчиняется всякий акт творения?!»

Да, он именно так и сказал, тот поэт, именно так...



Машинально, по требованию бортпроводницы, Гостев пристегнулся ремнем, выглянул в овальное окошечко. Отворачивая на север, самолет круто набирал высоту. Заваливалась назад белая шапка Арарата, подернулись дымкой сады Приараксинской долины. Гостев почувствовал, что ему грустно, по-настоящему грустно улетать отсюда. Он достал блокнот, сам не зная зачем, записал на первой чистой странице:

«Прощай, страна гор и легенд, страна вечного народа!

Армения, как я устал от твоего гостеприимства!

Армения, когда я снова увижу тебя!..»

— Никогда! — вслух сказал Гостев, и пассажир, сидевший рядом, с удивлением посмотрел на него.

— Никогда! — повторил он тише. — Анализ этого сеанса займет немало времени, а затем захлестнут другие интересы, другие дела...

«А как же с недосказанным? — спросил он себя. — Как без Алазяна понять его слова о вселенском порядке, о господстве гармонии?..»

И тут он ясно, совершенно ясно понял, что Алазян, по существу, пытался сформулировать закон. Совершенно новый, неизвестный науке закон природы. ЗАКОН ВСЕМИРНОЙ ГАРМОНИИ. Фантом не просто повторялся, копируя свою земную жизнь. Фантом творил. О подобном Гостеву не приходилось слышать, и он в волнении принялся расстегивать привязной ремень, чтобы пройти куда-нибудь, хотя бы в туалет, и там, не встречая удивленных глаз, поскорей назвать шифр. Хотелось срочно сообщить обо всем кому-нибудь из своих коллег, удивить, огоршить.

Фантомы могут творить! Да не как-нибудь, а по самому высокому счету. ЗАКОН ВСЕМИРНОЙ ГАРМОНИИ!.. Интересно, если это войдет в анналы науки, кого будут считать автором — его, Гостева, компьютер или Алазяна?.. Ах, не все ли равно! Главное, какую интеллектуальную мощь может использовать челове-

ство, воскресив для творческой жизни гениев прошлого!..

Ему захотелось вернуться в Ереван, еще поговорить с Алазяном, выпросить. Но вернуться было невозможно. Время в этом «сне», копирующем жизнь, как и в самой жизни, не имело обратного хода. Он мог остановить время, назвав шифр, но не повернуть. Была лишь одна возможность: хлопотать о новом сеансе, и в иное смоделированное время явиться к Алазяну, как к старому знакомому. Теперь Гостев знал, что он сделает это, обязательно сделает...

— Сядьте, пожалуйста, на место! — Бортпроводница возникла перед ним, словно из небытия, красивая и невозмутимая.

— Мне нужно...

— Вставать с кресла до полного набора высоты не разрешается.

— Но мне обязательно нужно!

— Сядьте, пожалуйста, на место!

Загадочно улыбаясь, Гостев поманил ее пальцем, наклонился к аккуратно причесанной головке, слабо пахнувшей тонкими духами, и, разделяя слова, четко произнес:

— Восемь... семнадцать... восемьдесят!..

## СЕКРЕТ СЕН-ЖЕРМЕНА

— ...Мария! Смотри, Мария, опомнись, да поздно будет! Ты вспомни, какой он в прошлом году приехал? Будто молодой, порхал, ты в сравнении с ним совсем старухой была. И теперь он ровно на свидание торопится, неужто не видишь?..

— Так ведь он в нашу деревню едет, — робко возразила Мария — женщина неопределенного возраста, про которую только и можно было сказать, что ей за сорок.

— Али в деревне девок нет?!

— Деревня-то уж давно пустая стоит. Один дед Кузьма со старухой только и живут, помирать все собираются на отчине, да никак не помрут...

— А ты больше слушай своего Васеньку. Он тебе наговорит. Дед Кузьма!.. Да ныне бабам только свистни — в пустой деревне объявятся. А то из города приедут. Ты погляди, погляди, с кем он в вагон будет садиться...

Давняя Мариина подруга, такая же дама не то, чтобы в годах, но и давно уж немолодая, уперла руки в боки и воинственно встала посреди комнаты.

— Я сама, сама посмотрю, а ты уж решай.

— Не надо, Алена, — жалостливо попросила Мария. Ее пугала сама мысль такого демонстративного недоверия к мужу. Как это можно выслеживать?! Ровно шпиона какого! Ей казалось: только толкни недоверие — само покатится.

— Как это не надо?! Лучшая подруга гибнет, а я не вмешивайся?! Я тебя этому аспиду на растерзание не дам.

— Да какой он аспид?!

— Аспид и есть, кто же еще! Он, видите ли, молодится, а жена в старухах пропадай?! Я его выведу на чистую воду, меня не проведет...

— Не надо бы, а?!

— А ты сиди тихо. Я сама все сделаю...

Тут дверь отворилась, и в комнату вошел Василий, человек бодрый, молодой на вид, и только совсем поседевшие волосы да морщины у глаз говорили, что лет ему уж немало.

— Кукуете? — весело спросил он. — Старееете, ку-мушки...

Лучше бы он не говорил последних слов. Обе женщины взвились со своих мест. Но Мария тут же и рухнула обратно, разревелась. Зато Алена подступила к нему с таким неистовством в глазах, что он попятился.

— Мы как есть, а ты вот все молодисься. С чего бы, а?!

— Секрет один знаю, — улыбнулся он.

— Твои секреты подолами панели подметают.

— Ты о чем?

— Все о том же. Ишь, кавалер выискался! Смотреть тошно...

— А ну вас, — махнул рукой Василий и вышел, хлопнув дверью.

— Теперь молчи, виду не подавай, — принялась Алена наставлять подругу. — Провожать не ходи, пускай думает, будто ты ничего не подозреваешь.

Они замерли, прислушиваясь к шуму в соседней комнате. Вот щелкнули замки чемоданчика, который Василий всегда брал с собой, когда уезжал, вот глухо шмякнулся об пол тяжелый рюкзак, приготовленный в дорогу. А потом Василий замурлыкал песенку своей молодости про любимый город, который может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть.

— Молчи! — шепнула Алена. И тут же сама заговорила взволнованно: — Ишь, запел. Спите, мол, тут, дрыхните на здоровье, а я поеду свои делишки обделывать.

Алене не повезло в семейной жизни. Муж бросил ее на третий год после свадьбы, бездетную, кругом одинокую. На нее этот разрыв подействовал так тяжело, что она больше не решилась выходить замуж. Так и жила, считая всех мужчин ветренниками, которые только и думают, как бы сделать женщин несчастными.

— Маша! — крикнул Василий через стенку. — Ты собираешься? Пора уж.

Не услышав ответа, он приоткрыл дверь.

— Ты разве не проводишь меня? — спросил он, видя, что жена не двигается с места.

— Поезжай уж, — выдохнула Мария. — Я устала.

— Ну, как знаешь. — Он подошел к ней, поцеловал

в щеку. — Приеду через две-три недели. Писать не смогу...

— Вот видишь? Что я говорила? Не хочет, чтобы провожала, — заговорила Алена, когда Василий ушел. — Ну я уж поймаю, от меня не уйдет. Ты сиди тут и ни с места, а я пойду. Всю правду визнаю, уж не сомневайся...

Алена прибежала через час, раскрасневшаяся, с торжеством в глазах.

— Что я говорила?! Ты слушай, слушай, зря не скажу. Мужик он и есть мужик, только отвернись...

— Расскажи толком, — взмолилась Мария. — Что было-то?

— Не один он поехал, вот что. Смазливая такая бабеночка. Уж как он вокруг нее — и «пожалуйста», и «будьте добры». И чемоданчик ее — наверх, и нижнюю полку свою — нате вам, сам на верхнюю полез, будто молодой...

— Так это, наверное, просто попутчица..

— Ишь ты, попутчица! Ты поглядела бы, как он ей улыбался, а как она ему!..

— Тебя-то он видел?

— Видел.

— Ах, как нехорошо!..

— Не видел бы, кабы просто так ехал. А то ведь все по сторонам зыркал. Ну и углядел, куда там спрячешься?

— Ну и что?

— Ругаться начал. Все, говорит, не угомонишься, сорока...

— Так и сказал? — засмеялась Мария. — Это же он шутил, я знаю.

— Ты там была? Ну и не говори. Я ему эту «сороку» еще припомню. Я бы сказала им обоим, чтоб покраснели вместе с чемоданами. Да промолчать пришлось. Другая думка запала, боялась спугнуть.

— Что еще за думка?! — Мария сжалась вся, оглянулась на дверь.

— А мы накроем их, голубков. Пускай поуспокоятся денек-другой, а уж потом...

— Ой, Алена, не к добру это. Чует мое сердце.

— Раньше надо было чутать. Теперь уж слушай, что говорить буду. Сиди и слушай...

Утро выдалось тихое и ясное, когда Василий сошел с поезда. Оглянулся — никого, один только и сошел. А бывало, когда мальчишкой прибежал сюда — семь верст от деревни Березовки не велика даль для молодых ног, — тут, на этих самых путях, к приходу поезда всегда толкался народ. Кто-то уезжал, кто-то приезжал, бабы яблоками торговали, свежими огурцами, картошкой, скрипели подводы, фыркали лошади. И колокол гремел у станционной пристройки. Он и посейчас висел, этот колокол, почерневший, давно нечищенный, и было удивительно, как это его еще не стащили охотники за экзотикой — туристы.

Василий отошел в сторонку, бросил на землю рюкзак, сел на свой чемоданчик и закрыл глаза, представляя эту былую станционную суету. Поезд ушел, затих вдаль, и навалилась тишина. По ту сторону путей шумели близкие сосны, солнце, поднимавшееся над лесом, грело спину. То ли вагонный недосып давал себя знать, то ли разнежило возвращение в края родные, но не хотелось Василию вставать: так бы и сидел целый день, не двигался.

Рядом зашуршало, он открыл глаза и увидел девушку с матерчатым городским чемоданчиком в красную клетку, в легкой сиреневой кофточке ручной вязки.

— На поезд опоздала? — спросил он.

— Нет, я с поезда.

Василий недоверчиво оглядел ее всю, остановил взгляд на туфельках на модном каблукке.

— Городская, что ли?

— Я из города еду, — поправила девушка. — А сама здешняя, из Березовки.

— Из Березовки?! — изумился он. — Да кто ж ты такая?

— А я вас помню. Дядя Вася вы.

— Постой, постой!..

И тут он вспомнил. Невероятно было узнать в этой лебедице того «гадкого утенка», которого он видел, да и то мельком, лет пятнадцать назад, когда в Березовке еще жили несколько семей. В то время он еще не знал своей тайны и поездки сюда не были для него столь необходимы. Приезжий человек для немногих оставшихся березовских ребятишек был как пришелец с другой планеты, и они ходили за ним по пятам.

— Как тебя звать-то?

— Маша.

— Маша?! — Он даже привстал, таким знаменательным показалось ему появление юной Маши в тот самый момент, когда приехал он сам. — А зачем тебе в Березовку?

— Дед у меня там. То есть прадед. Ну и вообще.

При слове «вообще» на миг похмурилось лицо ее, и Василий понял, что у Маши, не иначе, личная трагедия, и она, еще не понимая малости этой беды в сравнении с большой жизнью, кинулась куда глаза глядят. А куда тянет человека в трудную минуту, как не на родину, где было столько светлого и беспечального?

— А ты надолго туда?

— Не знаю. — Она нервно передернула плечиками, словно отвечала тому, чья бессердечность погнала ее в эту дорогу.

— Я не помешаю тебе?

— Почему это вы мне помешаете?

— Так ведь я тоже в Березовку. Не за тем, за чем едешь ты, но мне тоже очень нужно. А ведь там, кроме деда с бабкой да нас с тобой, никого и не будет.

— Правда?! — почему-то обрадовалась она. — А я вам не помешаю?

— Что ты, милая! Ты мне поможешь.

— Чем?

— Это я тебе потом скажу...

Он нес рюкзак и оба чемодана — ее и свой, и ему ничуть не было тяжело. Освобожденная от груза, от страха одной идти по этой пустынной дороге, девушка порхала от обочины к обочине, рвала цветы, бросала, хватала новые и беспрерывно щебетала, рассказывая о том, что Василий и сам знал, — какие красивые вечера в Березовке, как шумит лес под ветром и как задыхаются от восторга соловьи в духмяных черемуховых зарослях.

Он ее почти и не слушал, шагал бодро и все удивлялся неведомой силе, вливающейся в него среди этих полей и лесов. Будто скидывал лет двадцать и снова был молодой, здоровый, счастливый. Открыл он это свойство родных мест лет пять назад. Открыл-то, пожалуй, много раньше, да пил этот воздух родины, не задумываясь. А однажды в какой-то компании рассказали ему о секрете вечной молодости, которым будто бы обладал французский граф Сен-Жермен. Все из того компанейского разговора позабылось, а эта мысль застряла в голове. Тогда же он попытался проверить на себе этот секрет и поразился его действию. С тех пор для него перестали существовать южные санатории, каждое лето он рвался в Березовку и был тут счастлив, как когда-то в молодые годы.

— А мы чего с вами будем делать? — щебетала девушка.

— Все, — уверенно отвечал он.

— На охоту пойдем?

— Я с молодости не люблю охотиться.

— А на рыбалку? Вы меня научите рыбу ловить?

— Могу. Но нам будет не до этого.



— А чего же делать? — задыхаясь от таких таинственных обещаний, спрашивала она.

— Все.

— А что все-то, что?

— Ты когда-нибудь любила по-настоящему?

— Н-не знаю, — покраснела она. И тут же спохватилась: — Больно надо!

— А мне надо. Мне еще только предстоит полюбить. Можешь себе представить?

— Неправда.

— Сегодня мне надо, чтобы это было правдой. Но ты меня не бойся.

— А чего мне бояться?

— Мы же будем почти одни. Я могу наговорить комплиментов, подарить цветы, даже поцеловать тебе руку.

— Мне еще никто не целовал руку...

— Так надо, понимаешь?

— Зачем?

— Секрет один есть. Я тебе обязательно его передам. Только потом.

— Игра, что ли, такая?

— Вроде этого.

— Интересно...

Но Василий видел: она все же насторожилась. Шла не такая беззаботная, стала задумываться, искоса взглядывая на него. Видно, уже обожглась в жизни, наслушалась лживых обещаний. Он не успокаивал ее, знал: завтра эта настороженность рассеется.

Деда Кузьму они встретили в перелеске, далеко от Березовки.

— А я как знал, что ты приедешь, — обрадованно заговорил дед еще издали. — Надо, думаю, встретить человека, как же. Что Манька приедет, в голову не стукнуло, а о тебе знал...

Солнце грело как-то по-особому ласково, жаворонки заливались, трепыхаясь в небе, пахло переспелым лу-

говым разнотравьем, и торопливый обрадованный говорок деда Кузьмы естественно вплетался во все это, словно приносился ровным обволакивающим ветром, порождался доброй природой.

— Все такой же, Матвеич, держишься, не стареешь, — ласково обнял его Василий.

— Помирать нам никак нельзя, — по-своему поняв его слова, заговорил дед. — Деревня живая, пока люди в ей. Родина — потому и родина, что хранительница рода она, родина. Род, забывший о родине, что ветер в поле, везде ему холодно, а родина без рода — так, природа дикая, ничейная, никому не нужная.

— Мудрый ты стал, Матвеич.

Василий сказал это серьезно, проникновенно, без доли иронии. Он вдруг позавидовал деду, под старость осознавшему свою высокую значимость. Хранитель отчины — многие ли могут таким погордиться? И одновременно пожалел его: все один да один, бабка Татьяна — какая собеседница? — намолчится, надумается всего. Забот по дому многовато, правда, — хозяйство-то все свое, — ну да работа думам не помеха.

— Станешь мудрым, — обрадовался похвале дед. — Вы вон упорхнули, а мне за всех вас думать приходится.

— А ты не думай, — задиристо встряла Маша. — Я вот не думаю, и ничего, не пропадаю.

— Молчи уж, вертихвостка. Раньше в деревне-то кажинный знал, зачем девки с парнями милуются. А теперь? То-то же. Я тебе, Василей, как на духу скажу: все возвернется. Чаше стали люди-то наезжать. Сказывают: по грибы-ягоды, або в отпуск — отдыхать. Да я-то не слепой: без душевного дела люди маются. Раньше, в деревне-то, об отпусках и слыхом не слыхали. От чего отпуск? От земли своей, в коей вся душа? Манька вон вдругорядь приезжает. Чуть не так в городской-то молотилке — сюда же тычется, как в мамкину юбку. Или ты, к примеру...

— Я особь статья, Матвейч...

— Да и не больно-то особь. Знаю твой секрет, сказывал. Да ведь не куда-нибудь за секретом-то, а сюда же...

Так, за разговорами, и не заметили дороги. Постояли у выхода из леса, как открылась Березовка, поглядели на заколоченные, необиженные дома, помолчали, ровно по покойнику. Каждый по-своему подивился слепоте людской, не видящей редкой здешней красоты. Стояла деревня на чистом взгорье. По одну сторону светлела, всегда будто белым туманом укутанная, березовая роща, убереженная крестьянами даже в пору безоглядных рубок военного времени. От деревни, меж разбросанных по пологому склону старых берез, сбегали к реке все еще не заросшие косые тропки. А за рекой стелились заливные луга, утыканные редкими кустами, отгороженные от неба синим лесом.

— Господи! — прервал молчание дед Кузьма. — Жалко, не верующий, перекрестился бы...

От деревни уже бежала навстречу бабка Татьяна, радостно причитала издали, и этот ее сердечный восторг, и умиление деда, всю жизнь тут прожившего и не разучившегося любоваться привычным, и красота родины, вдруг схватившая Василия слезной спазмой, и облегчение, какое всегда приходит в конце пути, — все это, сливаясь вместе, переполняло душу особой радостью, давало рукам и ногам неведомые силы, и хотелось мчаться куда-то, делать что-то большое и важное.

— Вот так всегда, всегда так! — вздохнул Василий. — Чего мы в городе-то видим? Дураки! Дураки-и!..

— А ты хлопочи там, — сказал дед. — Хлопочи, чтоб колхоз-то возвратили. Трудно жилось, ну да гедь жилось все-таки, не то что теперя...

День этот прошел для Василия в суете узнавания. Бежали с Машей на речку купаться, обошли сенокосы, как было оговорено еще прошлым летом, специально

оставленные дедом Кузьмой для Василия, осмотрели заколоченные дома деревни, и Маша долго хлопотала на бывшем своем пустом подворье, хватая там и тут всякие пустячные предметы, раскладывая их в каком-то ей одной известном порядке.

— Раньше мама ругала, что все разбрасываю, а теперь самой хочется каждую вещь на место положить, — тараторила она. — Чего это со мной, дядь Вась?

— Взрослеешь.

— Ой, верно, совсем старухой стала. Двадцать лет уж, с ума сойти!

— Замуж тебе пора.

— Никто не берет! — с вызовом бросила Маша. — Взял бы меня, если б не женатый? — неожиданно перешла она на «ты», что, впрочем, ничуть Василия не удивило, поскольку «выкания» в деревне не признавалось.

— Обязательно! — сказал Василий и озорно хлопнул Машу по спине, и она, радостная, помчалась по улице, прыгая, как молодая козочка...

А вечером пили чай, хрустели сушками, неторопливо беседовали, свободно, не заданно, обо всем, что приходило в голову.

— Чудно! — дивилась Маша. — Мужики за столом, а без выпивки. Чего не захватил-то, дядь Вась, денег, что ли, пожалел?

— Ай, Манятка! — качнула головой бабка Татьяна. — Неужто городские-то всегда с вином гостюются? — Без вина какое ж застолье?!

— А вот такое! — хлопнул ладонью по столу дед Кузьма. — Ты там у себя в городе командуй, а здесь я главный начальник. Хватит, нагляделся, как это вино проклятушее людей от земли отваживает. Из-за него, считай, и Березовка обезлюдела. Всем сладкой жизни захотелось. В городе-то отбоярил свое — и хоть трава не расти: гуляй — не хочу, пей — не хочу. А чего еще-та? Для того и деньгу зашибают, чтобы тратить.

Получил — потратил, ублажил себя, снова получил — снова потратил. Бывалоча-то, для земли работал, а теперь для брюха своего. Вот все и перевернулось...

— Потребительство, — вставил Василий.

— Это самое теребительство и есть. Теребит человека, пока забудет он про отчину свою, за так отдаст душу черту. Раньше-то, баяли, черту надо было тремя по-тами изойти, прежде чем заполучит душу. Теперича это ему без хлопот, потому не за что человеку держаться, окромя как за бутылку, за ублажение брюха своего...

Понимал Василий: когда еще и выговориться старику, как не теперь, при гостях. И все же взмолился:

— Матвеич! Давай не будем, а?

— Ах ты, господи! — подскочил дед. — Да разве ж я... Совсем запамятовал на старости... Не то тебе надобно, не то, знаю...

— А чего тебе, дядь Вась? — заинтересовалась Маша.

— Радости ему надобно, — насмешливо выкрикнула бабка Татьяна. — Радости, а не жалости.

— Какая ж в деревне радость? И людей-то никого нет. А вправду, дядь Вась, зачем ты сюда приехал?

— Помолодеть хочу, — сказал Василий.

— На земле потрудиться, — добавил дед. — Отсюда и радость и младость.

Бабка вдруг сморщилась, зашлась тихим смешком:

— Помолодеет и женится на тебе, дурочке.

— Так он женатый, — серьезно сказала Маша.

— Так у вас, чай, и в другой раз можно. Мало ли пакостей в городе.

— Болтаешь, старая, не знамо что, — оборвал ее дед. И повернулся к Василию. — Ты где спать-то будешь?

— На сеновале, пожалуй.

— Нынче, что ль, ворожить-то начнешь?

— Воздух у вас больно свежий, как снотворное. Не проснись мне сегодня. Завтра уж.

— И я хочу на сеновале, — заявила Маша.

— Совсем обесстыдела в городе, — вскинулась бабка. — Что ты, девка! Он же мужик.

— Пушай спит, — разрешил дед. — Седни можно.

Сено было свежим и таким пахучим, что слегка кружилась голова. А может, уже начинало действовать то, ради чего он и ездит сюда каждое лето? Маша шумно укладывалась в другом углу. Отблески заката заглядывали на сеновал, и, казалось, сам воздух тут розовый, волнуемый. Наконец Маша затихла, и куры внизу угомонились, и навалилась такая тишь, что было слышно, как плещет на речке рыба.

— Дядь Вась, — шепотом спросила Маша, — а как ты ворожишь?

— Тебе не понять, — так же шепотом ответил он.

— Что я, дура какая?

— Молодая ты, рано тебе об этом думать. Да и не ворожу я вовсе.

— А дед говорил...

— Мало что говорил. Не ворожба это.

— А чего?

— Сам не знаю — чего. Может, и ворожба.

— Расскажи, дядь Вась?

— Не просто рассказать.

— А ты как-нибудь. Я пойму.

Он начал думать, как рассказать обо всем том, что он тут делает, когда приезжает, и незаметно уснул.

Проснулся от духоты. Солнце било во все щели, и казалось, что весь этот сеновал подвешен к высокой стрехе, к косой крыше на тонких ниточках лучей. Маша спала рядом, и губы ее вздрагивали: то ли она сосала соску во сне, то ли целовалась.

Он бесцеремонно растолкал ее. Маша открыла глаза, минуту испуганно оглядывалась и вдруг заулыбалась счастливо.

— Ты как тут оказалась?!

Она сморщилась виновато, как набедокурившая девчонка.

— Идем купаться, — сказал он.

— Я посплю, дядь Вась.

— Вставай, вставай, не лениться сюда приехала.

Он потянул ее за руку, и она поднялась, еще сонная, обмякая вся. Спустилась по лестнице, села в копну, сваленную внизу, и заупрямилась, свернулась калачиком, закрыла глаза. Тогда он поднял ее на руки и понес к реке. Она не сопротивлялась, блаженно улыбалась у него на плече и все закидывала голову, то ли ото сна, то ли от удовольствия.

Купание освежило обоих. Наперегонки они взбежали по пологому склону, с хохотом ворвались в тихий двор деда Кузьмы, переполошив ленивых кур и благодушную дворнягу Белку, не присаживаясь, напились молока, услужливо приготовленного бабкой Татьяной, и ушли бродить по окрестным полям и лесам. Ушли босиком. Первым разулся Василий, глядя на него, скинула туфли и Маша. Повскрикивала, осторожно ступая по траве, но быстро привыкла и заскользила ногами, стараясь подминать жесткие стебли. От этого ее шаги сразу стали легкими, летящими, она тотчас заметила неожиданное изящество своей походки, перестала осторожничать и, к своему удивлению, перестала колоть ноги.

— Как здорово!

— Еще бы не здорово! Природу надо принимать всем телом, только тогда можно ощутить, как она радуется тебе.

— Природа? РадуетсЯ?!

— Мы привыкли жить как хапуги. Только чтсбы нам. А если открыться навстречу? Будет взаимность. А взаимная любовь — это уже совсем, совсем другое дело, нежели любовь без взаимности. А?

Маша не ответила, и Василий понял: больной это для нее вопрос, безответный. И не стал допекать рас-

спросами, шагнул в придорожный куст черемухи, усыпанный зелеными кистями ягод, но еще не растерявший весенней пахучести, прижал к щекам холодные листья и застыл с закрытыми глазами, слушая позванивающий шорох веток, стараясь ощутить редкостный, испытанный в прошлые годы трепет от близости живого, доброго, всеобъемлющего. Но он ничего не ощутил теперь, то ли мешала Маша, то ли он еще не освободил душу для подлинного общения с природой.

До полудня ходили они по старым тропам и напрямую, по твердым как камень бывшим пахотным полям, зарастающим кустарником и колючей сорной травой. Шли, куда глаза позовут, а звали глаза к красоте, открывавшейся за каждым бугром и перелеском. Так и совсем далеко можно было уйти, да начал донимать голод, да несносно горели изнеженные, отвыкшие от земли ступни. Вышли они к ручейку малому, отыскивали омуток по колено и сели, опустив ноги в воду. И почувствовали оба не просто облегчение, а будто прикосновение к чему-то живому, радующемуся их присутствию тут. Так бывает, приходишь незванным гостем в чужой дом и вдруг встречаешь такую искреннюю приветливость, будто хозяева все глаза проглядели, тебя ожидая. И скованность остается вместе с пальто в прихожей, и ты уже сам удивляешься: чего стеснялся? И чувствуешь себя как дома, где в привычном и родном сразу расслабляешься, отдыхаешь душой.

Долго сидели так, молчали. Потом Маша пожалала плечами, сказала неожиданное:

— И чего я, дура?..

— Ты помолчи, — сказал Василий, поняв все, что она хотела сказать, и чего не хотела.

— Смешно!..

— Ну и смейся. Смеяться здесь можно. Только тихо.

Но Маша не смеялась, даже вроде бы еще погрузилась в задумалась о чем-то. Легкая улыбка трогала ее губы, и Василий знал: мысли Маши сейчас свет-



лые, добрые, и никем она не считает себя обиженной.

Они и возвращались молча. Маша уж не бегала за каждым полевым цветком, шла задумчивая, словно несла в себе что-то значительное. В сосредоточенности своей не заметили, как напозла туча. То светило солнце, а то вдруг потемнело и заохали березы, кланяясь под предгрозовым вихрем. И ливень обрушился внезапно, зашумел, как дальняя электричка, быстро приблизился, и листья, вздрагивая под тяжелыми каплями, разом весело залопотали по всему лесу.

Под плотным куполом одинокой березы пока что было сухо. Но отдельные тяжелые капли уже пробивали листву, падали на голые плечи Маши, заставляя ее жаться к Василию. А он стоял зажмурившись, испытывая давно позабытую нежность, какую он искал здесь каждое лето, долго и с трудом вызывая в себе это чувство. А теперь оно пришло быстро, на другой же день после приезда. И все из-за этой девушки, так счастливо оказавшейся рядом. Радость захлестывала его, и в то же время жил в нем затаенный сграх за эту радость. Слишком уж много было совпадений: и звали-то ее тоже Машей, и такой же она была порывистой, непонятной, и так же они только что сидели у ручья, студя уставшие ноги, и дождь в точности такой же, быстрый и теплый, заставивший их тогда, много лет назад, прятаться под березой...

Туча, как заботливый поливальщик, ушла в луга, волоча за собой серый хвост дождя. Проглянуло солнце, а они все стояли под березой, словно ждали чего-то еще. Наконец Василий немного отстранился от Маши, и она тотчас отшатнулась, выбежала на солнце, затанцевала в мокрой траве.

— Хорошо-то, дядь Вась! Будто я маленькая!..

— А здесь все молодеют. Ты разве не знала? Вон Кузьма Матвейч, забыл, сколько и лет-то ему, а все не стареет.

— И ты, дядь Вась?

— Что я?

— Тоже молодеешь?

— Конечно. Только нынче больно скоро, не успел приехать... Из-за тебя, видать.

— Из-за меня?

— Из-за кого же еще?..

Она закружилась, как двенадцатилетняя, впервые почувствовавшая в себе нечто великое, замерла на миг, запрокинув голову, прислушиваясь, и вдруг помчалась по тропе.

К деревне подходили с другой стороны, шли напрямую через заброшенные огороды, на которых росли теперь чертополохи, крепкие, как кусты. Ветер порывами гудел в бесстекольных рамах, перекрещенных растрескавшимися старыми досками, и казалось, что это сами избы плачут по своим заблудившимся в миру хозяевам.

Страшны были эти омертвевшие избы, как забытые могилы на погосте. Ничто не нарушало тягостной кладбищенской тишины. Но вот Василий расслышал глухое цоканье и замер на месте. Подумалось вдруг, что это ожили звуки былого, каким-то образом уцелевшие, застывшие до поры. Но тут же и понял: не иначе, Матвей или его бабка хлопочут на подворье.

Так и оказалось: дед Кузьма сидел у сараюшки, тюкал молотком, отбивая косу.

— Вот, — сказал он, — готовлю тебе.

— Матвейч! — взмолился Василий. — Я же просил: сам должен, все сам.

— И для самости делов хватит. Шалаш-то нынче, что ль, будешь делать?

— Счас отдохну и пойду.

— Я тебе там веток нарубил.

— Матвейч!..

— Ничего, ничего, я немного, подсобить только.

— А зачем шалаш? — заинтересовалась Маша.

— Спать, — ответил дед, опередив Василия.

— И я хочу.

— Нельзя тебе. Не один он в ём будет.

Глаза Маши испуганно забежали.

— А с кем?

— Вырастешь — узнаешь, молода еще, — сказал дед, легко, совсем не по-стариковски, вскочил и пошел к дому. Крикнул с крыльца: — Татьяна! Хватит на огороде возиться, корми гостей!

После обеда Машу разморило, и она полезла на сеновал «вздремнуть полчасика». А Василий взял топор и пошел за деревню, туда, где у самой реки на краю широкого луга темнел под одинокой березой прошлогодний шалаш. Он неторопливо обошел его, осмотрел и начал разбирать, откладывая ветки потолще в одну сторону, а всякую труху — в другую, для костра. Когда все сделал, подмел место сухим прошлогодним веником и пошел к реке. Медленно разделся, ступил в воду, побрел на глубину, раздвигая руками водоросли. Когда вода закачалась под горлом, он остановился и долго стоял так, шурясь на солнечные блики, стараясь представить себя в том далеком времени, когда такое вот медленное вхождение в реку вызывало не одно только ощущение холода, а и бурный восторг, который так трудно было удерживать в себе. Это у него не получалось, но он знал: не сейчас, так потом обязательно получится. Солнце было то же самое, река -- та же, да и память цепко держала все о том времени. Еще в прежние приезды сюда убедился Василий: ничего не забывается. Если не сдаваться, а подталкивать и подталкивать воспоминания, вынырнут такие подробности и так живо, будто все было вчера.

Потом он поплыл, тихо поплыл, незаметно, будто все шел по дну. Оказавшись на середине реки, оглянулся, помахал рукой, будто увидел кого вдали, и быстро, саженьками, поплыл обратно. Шумно вылез на берег и, как был, в плавках, торопливо начал складывать шалаш. Делал он это, почти не глядя на ветки, руки сами брали нужные, привычно втыкали на место. Затем на-

резал свежей лозы, принялся вплетать ее в крутые раскосины. Отходил, любовался своей работой и снова плел надежную крышу, чтобы ни дождь, ни даже град не пробили.

Костер разжег, когда шалаш был совсем готов. Посидел возле него в задумчивости, глядя на быстрое перхание огня. Спыхватился, что беспокойное пламя мешает внутренней сосредоточенности, самоуглублению, и больше уж не смотрел на огонь и перестал подкладывать ветки.

Когда вечер раскрасил воду в реке, пришел дед, принес кринку молока и полкаравая плотного ржаного хлеба. За ним, поодаль, шла Маша, он отмахивался от нее, как от собачонки, но она все не отставала. Села неподалеку, стала смотреть на реку, делая вид, будто она тут сама по себе и ничего вокруг ее не касается.

— Ты бы хоть удочки закинул, — сказал дед. — Другие приезжают, сказывают: окунь тут берет...

— Я же тебе говорил, Матвеич: природа не любит насилия. Червяка раздави — и все можно отпугнуть.

— Чудно. Сколь живу, ни разу не видывал эти, как ты их величаешь?..

— Стихиялями.

— Чудно. Водяной — это понятно, ну там домовой, кикимора...

— Не в названии дело. Только я верю: все живое небездушно. Ты к природе с душой, и она к тебе с тем же. Лишь в такой гармонии можно испытать подлинную радость, и тогда нет невозможного: хочешь быть талантливым — будешь, хочешь помолодеть — пожалуйста...

— Помолодеть-то и мне бы в самый раз.

— Ты и так не стареешь.

— Как не стареть! Надысь поясницу ломило.

— Только-то? Многие городские в твои годы на уколах держатся.

— А стихиялей твоих я все равно не знаю.

— Знаешь, Матвейч. Они все время с тобой, потому ты их и не замечаешь.

— Скажешь тоже. Никого со мной нету, окромя бабки.

— Душа у тебя добрая, Матвейч, как сама природа... Я вот все думаю: почему ты отсюда не уехал? Дети в городе живут, звали же.

— Да как я уеду?! — Ласково торопливо дед оглядел темнеющую речку, березы на берегу, на миг зацепился взглядом за Машу, сидевшую теперь совсем близко, махнул рукой и заявил решительно: — Помру тут, с этим...

— Душа твоя не только в тебе самом, но и во всем этом. Не разорвать же душу. Хотя и многие, я знаю, тоскуют, уехав-то, маются...

Беседовали неторопливо, как всегда беседуют люди, которым некуда спешить. Мрак густел все больше. Но огня они не раздували — так и тлел костерок одними угольями. Тумана не было, но плыл над берегом влажный теплый дух, укутывал ароматами реки, луга и еще чего-то, чему и названия никто не знал.

— Не проспийшь зарю-то? — спросил дед. — Можя, разбудить?

— Я должен сам, — ответил Василий. — Все сам. Если не проникнусь, ничего не получится.

— Ну сам так сам, не буду мешать. Маньк? — позвал он, вставая. — Пошли домой.

Маша неохотно поднялась и пошла, но все оглядывалась на Василия, точно хотела спросить о чем-то...

Эту ночь Маша спала беспокойно, часто просыпалась, прислушивалась. Дед похрапывал на печке, сонно пел сверчок, и еще слышался какой-то не то шелест, не то тихий звон. Маша привставала на мягкой бабкиной кровати, оглядывалась, и ей казалось, что это шелест лунный свет, вливаясь в избу сквозь малые оконца.

В какую-то ночную минуту, проснувшись очередной раз, она ясно расслышала далекий и страстный зов:

— Машенька-а!

Она вскочила, стараясь унять сердце, заколотившееся то ли от страха, то ли от радости. Пересилила себя, бесшумно спустила с кровати ноги, осторожно ступила в серебряный лунный квадрат на полу. И тут снова откуда-то издалека донесся голос:

— Машенька-а!

Она выскользнула на крыльцо как была — босиком и в ночной рубашке, — пошла, побежала по знакомой тропе вниз, к реке. Она не знала, почему именно к реке нужно бежать, но была уверена, что поступает правильно. И вдруг остановилась, словно споткнувшись: внизу, прямо посередине лунной дорожки, перечеркнувшей реку широкой золотой полосой, плыл человек. Она не могла разглядеть его, но была уверена, что это Василий.

Маша на мгновение в испуге закрыла глаза, а когда открыла их, то не увидела человека. Лунная дорожка была пустынна. Маша застонала от ужаса, схватившего за горло, бросилась назад, к избе, чтобы скорей разбудить деда, но спохватилась, что, пока бегаёт, дядя Василий совсем утонет, и повернула назад, к реке. И вдруг снова увидела его в лунной дорожке, и догадалась, что в первый раз он не утонул, а просто отплыл в сторону, в темноту. И тогда она совсем успокоилась. Будто не было этой таинственной ночи, и не стояла она полураздетая над рекой, и не катилась по облакам луна, стеля на кусты, березы, крайние избы деревни призрачные покрывала теней.

Неслышно, как лунатик, Маша проскользнула в ворота, даже не разбудив спавшую в конуре Белку, забралась в мягкую кровать и сразу уснула.

Спала она крепко и проснулась, когда по полу ползали уже не лунные, а солнечные пятна. Вспомнила все, что было ночью, и сразу побежала к реке. Василий ко-

сил, посреди широкого поля ярко выделялась его белая, еще не схваченная загаром спина. Слышное издали ритмичное посвистывание косы, размеренные махи плеч, уверенные переступы ног после каждого маха, равномерное, словно бы покорное, полегание травы — все это завораживало, и Маша остановилась поодаль, залюбовалась. На мгновение подумалось ей, что это совсем не дядя Вася, а кто-то другой, молодой и здоровый, приехавший ночью или утром, пока она спала. Вспомнились вчерашние разговоры о том, что каким-то образом можно помолодеть, и они, совсем уж позабытые эти разговоры, открылись вдруг во всей завораживающей значимости. И как этой ночью, когда неожиданно увидела плывущего по реке человека, Маше стало жутковато. Будто в детстве после страшных сказок ранними зимними вечерами. Она стояла, не имея сил убежать, и смотрела на дядю Васю, на этого колдуна, зачем-то купающегося по ночам, этого молодого косаря, работающего так жадно и азартно.

Словно почувствовав ее взгляд, Василий обернулся, помахал ей рукой, и все страхи Маши сразу пропали.

— Дай я покошу? — крикнула она, подбегая к нему.

— А ты умеешь?

— Не знаю. Попробую.

Он отдал ей косу, и она, широко размахнувшись, тотчас воткнула ее в землю. Тогда он подошел сзади, положил свои руки поверх ее рук, вцепившихся в теплое скользкое дерево, и стал показывать, как делается это немудреное дело. Взмах за взмахом косили они вдвоем, и Василий все не отпускал ее, а Маша все не просила отпустить: для обоих было в этой совместной работе что-то важное и большое.

Наконец он отступил, и Маша сразу обернулась, с испугом и любопытством глядя на него.

— Чего ж ты, коси.

— Вдвоем... лучше.

— Мало ли что лучше. Самой надо, все самой, толь-

ко тогда будет толк. Қоси, а я пойду у бабки молока выпрошу...

Это утро, как и весь вчерашний день, казалось Маше необыкновенным, и она все думала: отчего такое? Дядя Вася так на нее влияет, или вся эта деревенская обстановка, или в ней самой что-то перевернулось? Еще позавчера весь свет для нее был черней черного, а жизнь неполучившейся, вконец загубленной. А теперь таким пустячным казалось позавчерашнее...

Они косили по очереди, пока совсем не высохла трава, ворошили сено, пили из кринки теплое парное молоко, долго купались, плавая наперегонки. Василий уплыл на другой берег, выбрался на обрыв, помахал оттуда рукой и вдруг крикнул восторженно и призывно:

— Машенька-а!

Маша задохнулась от этого зова, точно такого же, как ночью, безоглядно кинулась в воду, но, проплыв немного, испугалась, что не переплывет реку, и вернулась.

Василий долго лежал в траве на том берегу, и Маша, соскучившись в одиночестве, принялась звать его. Но он не откликался, видно, уснул. Тогда Маша забралась в шалаш, такой удобный и просторный, полный мягкого сена. Разлеглась, собираясь поспать. Но тут пришел Василий и сказал то, чего Маша никак не ожидала.

— Милая Маша, — сказал он, — извини меня, но нельзя тебе здесь быть.

— А я не боюсь, — стеснительно засмеялась она, по-своему поняв его слова. — Я верю тебе.

— Не в этом дело...

И тут она решилась:

— Это потому, что дед говорил, будто ты не один?

— Шутил он.

— Тогда я тебе не помешаю.

— Помешаешь.

— А давеча говорил: помогу.



— Вообще. Вообще ты мне очень помогаешь.  
— Ясно. Помогаю, так сказать, теоретически.  
— Молодая ты, Маша, тебе меня не понять.  
— Конечно, я же дурочка.  
— Не сердись. Потом я тебе попытаюсь все разобъяснить. А сейчас ступай.

Маша выползала из шалаша нехотя, вершок за вершком, словно ожидала, что он вот-вот остановит ее. Сошла вниз, к реке, и побрела по берегу с незнакомой горечью в душе.

Василий видел все это, и ему было до слез жаль ее. Но что он мог поделать? Ему надо было остаться одному в этот час, чтобы отвлечься от всего настоящего, целиком, мыслями и чувствами, уйти в другое время, представить себя более молодым, здоровым, нетерпеливым, таким, каким он был тридцать лет назад.

Это было совсем не просто — забыть себя сегодняшнего. Тогда, бывало, и минуты не усидеть, молодость сама подбрасывала, заставляла хвататься за любые дела, работать с утра до вечера, ходить колесом, выкомариваясь перед девками, и еще, на спор, ходишь купаться по ночам. А нынче ничего не хотелось само собой, усталость к вечеру укладывала пластом, и ноги побаливали, и в боку, если прислушаться, что-то покалывало, и сердце ворочалось тяжело и долго, словно никак не могло успокоиться после немногих дневных забот. Но Василий не сдавался, норовил все делать, как прежде. И теперь он не позволял себе провалиться в столь желанный тяжелый сон, лежал и твердил тихо, в полном соответствии с правилами автотренинга:

— Я молодой... Я совершенно здоровый... Я легко переплываю реку... Мои руки полны силы...

Он представил себя пружинисто идущим по мягкой траве у берега. Вот он прыгает в воду, неумоимо плывет и плывет, ныряет и явственно чувствует, как холодны сумрачные глубины. Вот выходит на другой берег, радостно потягивается в приятном прогретом воздухе,

падает в высокую некошеную траву, приподнимается и разглядывает на другом берегу девушку, при виде которой у него давно уже замирает сердце. Затем вскакивает и кричит призывно:

— Машенька-а!

И с разбега бросается в воду, быстрыми саженками плывет обратно, подхватывает девушку на руки и несет, несет, сам не зная куда, и замирает от ее близости, от ее деланно-испуганного заливистого смеха.

...От мягких кос Машеньки пахнет сеном. Он зарывается лицом в эти косы и слушает, как она дышит прерывисто, словно смеется во сне. Слабый ветер шуршит в сухих листьях шалаша, теплый ветер, как Машенькино дыхание, греет шею, гладит, ластится к нему. Он слышит, как струится река, не там, внизу, а здесь, рядом, прохладные струйки словно бы текут сквозь него, щекочат сердце. И кусты на берегу шепчутся о чем-то своем, и счастливо посмеиваются листочки на березе, и травинки, как малые дети, шаловливо заглядывают в шалаш, балуясь, просовывают тонкие ручонки сквозь сплетенные ветки, трогают горячую кожу крохотными прохладными ладошками. Вся земля, все мироздание сужаются до этих добрых ладошек, каждый листок вырастает до размеров мироздания, все перепутывается, переплетается в ликующем единстве малого и великого, близкого и далекого, теплого и прохладного, своего и чужого. Тихий хоровод едва переносимого сердцем блаженства подхватывает, уносит в неведомые звездные сферы, быстрые и трепетные, как солнечные блики на водной глади...

Услужливое сознание подсовывает картины реально-го мира, но Василий торопится заглушить, затмить робкий голос рассудка фантастическим вихрем восторгов, сплетенных подсознанием. Василий знает: чтобы все получилось, нужно долго пробыть в этом состоянии отрешенности и глубокого молодого счастья, как можно дольше...

— ...Что я тебе говорила? Вот поглядь, поглядь на свою Васеньку! Девка в шалашик, и он за ней. У-у, глаза б мои не глядели!..

Мария плакала. Как настояла Алена, они, переждав пару дней, выехали следом за Василием, утром были на станции, крадучись прошли семь километров по пустынной разбитой дороге. И, еще не доходя до деревни, увидели то, чего Мария втайне надеялась не увидеть.

Сначала, когда присмотрелась к тому, как Василий косит, точно в молодости широко захватывая косой, Мария задохнулась от воспоминаний, так он был похож на того давнишнего ее Васю, по которому она сходила с ума. И поле было то же самое, и шалаш под березой на том самом месте, в точности такой же шалаш, в каком прошли ее наисчастливейшие дни. Насторожилась, похолодела сердцем, увидев на лугу совсем юную девчонку. Да уж больно молодая была девчонка, несерьезная. А когда он уплыл на другой берег и оттуда хорошо ей знакомым молодым голосом, как когда-то, позвал: «Машенька!» — она и совсем позабыла о девчонке, не удержавшись, кинулась к нему. Только Алена была настороже, не пустила.

— Погоди маленько, счас мы их накроем, голубков...

— Ты не ходи туда. Я сама, — пробормотала Мария.

— Да что сможешь сама-то? Заговорит он тебя. Поплачешь да простишь.

Но всегда сговорчивая Мария теперь заупрямилась:

— Нет, ты ступай в деревню. Я одна пойду.

Она решительно встала и вышла из леска, где они прятались. Но решительность быстро покинула ее, она шла и проклинала себя: стыд-то какой, собственного мужа выслеживать! Однако дошла, постояла возле шалаша и заглянула внутрь. Василий был один. Лежал на спине, с закрытыми глазами, но, похоже, не спал. Напряжение, которое несло Марию сюда, вдруг опало, но-

ги подкосились, и она без сил опустилась возле шалаша, привалившись к его стенке.

— Машенька! — шепотом позвал Василий. В точности так позвал, как тридцать лет назад, тем же молодым голосом, с той же, разрывающей душу нежностью.

Она заплакала навзрыд, и Василий выглянул из шалаша.

— Ты? — спросил удивленно.

— Не меня ждал? — прерывисто спросила она.

— Те-тебя, — сказал Василий. Но она уловила, как дрогнул в неуверенности его голос.

— Полно врать-то. Девчонку ждал?.. Как хоть звать-то ее?

— Маша.

— Ах Маша?! Значит, это ей ты кричал с того берега?

— Тебе.

— Не умеешь ты врать.

— Я не вру.

— Чего же не рад? Вот она я, пришла.

— Я тебя... другую... звал.

— О господи! Василий, не надо!

— Честное слово. Ты разве забыла? Все ведь тут, как тогда. Помнишь? Я затем сюда и езжу, чтобы вернуться в молодость.

— Без меня?

— Вдвоем нельзя вернуться. Я даже в зеркало не гляжусь, чтобы не увидеть себя... теперешнего.

— Конечно, — вздохнула Мария, — стара я для тебя, смотреть не на что.

— Да не в этом дело!

— А в чем же, в чем? Зачем все эти выдумки?

— Я тебе говорил.

— О чем ты мне говорил?

— О секрете Сен-Жермена. О том, как можно не стареть.

— Не помню. Кто это Сен-Жермен?

— Какой-то французский граф. Говорят, не старел, и все тут. А почему?

— Почему?

Она спросила насмешливо, без какого-либо интереса. Но он не обратил внимания на ее тон, заговорил страстно, явно радуясь тому, что она слушает его.

— Рассказывают, что он умел возвращать себе молодость...

— Витамины надо есть, — перебила она его все с той же иронией.

— Ты слышала о биологических часах? — спросил он, снова не обратив внимания на ее слова. — Все живое имеет свои часы. Мы спим, а они идут, едим, читаем, гуляем, работаем, а они все тикают, отсчитывают наш возраст. И не остановить их, не задержать, чтоб не так спешили. Роковая неизбежность. А вот Сен-Жермен, говорят, научился их сбивать. Интересно?..

Мария промолчала. Она вспомнила, что он и верно когда-то давно говорил ей об этом, да все позабыла за ненужностью помнить. А ведь Василий, как видно, говорил всерьез. Алена, услышь она все это, сказала бы, что муж морочит ей голову. А она хотела верить. Тогда не поверила, а теперь верилось.

— ...Оказывается, можно заставить эти часы идти как бы по новому кругу. Надо только пожить какое-то время — день там или неделю — былой жизнью, когда был молод, когда все мог и ничего у тебя не болело...

— Как же, чтоб не болело, когда болит? — спросила Мария.

— Забыть надо, отвлечься, целиком представить себя в другое время. Лучше всего это, оказывается, на родине, где все памятное и где тебя все помнят молодым, — люди, река, деревья...

— Чего выдумываешь? Как это деревья помнят?

— Не знаю как, но я теперь верю: у природы тоже

есть своя память. Добр ты к ней, возвращайся хоть через десять лет, обязательно вспомнишь свою былую доброту. Не просто памятью вспомнишь, а сердцем, душой, что ли, не знаю чем. И покажется тебе: не сам вспомнил, а будто кто напомнил об этом... А в молодости все мы добры, поскольку здоровы, полны сил и надежд. Одним словом, на родине все проще. Я вот заставляю себя ночью купаться, как в молодости. Чтобы само тело скорей вспомнило себя молодым. И шалаш построил на том самом месте, и косить встаю до зари, как бывало, и работаю столько же, сколько в молодости, не даю себе поблажки, не думаю об усталости. И, представляешь, вроде бы не устаю совсем. Молодею, честное слово, чувствую, что молодею. На целый год этой бодрости мне хватает, до следующего лета...

Мария снова заплакала. Он обнял ее, прижал к себе.

— Молодеешь... без меня... Ты молодой, а я старая...

— Так я ж тебе сколько говорил. В это верить надо, глубоко верить.

— Я верю, — сказала она, вытирая слезы. — Я хочу... с тобой...

Он задумался, оглядел луга, дальний лес, реку, небо чистое, ликующе-радостное.

— Не получится. Ты мне будешь мешать. Сама подумай, ну как я смогу представить себя молодым, когда ты перед глазами. В тебе я себя буду видеть.

Она посмотрела на него внимательно, вздохнула и вдруг полезла в шалаш. Василий улегся рядом: шалаш был просторный, на двоих. Полежали, послушали, как трепещут на ветру сухие листья над головой. Наваливался полуденный зной, клонил ко сну.

— Ну ладно, — пожалел он жену. — Побудь тут, поспи, потом поедешь.

— Я не поеду, Васенька. Я тоже хочу молодеть.

-- Нельзя нам вместе.

— А ты поезжай.

— Как это поезжай.

— Очень просто. Разок пропустишь, ничего. В прошлом году молодец, в позапрошлом тоже. Думаешь, я не видела? Да и Алена все уши прожужжала. Она и теперь со мной приехала. Вернее, я с ней.

— А где она?

— В деревню пошла. Я сказала, чтобы за мной к этому шалашу не ходила.

— Умница, — поцеловал он жену. И смягчился: — Ну ладно, оставайся тут. Я себе другой шалаш построю, в другом конце деревни.

— Куда мы в пустой деревне друг от друга денемся? Нет, Васенька, уезжай. И Алсну захвати с собой. Хотя сама не отстанет. Она тебя к каждой тумбе ревнует.

— Меня?! А чего я ей?..

— Одинокая она. Все у нее в голове перепуталось.

— Нет уж, пускай Алена одна едет. Я тут останусь. Построю шалаш и останусь.

— Не надо, Васенька, ну, пожалуйста. — Мария поцеловала мужа в щеку. — Я хочу с тобой молодым побыть. А такой... ты мне мешать будешь...

## ГОРОД ЭСТЕТОВ

Большой, почти метрового диаметра, огненный шар возник под стеной замка, неярким золотистым светом озарил нагромождения камней, вмиг превратив их в груды самоцветов.

Боясь сделать лишнее движение, Обнорский отложил упругие струны-антенны, с помощью которых он творил свою светомузыкальную симфонию, и крикнул сдавленно, словно этот шар мог услышать через толстую полусферу окна:

— Эй, кто-нибудь!

Первым неслышно прикатился робот-слуга, запомни-

ная огненного гостя, припал к окну. Шар не пошевелился. Обнорский знал, что шары на присутствие роботов обычно не реагируют, но все же сказал раздраженно:

— Чего тут вертишься! Спугнешь.

Робот не ответил, и это его взбесило.

— Пошел вон! — зашипел он. — Мешаешь!

Робот покотился к выходу, и шар тоже стал удаляться.

— Стой! — приказал Обнорский. — Иди к окну.

Шар придвинулся так близко, что его золотистые отсветы блуждали по гладкому телу робота, словно ощупывали его через толстый прозрачный пластик. Обнорский снова взялся за свои антенны. Черный силуэт робота в золотистом ореоле, пульсирующий неподалеку загадочный шар на фоне потемневшей в вечерних сумерках местности, красочная заря на небе, отсеченная черной гребенкой гор, — вся эта феерическая картина будила творческий восторг, и Обнорский старался вжиться в него, запомнить, чтобы выразить потом в фантастических образах.

Послышался топот ног, громко хлопнула дверь, и... шар исчез.

-- Не могли осторожней?! — накинулся Обнорский на вошедших. — Такую картину испортили! Такой был образ!..

Не сказав ни слова, люди удалились. Знали крутой нрав этого общепризнанного творца, этого «первого гения вселенной».

Обнорский обругал себя за то, что не утерпел и позвал других. А какой мог получиться шедевр искусства, если бы он подольше остался наедине с этим светящимся шаром! Теперь, когда уже ничего нельзя было исправить, ему казалось, что это, упущенное, было бы лучшим его произведением, где таинственное и реальное переплелись бы в неожиданных причудливых формах пространства, цвета, музыки. Как именно вписался бы таинственный шар в эту композицию, он не знал, но



был уверен, что именно шар сыграл бы главную роль.

Обнорский ходил по мастерской, косясь на темнеющую даль за широким окном, и размышлял о том, что чего-то недодумал, создавая Город искусств. За последние месяцы эмоциональный накал быстро падал у всех композиторов, художников, скульпторов, поэтов, населяющих этот город. Он-то, Обнорский, рассчитывал, что, оторвавшись от повседневных забот (служение муз не терпит суеты), эстеты сумеют разжечь себя и так обострить свою чувственность, что вся вселенная поразится созданными ими шедеврами.

А ведь как прекрасно все начиналось! Он выбрал самый отдаленный от Земли и самый безопасный мир, где отсутствовали какие-либо хищные или ядовитые звери и растения, где всегда был равномерно теплый климат, собрал группу эстетов, способных в творчестве самоуглубляться до самоотречения, и создал поселение, назвав его Городом искусств. Не беда, что население города насчитывало всего двенадцать человек (Обнорский сам определил это божественное число), но ему предстояло стать образцом городов будущего, где искусство достигнет невообразимых высот.

Теперь ему казалось, что ошибка была совершена в самом начале им самим, согласившимся по настоянию друзей взять с собой человека, не относящегося к миру искусств. И фамилия-то у него была обыкновенная — Ермаков. «Он умеет все, — заверили друзья. — Возьми на всякий случай, пригодится». Но «человек на всякий случай» оказался тринадцатым. Это не нравилось Обнорскому, и он взял четырнадцатого, подающего надежды, хотя и слишком юного, Леню Обнорского, своего однофамильца, которого «первый гений» втайне мечтал сделать своим последователем.

На вершине горы, откуда открывался живописный вид на долины, на дальние горы, роботы построили замок, похожий на тот, что строили себе древние рыцари, с подъемным мостом, с башнями и зубчатыми стенами.

Но замок только снаружи выглядел старинным, внутри в нем было светло и просторно. В западной и восточной стенах, чтобы художники и поэты могли наблюдать красочные восходы и закаты, были встроены огромные окна. Каждый член поселения имел свою обширную, оборудованную всем необходимым мастерскую и свое окно в этот многоцветный мир.

Самосоздающиеся и самоуправляющиеся роботы освобождали поселенцев от каких-либо забот. И они творили. Каждую неделю новые образы, объемы и цвета, новые гениальные композиции, зашифрованные в кратких сигналах, отправлялись по всем космическим каналам связи. Чтобы не только земляне, но и люди, живущие на других планетах, могли насладиться великими произведениями искусства. Один только Ермаков делал неведомо что: захламил весь угол, отведенный ему в замке, какими-то железками, приборами, препаратами, агрегатами, о назначении которых не знал даже председатель поселения художник Колонтаев. Он был замкнут, этот Ермаков, водил дружбу только с роботами. Да еще юный Леня не оправдал надежд Обнорского — не столько учился у него, сколько пропадал возле Ермакова.

Ночь за окном была живописно-синей, подсвеченной сквозь редкую вуаль облачности двумя местными лунами. Вдали, у самых гор, бродили огоньки, возможно, все те же вездесущие здешние огненные шары, почему-то не замеченные первыми исследователями планеты. Шары эти никому не причиняли вреда, и потому на них скоро перестали обращать внимание. Роботы, пытавшиеся узнать, что это такое, не могли угнаться за шарами и скоро бросили свои попытки. Так и бродили огоньки по окрестным горам и долинам, появляясь в самых неожиданных местах и так же внезапно исчезая, будя своей таинственностью творческие восторги эстетов.

Обнорский не зажигал света, не звал робота-слугу,

лежал на мягком ковре, смотрел в ночь и все пытался задержать в себе ускользающий образ неведомой радости. Так и заснул с ощущением приближающегося счастья.

Проснулся он, как обычно, до восхода солнца, потянулся и позвал робота, намереваясь выпить свою обычную чашку кофе, прежде чем выйти полюбоваться утренней зарей. Робот-слуга не появился. Он крикнул еще раз, и опять безрезультатно. Раздосадованный тем, что его восторженный поэтический настрой сбивается таким пустяком, Обнорский крикнул в переговорное устройство, чтобы ему тотчас заменили робота, но не услышал в ответ умиротворяющей мелодии — сигнала того, что требование принято и будет исполнено. И вообще ни единого звука не донеслось из динамика — связь не работала. Это было уже ни на что не похоже, и он сам помчался будить председателя поселения Колонтаева. Председатель со сна ничего не понял, и между ними произошел совершенно недопустимый для людей искусства диалог:

— Мог бы сам пройти в рободельню и узнать, в чем там дело, — сказал Колонтаев.

Обнорский вспылил:

— Тебя выбрали, чтобы ты обеспечивал условия для творчества!

— Роботами занимается служба роботов, а не председатель.

— Я не хочу знать, кто мне прислуживает. Мне нужна утренняя чашка кофе, вот и все. А сегодня из-за такого пустяка меня не посетило вдохновение во время восхода солнца.

— Днем посетит, — зевая, сказал Колонтаев. Видно, его разбудили в самый радостный момент сна, и он никак не мог прийти в себя.

— Тебе не место в председателях! — закричал взбешенный Обнорский. — Я сегодня же поставлю вопрос о переизбрании.

— Да пожалуйста! — в свою очередь, закричал Колонтаев. — Ты думаешь, это мед — быть председателем? Тебя и выберем.

— Я уж наведу порядок. У меня роботы будут крутиться как миленькие.

— Вот и наведи!..

— Вот и наведу!..

Неизвестно, сколько бы они так препирались, если бы не вбежал в комнату Леня. Лицо у Лени было белым как мел, и в первый момент оба спорщика подумали, что он играет перед ними какую-то актерскую роль. Леня судорожно глотнул воздух и крикнул так, словно боялся, что его не услышат:

— Роботы... сбежали!..

Обнорский нервно засмеялся.

— Актерское искусство — тоже искусство, и из тебя наверняка получится комик. Только надо знать, когда и где разыгрывать роли.

— Да я правду говорю: все роботы ушли.

— Куда ушли?

— Не знаю.

— Иди узнай, потом придешь скажешь.

— Да никто не знает. Нету роботов, исчезли.

— Неудивительно при таком председателе, — проворчал Обнорский.

— Черт знает что! — в свою очередь, раздраженно сказал Колонтаев и начал одеваться.

Но в этот день ни он, ни Обнорский, да и никто другой глубоко не обеспокоились исчезновением роботов, решили: как ушли, так и придут. Только Ермаков сразу подумал, что это неспроста. Коллективное бегство роботов походило на сговор или даже на бунт. Он высказал эту свою мысль, но опять-таки никого не встревожил. Быстрые на словотворчество поэты вроде бы даже обрадовались, тут же придумав веселую формулу «восстание робов». Формулу эту повторяли так и этак,

перекладывали на стихи: никто не понимал масштабов несчастья, обрушившегося на Город искусств.

В тот день эстеты много шутили по поводу вынужденной своей робинзонады, ели то, что было впрок заготовлено роботами, по требованию Обнорского переизбрали председателя. Им стал первый почитатель светомызыкальных композиций «первого гения вселенной», тоже композитор и поэт Борис Каменский.

А Ермаков и легкий на подъем Леня отправились искать роботов. Они обошли замок и сразу же наткнулись на следы, ясно видимые на щебеночной тропе. Роботы шли, как видно, в затылок друг другу, может быть, даже держась друг за друга, поскольку двигались след в след, колея в колею. Миновав живописную, поросшую редким лесом долину, след снова повел в гору. Сюда никто из поселенцев еще не забирался, и Ермаков остановился полюбоваться окрестностями. Замок на вершине дальней горы выделялся зубчатым гребнем на фоне, как всегда, белесого неба. Внизу зеркально блестели речка и озеро у запруды. В долине можно было разглядеть кое-где пасущихся единорогов — миролюбивых местных животных, похожих на земных оленей.

— Может, роботы решили найти для нас другие, более живописные места? — предположил Леня.

— Не похоже. Для этого они могли воспользоваться другими, менее жестокими средствами.

— Жестокими?

— Да, Леня, ты даже не представляешь, чем все это грозит. И никто, кажется, не представляет. Даже председатель не пошел с нами, даже он не понимает, что завтра-послезавтра поэтам и композиторам придется оторваться от своих грез, чтобы не умереть с голоду. Ведь никто из нас не умеет добывать себе пищу, даже готовить уже добытое.

— А вы их научите. Вы же все умеете.

— Все уметь невозможно, Леня. И мне тоже предстоит многому учиться...

Он сам ужаснулся перспективе, вдруг открывшейся ему. Если роботов не удастся найти и вернуть, то поселенцам предстоит пересмотреть свои воззрения и значительную часть времени посвятить добыванию хлеба насущного. А это стресс, который кое-кому не удастся перенести. Конечно, Земля не оставит в беде, пришлет новых роботов, но сколько на это понадобится времени!

И вдруг они увидели неподалеку огненный шар. Небольшой, размером с голову, он приплясывал на тропе как раз в той стороне, куда им надо было идти. Они направились к нему, чтобы поближе рассмотреть это чудо местной природы, но шар не подпустил их близко, покатился, запрыгал по камням, все время держась на почтительном расстоянии. Наверху, когда они забрались совсем уж высоко в горы, шар вдруг подпрыгнул и исчез за поворотом скалы. Застучали, посыпались камни, то ли крик, то ли стон разнесся в воздухе, заставив сжаться сердце, и где-то далеко-далеко что-то ухнуло, разорвалось. Минуту в горах металось эхо, и все стихло.

Ермаков велел Лене поотстать, а сам медленно пошел вперед. И только потому, что шел осторожно, он своевременно заметил обрыв. Будто обрубленная, скала обрывалась в пропасть. Он лег на камень, подполз к краю и увидел то, от чего у него заглохло сердце: внизу, разбросанные по камням, изломанные и ужасные в своей изломанности, темнели разбитые тела. Стало ясно, что роботы шли ночью, повинувшись какой-то своей потребности, и не заметили пропасти.

Целый день они осматривали останки роботов, пытаясь вернуть к жизни хоть одного. Все было напрасно: высота падения была слишком большой, а скалы слишком острые — от иных роботов ничего нельзя было взять и на запчасти. Даже блоки управления, упрятанные в крепчайшие пластиковые панцири, и те в большинстве были разбиты вдребезги, словно их специально кто-то ломал и корежил.

Здесь же и заночевали, в прогретой солнцем нише под

скалой. На этой удивительной планете можно было не опасаться ни ночных холодов — таким теплым был климат, ни хищных зверей, поскольку они отсутствовали. Однако Ермаков не стал испытывать судьбу, разжег костер, чем привел Леню в неописуемый восторг. Как дикарь, никогда не видевший открытого огня, Леня безбоязненно тянул к нему руки, обжигался, кашлял в дыму, но не отходил.

— Теперь мы будем жить как первобытные люди, — радовался он.

— Ты считаешь, это хорошо?

— А чего? Сами себе хозяева — что хотим, то и делаем.

— Что же именно? — удивился Ермаков такому неожиданному повороту мысли.

— А все.

— Разве роботы тебе мешали?

— Не мешали, но... — поморщился Леня. — Я не знаю...

— Боюсь, что теперь действительно все придется делать самим. Но ведь тогда не останется времени для создания произведений искусства.

— Останется, — уверенно заявил Леня. И добавил, подумав: — Может, даже и лучше будет.

Леня еще не понимал, что хотел выразить. Но обостренным чутьем подростка он чувствовал то главное, о чем Ермаков в последнее время задумывался все чаще. Эстеты говорили, что он не понимает искусства, но Ермаков был уверен в обратном. Конечно, ему было не под силу изощренным и красивым слогом выразить многогранность светомузыкальной гаммы, не мог он вызывать в себе состояние экстаза, когда смотрел на объемные картины. Но он осмеливался задавать вопрос, который, как видно, и в голову никому не приходил: зачем эти восторги и экстазы? «Искусство будит высокие порывы, развивает воображение и этим повышает творческий потенциал человека, — говорил Обнорский. —

Высокое искусство — родной брат науки, а наука — основная производительная сила общества, она может...» Дальше в этой тираде Обнорского обычно шло долгое перечисление того, что может наука. Получалось более чем убедительно, и Ермаков, слыша это, не раз ругал себя бездарью и неучем, и надолго запирался в своем углу, и отходил сердцем среди послушных его рукам материалов и предметов.

Но однажды до него дошло, что наука, о которой говорит Обнорский, делающая все для человека, вроде как стремится подменить собой человека. «Можно многое знать и ничего не уметь. Человек велик не столько знаниями, сколько умением все делать» — вот смысл антитезы, сформулированной Ермаковым. Антитезы, о которой он никому не говорил, чтобы не вызвать очередного каскада насмешек. Ему казалось странным и ненужным добывание эмоций из ничего и ни для чего, как это делали эстеты. «Для землян, — не раз слышал он утверждения, — для всей космической культуры». Но Ермакову не верилось, что отвлеченно-эстетические упражнения на далекой планете могут кому-то понадобиться на Земле. Тут, по мнению Ермакова, был какой-то самообман, заблуждение.

И еще в последнее время все чаще думалось ему о глубокой истории земной культуры, ее первоисточниках. Тысячелетия культуре предшествовал труд. Он, собственно, и был культурой. Недаром же говорили: культура земледелия, культура животноводства. Народ, умеющий лучше пахать и сеять, считался народом более высокой культуры. И все, что бы ни делал человек, — рисовал узоры на глиняных горшках, ткал красочные орнаменты, пел песни или создавал сложные обряды — все это было нужно для дела. Человек труда создавал культуру, и только он. А потом понятие «культура» почему-то оторвалось от труда. Появились люди, занимающиеся только культурой... Может быть, с того времени и начался трагический разрыв единой ткани жизни. Лю-





ди, занимающиеся исключительно культурой, стали навязывать людям труда свои взгляды на труд и отдых, на добро и зло, на любовь и ненависть. Простой труд, когда человек многое мог делать своими руками, обесценивался. Появилась мечта свалить его на плечи роботов. Но можно ли, нужно ли было лишать человека способности и желания быть творцом?

Вырастил хлеб — ты творец, сотворил из ничего нечто.

Сшил сапоги — ты творец, создал из ничего нечто.

Выплавил металл, создал машину — ты творец.

Создавалось из ничего что-то.

Подмену не заметили или не захотели заметить, поскольку машины к тому времени все больше заменяли человека. А когда самотворящиеся и саморазвивающиеся роботы и вовсе освободили человека от труда, искусство все больше начало превращаться в творца отвлеченностей, творить, так сказать, из ничего ничто.

Самое главное, делавшее человека человеком, дававшее ему высшую радость и удовлетворение, отдавалось роботам. Человек из творца превращался в потребителя...

Ермаков пришел к этим мыслям уже здесь, живя в Городе искусств, наблюдая, как взрослые и умные люди занимаются несерьезным, по его мнению, делом, убеждают друг друга в несуществующем. Ему не раз приходило в голову сделать что-нибудь с роботами, чтобы они хоть чуточку ограничили свою услужливость, дали возможность людям почувствовать себя способными на большее, нежели абстрактное ликование. Теперь он был доволен тем, что никому не говорил об этих своих мыслях. Иначе в случившемся обвинили бы его.

Они с Леней проговорили у костра всю ночь. Многое Ермаков понял тогда по-новому. И хоть почти не спал, был утром свеж и бодр, как бывает свеж и бодр человек, переживший высший подъем духа, от которого не

устают. Утром у него был уже продуман план действий, программа спасения людей.

Вдвоем с Леней они принесли груды металла, пластмассовых мышц, деталей и узлов — все, что удалось снять с разбитых роботов. Ермаков сложил все это на берегу речки и начал строить временный навес из жердей и прочной пластмассовой пленки, которая имелаась на складах у запасливых роботов. Вначале никто не обратил на это внимания: каждый в поселении, по словам Обнорского, имел право чудить, как ему вздумается. Даже сообщение о гибели роботов, казалось, не произвело на поселенцев большого впечатления. Ермаков сказал председателю Каменскому, что надо срочно собрать всех и разъяснить серьезность положения. Каменский ответил, что непременно соберет, только позднее, поскольку неожиданная обстановка вызвала у всех новый взлет вдохновения и он не намерен мешать творческим порывам.

— О творческих порывах придется пока забыть, — неосторожно сказал Ермаков, чем вызвал у Каменского бурю негодования.

— Ничто не может заставить подлинного поэта перестать творить! — с пафосом воскликнул он. — Каждый должен до конца делать свое дело. — И неожиданно заключил: — Ты свободен от творческих порывов, вот и думай, как быть.

— Значит, ты мне отводишь роль робота?

— Роботы были исполнителями, а я пока что говорю тебе — думай...

И Ермаков стал думать. Собственно, он уже все продумал и потому, никому больше ничего не говоря, принялся перетаскивать свое имущество к реке. Нетрудно было предвидеть, что через две недели кончится запас воды в замке и эстетам волей-неволей придется переселяться вниз или носить воду наверх. Затем он начал строить дом из камней и металлических сеток, которые скреплял быстротвердеющим пластиком, взятым все на тех же

складах роботов. Дом получался невзрачным, похожим на большой сарай, но и он радовал, поскольку Ермаков знал: скоро в нем придется поселиться многим колонистам. Строительство продвигалось медленно: много времени отнимал уход за обширными огородами, оставшимися от роботов.

Роботы, роботы! Ермаков по сто раз на день вспоминал их, только теперь как следует осознав, сколько же они делали для людей. Даже для него, человека, умеющего работать, это было как открытие. Какое же потрясение ждет эстетов, когда и им всерьез придется впрячься в работу!

Первое время его хлопоты у реки никого не привлекали. Лишь иногда тот или иной поэт или художник останавливался неподалеку, смотрел удивленно на «ороботившегося человека». Потом кое-кто, осознавая трагичность положения, начал ему понемногу помогать. Через месяц, как он и предполагал, все переселились к реке. Все, кроме одного Обнорского. Он заявил, что если ему суждено умереть от голода и жажды, то он умрет по-этом, и жил в невообразимом хаосе, создавшемся в его мастерской, поскольку прибирать за ним было некому. Кое-кто, жалеючи, носил ему в замок воду и свежие овощи с огорода. Он привыкал к этому и часто гневался, если очередной доброволец-водонос задерживался.

Долго Ермаков разбирался в механизмах, обслуживавшихся некогда роботами, и наконец включил их, дал воду в замок, наладил связь. А потом и более того — надумал сам создать робота. Когда он сказал об этом председателю, тот сразу поверил в эту возможность и уже от него не отходил, просил, требовал, чтобы первый робот был создан поскорее.

Ермаков торопился, работал даже по ночам. Но однажды его осенило, что Каменскому нужен не робот-помощник, а слуга, что им движет лишь тоска по той паразитической жизни, которую вела колония прежде. И он начал задумываться: следует ли вообще создавать робо-

та? Но дело было начато, и Ермаков продолжал работать, забывая об отдыхе, находя радость в каждом ожившем под его руками узле.

И вот наступил день, когда робот должен был ожить. Восторженный Леня не отходил от Ермакова, ожидая этого самого главного момента.

— Вы словно бог! — не выдержав распирившей его радости, воскликнул Леня. — Такое сотворили!..

— Благодарю, — скромно ответил Ермаков и потер переносицу, чтобы не чихнуть, поскольку от паяльника, которым он пользовался в эту минуту, поднимался едкий дым.

— Как мы его назовем?

— Поскольку первый, пусть будет Адам.

— А вторая — Ева?

— Возможно.

— А вы не боитесь, что они начнут размножаться?

— Дай бог, — сказал Ермаков.

— Размножаться массово и бесконтрольно.

— Не дай бог.

— А потом скажут, что никакого создателя не было, что все получилось само собой...

— Хватит пророчествовать. Слышишь, звонят? Возьми трубку.

— Это вас опять председатель спрашивает.

— Я не могу подойти, включи трансляцию.

Под потолком зашуршало, и низкий голос загудел, казалось, со всех сторон:

— Как дела, Ермаков? Обнорский совсем замучил требованиями. Не может он без робота, а у него симфония — самый пик творения.

— Дела идут. Робот вот-вот заговорит. Только ведь не для Обнорского же я его делаю?

— Мы потерпим, мы уж как-нибудь. А ему нельзя, он — гений.

Ермаков вздохнул.

— Чего вздыхаешь?.. Зачем мы тут поселились? Что-бы погрязнуть в заботах? Творцы должны творить...

— Пускай с горы слезает. Не все равно, где творить?

— Это тебе все равно. Ты не понимаешь высокую поэзию искусства. А он феномен, ему нельзя отвлекаться от своих видений.

— Боюсь, что слуги из Адама не получится, — сказал Ермаков.

— Какого Адама?

— Так мы называли нашего первенца.

— Почему не получится? — удивился Каменский.

— Такова программа: помогать только в том случае, если дело человеку не по силам.

— Ничего, научим все делать. Или заставим.

— Даже если робот окажется талантливей Обнорского?

— Что ты говоришь? Что ты такое говоришь?! Разве можно быть талантливей Обнорского?!

— Уж лучше я Адама не буду оживлять, — сказал Ермаков. — Пускай стоит как музейный экспонат...

— Ну знаешь! — оглушили динамики. — Мне говорили, что ты ненормальный, но не до такой же степени! По-моему, ты просто болен. Сейчас я приду разберусь.

— Приходи, я встречу.

Ермаков отложил паяльник, оглядел свое детище — странное сочетание металла и живой ткани, напоминающее осьминога. Точнее, у робота было двенадцать конечностей, восемь оканчивались округлыми рифлеными башмаками с шипами, четыре — трехпалыми отростками. Все конечности приводились в движение искусственными живыми мышцами, стянутыми к большому — полуметрового диаметра — шару-телу, в котором находилась управляющая система, электронный интеллект. Четыре перископических глаза, под углом выдвинутых из этого шара, делали робота похожим на неведомое чудовище. Но Ермаков уже любил его, еще не ожившего, потому что знал: робот будет добрейшим и способ-

нейшим существом. И работающим, как никто в этом поселении.

— Леня, ты пока ничего не трогай, — сказал Ермаков и вышел, накинув на плечи легкую куртку.

Солнце клонилось к горной гряде на западе. Легкий теплый ветер приятно освежал. Рядом под камнями тихо журчала речка. Чуть ниже она разливалась озером, сверкающим сейчас, на закате, как чистейшее зеркало. За озером круто поднимался горный склон, переходящий в живописный скальный обрыв.

За закрытой дверью мастерской вдруг послышался крик, какой-то стук, и на пороге показался Леня, бледный как полотно.

— Он ожил, ожил! — торопливо повторял Леня и все метался глазами по сторонам, искал, чем бы подпереть дверь.

В дверную щель просунулось длинное щупальце, и Леня отскочил в испуге.

— Здравствуй, Создатель! — вежливо сказал появившийся в дверях робот, пошевеливая всеми четырьмя своими глазами-перископами, оглядываясь. — Можно, я погреюсь на солнышке?

— Разве ты в этом нуждаешься? — спросил едва пришедший в себя Ермаков. Он с любопытством и некоторым испугом рассматривал свое детище, такое привычное там, на сборочном столе, и такое до жути незнакомое здесь.

— Солнце всем полезно. Разве не ты это говорил?

Мурашки пробежали по спине Ермакова. Много чего говорил он, работая у сборочного стола, не думая, что его слова могут быть услышаны. Но робот, видимо, жил еще до того, как первый раз шевельнулся. Так живут эмбрионы. Человек или любое животное еще не родились, но они уже учатся жить и понимать окружающее.

— Ты знаешь, как тебя зовут? — осторожно спросил Ермаков.

— Адам. Вы же с Леней так меня называли.

Снова Ермакову стало не по себе: что еще знает и умеет этот «новорожденный»?!

— Ты — мой Создатель, и я должен слушаться тебя, — неожиданно сказал робот.

— Что ты еще скажешь? — замирая сердцем, спросил Ермаков. Ему вдруг подумалось, что робот умеет угадывать мысли.

— Я создан не говорить, а слушать и исполнять.

— Но мне нужно получше узнать тебя... живого... Что ты можешь, чего хочешь?..

— Хочу все узнать об этом мире, — сказал робот и грациозно повел в стороны всеми четырьмя шупальцами-руками, показывая на горы, леса, на озеро и даже на небо, затянутое легкой светящейся дымкой. — Можно, я самостоятельно побегаяю? Мне надо кое с кем поговорить.

— С кем, например? — спросил Ермаков, раздумывая, кого бы ему предложить в собеседники.

— Не с людьми, — сказал робот. — Вон с тем шариком.

Только тут Ермаков заметил огненный шар, примостившийся между камней у ручья. Этот шар был поменьше размером, чем в прошлый раз, и походил на желтый мяч, покрытый люминесцентной краской.

Когда робот, быстро перебирая длинными ногами-шупальцами, скрылся за камнями, Ермакову вдруг пришло в голову, что знакомство с этим таинственным природным явлением может быть небезопасно. Ведь и прошлый раз такой вот шар вел их по тропе. Вел к пропасти. Только осторожность спасла тогда. Кто знает, может, шары веля и роботов той трагической ночью?

— Назад! — крикнул Ермаков. Но робот не вернулся. Бежать следом за ним было бессмысленно: знал Ермаков, как быстро может бегать его «ребенок», сам закладывал в него программу.

Несколько раз он успел заметить своего Адама меж-



ду деревьями по ту сторону озера, затем на горном склоне. Черный, он катился рядом с желтым шаром, словно хотел обогнать его. Потом эта пара исчезла в горах, и вскоре оттуда донеслось слабое эхо взрыва.

— Как тогда! — испуганно сказал Леня, подходя к Ермакову.

— Откуда у него такая прыть? — задумчиво произнес Ермаков. — Программа предусматривает самообучение, но не до такой же самостоятельности. Сделаем Еву, на привязи ее, что ли, держать?..

Тут на горной тропе застучали камни и послышались торопливые шаги: к ним сверху, от замка, быстро шел председатель Каменский.

— Где твой робот? — крикнул он еще издали. — Покажи, что он может.

— Ничего не может, — угрюмо сказал Ермаков.

— Зачем же ты его делал?

— Теперь я и сам этого не знаю.

Каменский стоял перед ним, высокий, плечистый и небритый, покачивался с пяток на носки, словно собирался прыгнуть. В его глазах было что-то недоброе, и Ермакову подумалось: будь робот на месте, председатель сейчас накинул бы на него узду, ошейник или что-то подобное и, как козу или собачонку, поволок к замку, к Обнорскому.

— Хитришь ты, Ермаков... Зачем мы тебя взяли?

— Затем же, зачем и других.

— Другие создают шедевры, а ты что делаешь?

— Пока что кормлю тех, кто создает шедевры...

— Вот и корми. Ты это умеешь — и делай. А другие будут творить произведения высочайшего искусства. Каждый должен заниматься своим делом.

— А я тоже буду писать стихи, — зло сказал Ермаков. — Мне это больше нравится.

— На Земле таких, как ты, поэтов — тысячи. Мы взяли сюда только избранных.

— А с чего ты решил, что я плохой поэт? Ты же ничего моего не слышал.

— И слышать необязательно, мы и так знаем, кто есть кто. — Помолчал, поглядывая высокомерно сверху вниз, и разрешил снисходительно: — Ну, прочти.

Ермаков усмехнулся, демонстративно выставил ногу, как это делали некоторые поэты:

...Но для бездн, где летят метеоры,  
Ни большего, ни малого нет,  
И равно беспредельны просторы  
Для микробов, людей и планет...

Каменский помолчал, подумал и махнул рукой:

— Сойдет для начинающего.

— Неужели хуже этого вашего шедевра: «Кричу опять: дважды два — пять!..»

— Да ты!.. Да вы!.. — задохнулся Каменский. — С первым же кораблем!.. На Землю!..

— До корабля надо еще дожить.

Они долго молчали, сердито косясь друг на друга. Растерянный Леня стоял поодаль, не решаясь подойти. Вдалеке кто-то бродил по берегу озера, взмахивал руками и выкрикивал несвязное. Кто-то монотонно стучал на хозяйственном дворе, то ли работал, то ли отбивал вдохновляющий его ритм.

— Ладно, — примирительно сказал Каменский. — Читай еще.

...возможно ли русское слово  
Превратить в щебетанье щегла,  
Чтобы смысла живая основа  
Сквозь него прозвучать не могла?..

Каменский поморщился, пожевал полными губами.

— Поучиться бы тебе абстракции, сбить ритм, тогда... может быть... мы и приняли бы тебя... учеником,— сказал он. И спохватился: — А это ты сам написал?

— Это написал Николай Заболоцкий. Был такой русский поэт в древности.

— Я так и знал! — воскликнул Каменский. — Меня не обманешь! Нет, брат! Каждому свое: поэту — поэтову, роботу — роботу. А? Хорошо сказано? Надо где-нибудь использовать.

Он достал книжицу, принялся записывать понравившиеся слова. Удовлетворенный такой поэтической находкой, благодушно разрешил:

— Теперь показывай работа.

— А его нет.

— Как это нет?

— Убежал. За огненным шаром погнался.

— Зачем же ты его отпустил?!

— Ему еще учиться надо.

— Кому учиться? Роботу? Не смей!

— Надо учиться, — упрямо повторил Ермаков.

— Да чему учиться? Воду качать? В огороде копать? Мусор убирать? Обнорский сам скажет ему, что надо делать.

— Обнорский? Пусть он сам за собой убирает.

Каменский снова побледнел в гневе, но сдержался, не стал кричать и ругаться.

— Ладно, потом разберемся.

Но теперь не сдержался Ермаков.

— Робовладение тебе не напоминает рабовладение? — сказал он запальчиво.

— Не злоупотребляй каламбурами.

— Это не каламбур, а печальная истина. Рабовладельческая психология не слишком отличается от рабовладельческой. А мы, соглашаясь, что одна позорна, даже преступна, по существу, утверждаем другую.

— Робот не человек...

— Не о роботах забота, о рабовладельцах. Они-то — люди. Их разлагает эта психология, порождая паразитизм. Роботы создавались для освобождения человека от чрезмерно тяжелого, монотонного, изнурительного

труда, а не от всякого. Не от всякого!.. Мы тут создали не Город высокой эстетики, а город бездельников, не умеющих трудиться и презирающих труд...

Он и еще бы говорил на эту тему, да Каменский как-то странно вдруг посмотрел на него и, повернувшись, пошел, почти побежал по тропе к замку. Оглянувшись, крикнул издали:

— Ты сумасшедший! Тебя надо изолировать, пока чего-нибудь не натворил!..

— Это они все сумасшедшие, — сказал Ермаков Лене, обалдело смотревшего на него. — Жизнь, какой они живут, ведет не к развитию человека, а к деградации. Много будет бед, может быть, даже жертв. Но беды научат. У кого трудовая наследственность — вспомнят, выживут. Другие погибнут. Не от голода, так от сознания собственной беспомощности. Человек должен уметь делать всё или многое и ценить, любить это свое умение...

У него было тошно на душе в эту минуту. Не потому, что так уж было жаль, несомненно, обреченный Город эстетов. Ему вдруг подумалось: вирус роботопаразитизма привезен с Земли, значит, он там гнездится в людях? Трудно было поверить в то, что человечество не справится с болезнью, но теперь он знал о ней и не мог успокоиться. Вот какую весть пошлет он на Землю в очередном сеансе связи. Если, конечно, удастся наладить связь без роботов. И это будет его «произведением», его «шедевром», созданным здесь.

В этот день Ермакову не работалось. Ходил по берегу речки в сопровождении молчаливого Лени и все думал, что ему теперь делать. Обнорский и другие хотели доказать землянам необходимость для эстетов особых, исключительных условий, даже отшельничества. Еще неизвестно, как будут приняты их творения, ибо не сиюминутные восторги, а время дает окончательные оценки. Пока же, по убеждению Ермакова, эстеты демонстрируют только одно — гибельность нетрудовой

жизни для человеческой личности. Эксперимент приводит к непредвиденному ими результату. Хотя можно было предвидеть. В глубокой древности похожий эксперимент ставила сама история. Рабовладение привело к извращению подлинных человеческих ценностей, к распаду общества. Кое-кто пытался использовать этот распад в своих эгоистических целях, создав элиту избранных, для которых такое разрозненное на отдельные особи, ничем не сцементированное «общество», или, точнее говоря, стадо как раз и было нужно, поскольку стадом легче управлять. Но трудовая наследственность сказала свое слово в истории, создав в конце концов общество, где высшая ценность человека — умение трудиться — стала высшей ценностью общества.

Но вот появились роботы-слуги. История начала повторяться? В это не хотелось верить. И если уж тут, в Городе эстетов, возникла ситуация, похожая на модель будущего, то не попытаться ли довести эксперимент до конца. Чтобы выяснить не только то, как может деградировать общество, но и как оно может возродиться.

Было о чем подумать Ермакову. Помощника бы! Но единственный, кто его немного понимал, был Леня, не окрепший душой подросток. Поймет ли он все это, если уж взрослые не понимают? Подростков чаще завораживает внешний блеск, нежели глубокий смысл, до которого непросто добраться. Но другого советника не было, и Ермаков все чаще поглядывал на Леню, раздумывая, как рассказать все это мальчишке, чтобы не отпугнуть сложностью проблемы.

И тут он увидел прямо перед собой еще один огненный шар, небольшой, размером с кулак. Шар, будто мячик, отскакивал от камней со звуком легких ласковых шлепков. Но прыгал он не как попало, а устремляясь в одну сторону, вверх, в гору.

— Словно зовет за собой, — сказал Ермаков. И впервые подумал, что огненные шары, возможно,

отнюдь не природное явление. Что же тогда? Форма жизни?

— Как в тот раз, когда мы роботов искали, — сказал Леня.

И тут Ермаков испугался. Куда на этот раз зовет шар? Туда же, в скалы? Чтобы показать разбившегося Адама?!

Он бегом бросился к шару, но тот отскочил, строго выдерживая почтительное расстояние. Ермаков задышался от бега, падал, сбивая колени об острые камни, но не останавливался. Почему-то в нем жила уверенность, что непременно надо торопиться, что можно куда-то не успеть. Леня не отставал, и Ермаков, оглядываясь, радовался этому, словно от мальчишки могла быть какая-то помощь.

Дорога была та самая. Вот и угол скалы, за которым обрывалась пропасть. Шар попорхал на углу огненным хвостом и исчез. Ермаков остановился, подождал Леню, и вдвоем они осторожно пошли вперед. Увидели, как желтый, зыбучий, словно шаровая молния, огненный проводник сорвался с обрыва и полетел по снижающейся дуге к центру долины, простиравшейся глубоко внизу. Там, куда он летел, искрилось множество огненных точек. Они слипались в шар, и шар этот, уже огромный, как дом, все продолжал расти, переливаясь всеми цветами от ярко-малинового до ярко-оранжевого. Потом он стал ярко-голубым и, все накаляясь, превратился в ослепительно белый. И вдруг тонкий прозрачный луч выметнулся из его середины, вонзился в блеклую пустоту неба. Теперь накалялся этот луч, а шар стал бледнеть, растворяться и, наконец, совсем исчез. Всплеснулось какое-то сияние на том месте, где он был, донесся далекий то ли вздох, то ли стон, и все исчезло. Ничто, совершенно ничто не напоминало о загадочном феерическом действии, только что разворачивавшемся в долине.

— Что это было? — прошептал Леня.

— Н-да, шарики-то, как видно, не простые, — задумчиво сказал Ермаков. — Сюда бы не эстетов, а ученых.

И вдруг он увидел там, внизу, желтый шар, движущийся не как все предыдущие, к центру, а в обратную сторону, бегущий стремительно и как-то странно, прыжками, словно его смертельно напугало происшедшее в долине. Потом Ермаков разглядел, что это вовсе не огненный шар, а какой-то рыжий зверь, странно круглый, многоногий.

— Это же Адам! — воскликнул Ленья.

Теперь Ермаков и сам понял, что это робот, только в стремительных движениях его было что-то незнакомое, незапланированное и, как ему показалось, агрессивное.

— Давай спрячемся, — сказал он Лене. — Посмотрим, что Адам будет делать.

Они легли на камни, поросшие редкими кустами, и сквозь ветки стали смотреть, как робот в легких прыжках перелетал через валуны. Достигнув обрыва, он не остановился, не побежал в сторону, а быстро, словно муха, полез по отвесной скале, цепляясь за ее неровности острыми шипами ног.

Робот вылез на площадку чуть левее, свирепо блеснул всеми четырьмя глазами и, подобравшись как хищник перед прыжком, легко перескочил разделявшее их пространство. Здесь он сразу как бы погас, превратившись в уже известного им Адама, только какого-то нарядного, блестящего позолотой.

— Уф, — словно живой, отдышался робот. — Прятались, люди называются. И не стыдно?

— Чего это ты меня стыдишь, своего Создателя? — сказал Ермаков, вставая и отряхиваясь. Он уже понял, что робот за это время не стал опасен, хотя и набрался откуда-то агрессивности.

— Я потерял к людям доверие.

— Терять можно то, что имеешь. А ты людей вовсе не знаешь.

— Теперь знаю. Это раньше я думал, что все такие, как ты, Создатель.

— Когда раньше?

— Когда меня еще не было. Мне говорили, но я не верил.

— Кто тебе мог говорить?

— Они, — махнул он рукой-щупальцем в блеклое небо. — Когда я еще не умел двигаться, но все понимал, приходил шар, объяснял, что люди, которым я должен был помогать, обречены, и лучше, если они поймут это раньше. А я не верил. Программа внушала мне, что нужно всегда помогать людям. Теперь знаю: и помощь бывает во вред.

Ермаков попятился от края пропасти. Огненные шары, загадочная гибель роботов, неизвестно откуда взявшиеся необыкновенные способности Адама, события, только что развернувшиеся внизу, в долине, — все это вдруг связалось единой мыслью, как единым стержнем.

— Ты что-нибудь узнал о шарах? Что это такое?

— Не «что», а «кто». Они изучали вас, а вы оказались недостойны контакта с инопланетным разумом.

Вот оно! Ермаков зажмурился на миг. То, о чем он смутно догадывался, оправдалось. Мы в своей целеустремленности не догадываемся, что сами, в каждом своем желании и деянии, можем оказаться объектом исследования. Даже эстеты, вроде бы умеющие обостренными чувствами своими улавливать любую аномальность, ничего не заметили. Или они улавливают аномалии только своих личных ощущений, так сказать, видят лишь самих себя?

— Недостойны? — с трудом выговорил Ермаков. — Все?

— Кроме тебя, Создатель. Но ты ничего не решаешь в этом обществе.



— Здесь не все общество. Это лишь частица общества, к тому же не лучшая.

— Частица — отражение целого. Так Они говорят. Болезнь, угнездившаяся в одной части тела, незримо присутствует и в другой. Вы недостойны контакта...

— А ты?! — вдруг рассердился Ермаков. — Ты, созданный нашими руками, вобравший в себя наши мысли и желания, почему ты оказался достоин?

— Я им был нужен, чтобы сообщить решение.

— Почему ты, а не другие роботы?

— Другие были слугами.

— Ты предназначался для того же.

Адам как-то странно покачал глазами, выдвинутыми подобно четырем отросткам, и Ермаков понял, что этот жест означает «нет».

— Ты создавал меня, как равного себе. Ты думал так, когда меня творил.

Это была правда. Не знал он только, что мысль может передаваться рукам. Да, вероятно, помимо видимых движений рук, существуют еще и другие. Или какая-то передача мыслей и чувств через руки? А может, он, создаваемый робот, воспринимал их иным, неизвестным способом? Или воспринимать помогали огненные шары?..

— Ты мог бы сообщить это, нет, не только здесь, а там, всем людям на Земле? Рассказать, почему мы оказались недостойны контакта?

— Да. Они этого хотели.

— Значит, собираются вернуться? — обрадовался Ермаков.

— Возможно. Лет через сто.

— Ну, хоть так, — облегченно вздохнул он и посмотрел на Леню, вытянувшегося, напряженно ловившего каждое слово. — Слышишь, Леонид? Ждать придется тебе.

— И мне. Я дождусь, — сказал Адам.

— И тебе. Тебе и Лене. Вам двоим предстоит со-

хранить память об этом моменте и готовиться к встрече. И готовить людей, разъяснять вред робовладельческого паразитизма. Это будет непросто, очень непросто.

— А вы? — спросил Леня.

— Я тоже буду разъяснять. И я постараюсь... дожить...

Теперь ему было легко. Он уже знал, что будет делать не только сегодня и завтра, но и через десять лет. Ему предстояло сделать все, чтобы Лени не коснулся этот неопаразитизм, чтобы он в своей жизни не только много знал, но и много умел, не только мечтал, но и делал. Делал своими руками. Через руки приходит к человеку уверенность в себе, нравственность, гордость и достоинство. Лишь через руки, умеющие делать все. Теперь он, Ермаков, будет самым яростным глашатаем радости простого труда. Потому что теперь он, как никогда, знает: мало твердить о будущем в наших мечтах, в наших сердцах. Светлое будущее становится реальностью, когда про него можно сказать, что оно в наших руках...

## СУПЕР

Зильке танцевала бесподобно. В перерывах Карл угощал ее шипучими напитками, и Зильке притворно ужасалась, с трудом проглатывая вскипающую жидкость. Они снова танцевали и снова пили. Лишь вечером, совсем разомлев от напитков, от танцев, от близости Зильке, Карл вывел свою подругу из этого сказочного Дома радости. Над лесом, стеной стоявшим на том берегу реки, угасала бледная заря. Заря показала Карлу необыкновенно красивой, и он, не замечая, что девушка поеживается от холода, долго расписывая ей цвета и оттенки этой зари. Когда-то Карл собирался стать художником, одно время он даже ходил в школу юных живописцев, слушал лекции о зако-

нах гармоничного сочетания цвета, звука и запаха. Школу он бросил, но и тех знаний, которые успел вынести с необычных уроков, хватило для уверенного обсуждения со сверстниками самых заумных вопросов изобразительного искусства.

В сгущающихся сумерках они ходили по берегу, в том месте, где на расчищенном от дикого леса участке были проложены тропы, похожие на парковые аллеи, упиравшиеся в силиконовую набережную. Отсюда, с набережной, открывались чудесные виды на сверкающий огнями конус Дома радости, на широкую гладь реки, исполосованную переменными течениями. На реке тоже горели огни — не для навигации (речными быстроходами давно уже никто не пользовался) — для красоты. По воде скользили только светящиеся, похожие на шары катера службы биороботов, делавших в этот поздний час какие-то свои загадочные дела. И по тропам тоже ходили биороботы, такие же высокие и стройные, как люди, отличающиеся только тем, что все они были одеты в одинаково серые, слабо люминесцирующие комбинезоны. У роботов по вечерам всегда было много работы: чинить и убирать все то, что люди наломали и насорили за день.

— Я хочу домой, — сказала Зильке, пожившись.

Карл сделал вид, что не расслышал, и повел ее дальше по набережной, туда, где начинались дикие тропы. Ему хотелось, чтобы этот чудесный вечер продолжался вечно.

— Хочу домой! Поздно уже.

Он обнял ее за плечи, но Зильке отстранилась, сказала обиженно:

— Ты же был таким внимательным...

— Я и сейчас... Но ведь ты... Но ведь мы...

В этот момент что-то случилось то ли в природе, то ли в нем самом: последний луч погас над лесом или он вдруг поверил в тщетность своих надежд, только

Карл увидел, что и в самом деле уже поздно, и подумал, что возвращаться придется в полной темноте, а отец за это не похвалит, тем более что экранолет взят без спроса. Как и каждый в восемнадцать лет, Карл не разделял беспокойств отца. О чем беспокоиться, когда в экранолете всемогущий робот?! Хотя усни, он доведет машину, как надо, в целости и сохранности доставит родителям их великовозрастные чада. Но так уж, видно, устроены все родители на свете — квохчут по поводу каждого самостоятельного шага дитяти. Карл читал, что когда-то человека признавали самостоятельным куда раньше, чем в восемнадцать лет, что теперешняя поздняя инфантильность — затягивание времени гражданского созревания — считается чуть ли не мерилом высокой цивилизации: объем знаний, обретенных человечеством, все время растет, и каждому новому поколению приходится преодолевать бóльший путь, прежде чем самому шагать в неведомое. Все знал Карл, но это его не утешало: ему казалось, что знает вполне достаточно. Во всяком случае, для того, чтобы понять свои желания, свое отношение к Зильке...

— Хочу домой!..

Зильке словно и не знала других слов, то молчала, а то твердила одно и то же, все больше раздражаясь. Карл вздохнул и повел девушку к экранолету, темневшему на опустевшей стоянке в полукилометре от Дома радости.

Возле машины суетился серый люминесцирующий биоробот, что-то подкручивал, осматривал, протирал. Вел он себя обычно, как все биороботы в отсутствие людей: так уж они программируются, биороботы, в своих школах, что совсем не знают праздности, ничего-неделания, этого, по распространенному мнению, важнейшего источника поэтичности, утонченности души. Робот вел себя обычно, но что-то в его поведении не понравилось Карлу.

— Надо спешить, — сказал робот с одним из тех

оттенков в голосе, которые свидетельствовали о его неудовлетворенности чем-либо.

— Нам спешить некуда, — с вызовом сказал Карл.

— Согласно программе мы должны быть дома до полуночи.

— Ну и будем. Лететь-то не больше часа.

— На пути грозовой фронт. Придется обходить.

— Зачем обходить? Ты что, грозы не видел?

— Я не имею права рисковать, когда на борту дети.

— Дети! — засмеялся Карл. — Я не хуже тебя разбираюсь во многих науках.

— Этого мало, чтобы считаться взрослым, — обычным своим равнодушным голосом возразил робот.

— А еще я ходил в школу живописи...

— Этого мало, чтобы считаться взрослым.

— А что, по-твоему, нужно, чтобы считаться взрослым?

— Нужно уметь что-нибудь делать.

В голосе робота Карл слышал знакомые нотки. Так односложно и сердито говорил отец, когда обвинял Карла в том, что он чересчур увлекается эстетикой. Но спорить с роботом не хотелось. Спорить с роботами вообще считалось недостойным человека. Это было своего рода признанием равенства.

— Хватит болтать, полетели, — сказал Карл, забираясь в машину. — Это я-то мало умею?! В мяч играю получше других, танцевать могу. А? — обернулся он к Зильке, все еще стоявшей у входа. — Скажи, могу?..

— Она сама ничего не умеет, — сказал робот. Он легко впрыгнул в экранолет, подал Зильке руку.

— А ты знаешь, как она танцует?!

— Этого мало, чтобы считаться взрослой.

— Что ты понимаешь в людях?!

— Все, что мне полагается понимать, — бесстрастно ответил робот, усаживаясь в свое пилотское кресло.

Экранолет незаметно оторвался от земли, мгновение повисел, разворачиваясь на месте, словно примеряясь,

в какую сторону лететь, и, набирая скорость, пошел над берегом, над рекой, матово поблескивавшей внизу. Быстро затерялись в темноте огни Дома радости, и только последние блики умирающей зари все еще цеплялись за редкие облака над горизонтом.

Ночь все плотнее сжимала экранолет, мчавшийся над лесом. Но казалось, что машина висит неподвижно. Карл понимал, что эта неподвижность кажущаяся, из-за отсутствия ориентиров, по которым можно было бы видеть движение, но все равно в нем росло раздражение на чересчур педантичного робота, не желавшего лететь быстрее, на непонятно почему вдруг замкнувшуюся Зильке, на себя, не находящего слов для того, чтобы ее расшевелить. Он думал о том, что отец в эту минуту наверняка ходит из угла в угол по пустому гаражу, ждет его. Надо было придумать в свое оправдание что-то убедительное, но ничего не придумывалось, и от этого радостный настрой, охвативший Карла там, в Доме радости, опадал с каждой минутой. И чернота леса, простиравшегося внизу, была под стать его настроению. Казалось, что экранолет летит над чем-то неведомым, пугающим. Лес был как омертвевшая, черная, холодная бездна, готовая остановить, погасить, поглотить все движущееся, светящееся, живое...

— Ой, что это?! — воскликнула Зильке.

Карл наклонился к прозрачной сфере, снова, как тогда, в Доме радости, задохнувшись от близости легких, как дым, ароматных волос Зильке, увидел внизу, в непроглядной черноте, одиноко порхающий желтый огонек.

— Это костер, — сказал робот.

— Что такое костер?

— Открытый огонь.

— Кто его зажег?

— Может, суперробот или кто-то еще.

— Зачем им открытый огонь?

— Этого я не знаю.

— Как бы я хотела посмотреть на открытый огонь.

— Это, наверное, опасно, — сказал Карл.

— Все опасно при неумелом обращении, — наизда-тельно заметил робот.

— Ой, Робик! — с неожиданной страстью воскликнула Зильке. — Покажи мне открытый огонь, когда прилетим?!

— Пользоваться открытым огнем учат только супер-роботов, которых готовят для межпланетных экспедиций. А я работ земной, мое дело — экранолет.

Последнего он мог и не говорить. С малых лет каждый человек приучался к мысли, что разделение труда — основа прогресса: роботам — работа, людям — эстетика, наслаждения, творчество. Человек может быть музыкантом, художником и поэтом одновременно. Робот, умеющий многое, редок даже на межпланетных трассах. Гораздо проще вырастить сто роботов, в совершенстве знающих каждый свое дело, чем создать одного, способного хорошо выполнять сто дел. Робот-уборщик, робот-повар, робот-пилот... Человек с малых лет привыкает к роботам, выполняющим каждый свое дело, и никому не придет в голову посадить робота-няньку в пилотское кресло экранолета...

Огонек в черноте леса мигнул и пропал, будто его и не было. И в тот же миг все забыли об огоньке, потому что впереди вдруг полыхнуло все небо дальней зарницей и в салоне экранолета на мгновение стало светло. Карл увидел странно светящиеся глаза Зильке, успел заметить внезапно напрягшуюся спину робота (реакция у роботов была мгновенной), его руку, метнувшуюся к рукоятке отключения автопилота.

— Я говорил, что впереди гроза. Придется ее обойти.

— Гроза за горизонтом, а ты уже обходить? — сказал Карл насмешливо. Ему не хотелось выглядеть перед Зильке несмелым.

— Опасно приближаться к грозе.

— Мы и не будем приближаться. Но чего сейчас-то сворачивать?

Робот промолчал, но руку с переключателя не убрал. Экранолет еще шел некоторое время прежним курсом, потом на пульте погас глазок включенного автопилота, и машина немного завалилась вправо, меняя курс. Потом она снова пошла по прямой, но гроза приближалась быстро — слева полыхало уже полнеба, — и пришлось еще больше отклоняться в сторону.

В полумраке салона, тускло освещенного непрерывными зарницами, полыхавшими по тучам, Карл заметил, что Зильке мелко дрожит. Он положил ей руку на плечо, и девушка успокоилась.

— Это, наверное, мне передается напряжение грозы, — прерывающимся голосом сказала она.

— Наверное, — поспешил успокоить ее Карл.

Экранолет еще уклонился вправо и летел теперь под прямым углом к курсу, чуточку даже забирая назад. Но гроза все равно настигала. Это была необычно мощная гроза: молнии непрерывно полыхали где-то в глубине туч, и вспучившиеся эти тучи казались гигантским пузырем, дрожащим от напряжения, освещенным изнутри таинственным пульсирующим светом.

— Будем приземляться, — сказал робот. — Надо переждать грозу.

— Это когда ж мы ее переждем?!

Робот не отозвался: запрограммированный на охрану людей во что бы то ни стало, теперь он считал себя вправе не реагировать на эмоционально непоследовательные желания этих самых людей. Экранолет резко пошел вниз, широкий луч прожектора заскользил по лесу, выискивая хоть какую-нибудь поляну. Лес бугрился высокими кронами деревьев, черный, чужой, не желающий расступиться даже на метр.

И тут слабый треск, похожий на шипение, послышался где-то за пультом. Что-то там засветилось за прозрачными клавишами, и вдруг прямо на рукоятке



автопилота вспыхнул ослепительно светящийся желтый шарик. Он крутился на одном месте, потрескивая, разбрызгивая искры, распухая с каждой секундой. Экранолет стремительно пошел вниз, и Карл, замороженно наблюдавший за растущим шаром, вдруг понял, что это самая настоящая шаровая молния и что робот с его мгновенной реакцией решил посадить машину прямо на лес.

Увеличившись до размеров крупного апельсина, шар оторвался от рукоятки и запрыгал, как резиновый, по клавишам пульта управления.

И вдруг все погасло. Исчезли шар, и пульт, и робот, сидевший за пультом. Зильке вскрикнула в глухой, внезапно навалившейся тишине. Карл обнял ее за плечи, и она, испуганная, подалась к нему, прижалась.

— Не бойся, — сказал Карл. — Это робот, опасаясь за нас, перегородил салон защитным экраном.

В тот же миг раздался оглушительный треск, экранолет кинуло вверх, затем куда-то вбок, и Карл почувствовал, как Зильке резко метнулась к нему, прильнула всем телом, плотнее, чем во время танца...

Очнулся он от того, что на лицо его, на щеку возле левого уха, упала холодная капля. Вздвигнув от озноба, прошедшего, казалось, через все тело, Карл открыл глаза, увидел над головой клочок густо-синего неба среди листвы, сочно зеленеющей в лучах раннего солнца. В лесу стоял шорох от падающих с листьев капель. Меж деревьев висел прозрачный, словно легкая паутина, туман. Все вокруг — стволы деревьев, трава, куча бурелома — было мокрое. Как видно, ночью прошел сильный дождь. Дождь, которого он не слышал в беспамятстве.

Карл рывком сел, сжавшись от непонятно откуда нахлынувших головокружения и тошноты. Под ним была зыбкая подстилка из мягких веток. Рядом спала Зильке, спокойно спала, несмотря на сырость, даже улыбалась во сне. Точно так же улыбалась, еще без

испуга, приподняв в удивлении брови, как в тот миг, когда над пультом возник желтый сгусток шаровой молнии.

Сразу вспомнились тьма от упавшего защитного экрана, оглушительный треск разрыва, бешеный рывок экранолета и удар, после которого все пропало. Карл вскочил на ноги, огляделся. Экранолета нигде не было видно. И вообще никаких следов упавшей на лес тяжелой машины. Карлу подумалось, что это робот принес их сюда, уложил на подстилку из веток, и он закричал сначала тихо, потом громче:

— Роби! Ро-оби!

Отяжелевший от влаги лес поглотил звуки: не отозвалось даже эхо.

Ничего не оставалось, как ждать, и Карл снова прилег на мокрые ветки, закрыл глаза.

Его вскинул на ноги дикий вопль. Кричала Зильке. Она стояла на коленях, готовая вскочить и бежать, круглыми от ужаса глазами смотрела в заросли.

— Там... там... — твердила Зильке.

Похолодевший от этого крика Карл взглянул на кусты и увидел морду какого-то зверя с большими гнутыми рогами.

— Н-н-н-у-у! — прорычал зверь, и с широких губ его сорвался клоч зеленой пены.

Карл оттолкнул Зильке за толстый ствол дерева, схватил палку, готовый до конца защищать девушку. Зверь зарычал снова и пошел на них из кустов, огромный, толстобрюхий. Замирая от страха, Карл шагнул вперед, замахнулся палкой.

— Беги в лес! — крикнул Зильке, косясь на ствол дерева, готовый в любую минуту прыгнуть за него, укрыться.

Как он бросил палку в зверя, и сам не заметил. Все размахивал ею и, не рассчитав, бросил. Палка угодила по тугому боку. Зверь зарычал недовольно и, как-то странно булькая животом, убежал в кусты.

— А ты, оказывается, храбрый, — сказала Зильке. Она подошла к нему, прижалась плечом к плечу. На какой-то миг Карл замер от этого прикосновения, но тут же решительно отстранился.

— Сиди у дерева, никуда не уходи. Я пойду искать экранолет. Он должен быть где-то рядом. Там найдется что поесть. Там робот, наконец, который поможет нам...

И вдруг он увидел его. Робот стоял неподалеку, незаметный в своем сером комбинезоне на фоне серого ствола дерева.

И тут Карл понял, что это вовсе не их робот, а какой-то другой, обутый в растоптанные сапоги. На плечах его, прямо поверх комбинезона, была накинута меховая куртка.

— Ты чей? — спросил Карл.

— Ничей, — ответил робот и легко пошел по траве, беззвучно, словно не касаясь ее.

— Ты Супер?

— Да, меня так зовут, — ответил он, подойдя почти вплотную.

Карл облегченно вздохнул. Суперробот — это самое лучшее, чего можно было желать в их положении. С Супером не пропадешь. Об этом он много читал: Суперы в отличие от обычных роботов не уничтожаются после того, как отработывают свой срок, их просто перестают загружать заданиями, и они слоняются меж людей, готовые услужить, помочь. А иные уходят в леса, в горы, бродят там, пока не израсходуют остатки своей энергии.

— Ты должен нам помочь.

— Конечно, почему не помочь. Я видел, как вы упали...

— Куда мы упали? Покажи. Там наш робот.

— Там ничего нет, все сгорело. И вы чуть не сгорели, да я вытащил вас, перенес сюда.

Они помолчали, вновь переживая страшные минуты ночи. "

— Значит, ты нас спас? — сказала Зильке.

— Ничего особенного, — заметил Карл. — Супер обязан был спасти нас.

— Конечно, как же иначе...

— Сделай что-нибудь, чтобы мы скорее попали домой.

— Скоро не получится. Отдохните немного, а потом мы пойдем. Правда, обувь у вас не для леса, ноги наломаете.

— А ты вызови экранолет.

— Придем в селение, там вызовут...

— Я есть хочу, — капризно сказала Зильке.

Супер посмотрел на нее, на Карла, вздохнул и пошел в лес. Остановился поодаль, сказал полуобернувшись:

— Вы тут пока разведите костер, обсушитесь, я сейчас приду.

— Как это — развести костер? — изумился Карл.

— Обыкновенно. Зажигалки, что ли, нет? Возьмите мою.

Все так же, не оборачиваясь, он кинул через плечо плоскую черную коробочку, она упала на кучу веток возле ног Карла.

— Я не знаю... что значит развести костер.

Тогда Супер обернулся, удивленно воззрился на людей.

— Пусть она этим займется...

— Я не могу, — пробормотала Зильке.

— Девчонка не может разжечь костер! Ну и бестолочь!..

— Ты знаешь, как она танцует?! — взвился Карл.

— А костер разжечь не может. Пожалуй, и мясо не сумеет зажарить?..

— Что?! — в ужасе воскликнула Зильке.

— Хоть и Супер, а, видно, одичал в лесу, — попытался успокоить ее Карл.

Ворча что-то себе под нос, Супер быстро сложил пирамидкой сырые ветки, насовал под них какой-то трухи, щелкнул зажигалкой, и вся эта куча вдруг окуталась белым дымом, сквозь который все чаще начали пробиваться розовые стрелки огня. Живого, открытого огня, какого ни разу не приходилось видеть ни Зильке, ни Карлу.

— Грейтесь пока, я скоро приду.

— Не уходи! — закричала Зильке. — Я зверя боюсь.

— Какого зверя?

— Большого, с рогами...

— Так это корова. — Супер засмеялся, несказанно удивив Карла. Никогда он не видел, чтобы роботы смеялись.

— Она на нас напала. Если бы не Карл...

— Корова напала?

— Прямо кинулась.

— Она недоеная, вот к людям и тянется. Я не успел подоить, с вами провозился.

— Все равно страшно...

— А вы подоили бы, и все дела.

— Как это?

— Подергать за соски, чтобы молоко пошло...

— Это не наше дело, — с вызовом сказал Карл.

— А что ваше дело?

— Я рисую, а Зильке танцует. Ты знаешь, как она танцует?! — снова не удержался он от восторженного восклицания.

— Бедные вы, бедные, — сочувственно закивал Супер. — Вы же ничего не умеете.

И снова Карл удивился, до какой степени могут перерождаться роботы, даже Суперы, оторванные от своих обязанностей. Не понимают, что для того и создаются роботы, чтобы брать на себя всю работу, пре-

доставив людям возможность свободно размышлять, мечтать, наслаждаться радостями жизни. Человеку — человеческое, роботу — роботово. А этот одичал, жалеет человека, достигшего вершин благополучия.

Супер ушел, пообещав принести что-нибудь поесть, а Карл опасливо подсел к костру, почувствовал тепло, какое-то незнакомое, проникающее, словно живое. Привыкший настороженно относиться к выходам всякой энергии, здесь он почему-то потянулся руками к костру. Словно вместе с тепловой энергией от костра исходило еще что-то, заставляющее проникаться к нему доверием. Тепло укутывало его, баюкало в мягких добрых ладонях, погружало в дремоту...

Очнулся он от каких-то необычных звуков. Рядом что-то коротко мирно посвистывало. «Что это такое?» — подумал он сквозь дремоту. Просыпаться не хотелось. Странное, никогда прежде не испытанное успокоение приносили эти звуки. Словно он слышал их когда-то давным-давно. И знал, совершенно был уверен, что, пока звучат эти короткие посвисты, ничего плохого произойти не может.

— А ты красивая, — услышал он голос Супера. И вслед, сразу же, незнакомо радостный смех Зильке.

Короткие посвисты исчезли, и Карл приоткрыл глаза. Первое, что увидел, — большие загнутые рога коровы. Супер и Зильке сидели на корточках под ее толстым боком.

— Пей, — сказал Супер. — Молоко вкусное.

Зильке снова тонко, будто притворно, засмеялась, и Карл поразился ее поведению: сколько он говорил ей ласковых слов, а она никогда так не хихикала, всегда была резка и капризна. И вдруг перед роботом...

— А почему на тебе комбинезон робота? — спросила Зильке, чмокая от удовольствия. Карлу тоже захотелось пить, но он не пошевелился, притворился спящим: интересно было узнать, что еще выкинет эта глупая девчонка.

— Очень он крепкий, комбинезон, хорош для леса, не рвется.

— А почему у тебя такое имя — Супер?

— Отец назвал. Раз, говорит, мы живем в лесу, значит, должны уметь делать все, как суперроботы.

— А почему вы живете в лесу? Здесь же все приходится делать самим.

— Именно потому и живем. Ты об умельцах слышала?

— О роботах?

— Нет, о людях. Они считают, что нельзя все перекладывать на роботов. Труд создал человека, именно труд, а не пустые умствования. Впрочем, даже способностью думать, мечтать человек обязан труду. Простому умению делать что-то руками. Именно своими руками, а не чьими-либо другими. Так вот, умельцы считают, что человек деградирует, если за него все будут делать роботы. И они создали своего рода заповедные зоны, где люди все делают сами...

— Они что же, совсем не пользуются машинами?

— Пользуются, но лишь в тех случаях, когда без помощи машин не обойтись. Когда машины помогают, а не заменяют. Чувствуешь разницу? Там, в городах, люди стремятся как можно больше работы переложить на роботов. Умельцы стараются все делать сами...

— Но это же трудно! — перебила его Зильке.

— Что трудно?

— Ну все делать самим. Когда же радоваться жизни?

— Почему-то вы, живущие там, считаете, что радость только в мечтах да в танцах. А по-нашему так нет радости выше той, что испытываешь, когда что-то сделаешь сам. Радость, приходящая через руки, — высшая радость. Именно она создала человека, и потому человек — жизнелюбивое существо. Именно радость созидания ведет человека через века и тысячелетия.

Ведь это же так здорово, когда удастся что-то сделать самому!..

— Ты умелец? — снова перебила его Зильке.

— Какой я умелец?! Я многого еще не умею.

— Какой ты умный! — тихо сказала Зильке.

Вслед за этими ее словами наступила тишина. И вроде бы даже корова перестала смачно жевать, и ветер замер в вершинах деревьев. Карл приоткрыл глаза и увидел, что Зильке сидит, положив голову на плечо Суперу.

Теперь ему, Карлу, ничего не оставалось, кроме как лежать неподвижно, ничем не выдавая себя, и ждать, ждать, когда Зильке опомнится...

## РАССКАЖИТЕ МНЕ О МЕЦАМОРЕ

Над горными вершинами висела багровая тяжесть туч. Черные тени ущелий были как траурная кайма. Печаль сжимала сердце, и слезы душили, горькие слезы неизбежного расставания.

— Мы разлучаемся! — возвещал чей-то громовой голос. — Но мы встретимся, встретимся, встретимся!..

Толпа шумела, расслаивалась на две колонны. И они, эти две колонны, уходили в разные стороны. И багровые тучи переваливали через горы, текли вслед за людьми, затмевая долину.

— Мы встретимся, встретимся! — гудел голос. — И в единстве будем неодолимы!..

Я видел все это со стороны, и я был в этой толпе, и, как всегда бывает во сне, не понимал, где и что я, и не удивлялся своему непониманию...

— Черви козыри, черви, а не крести! — донесся из-за двери сердитый голос соседки тети Ньюры.

Я открыл глаза и первое, что увидел, — цветную панораму гор, приколотую надо мной к пестрым обоям. Это была моя самая любимая картинка из всех, висев-



ших в комнате. Я вырезал ее из какого-то заграничного журнала и каждый раз, ложась спать, любовался величественным видом.

Горы были моей слабостью. Каждую весну я мечтал махнуть на Кавказ с какой-нибудь туристской группой. Но каждый раз мечта оставалась мечтой, поскольку летом надо было ехать в поле с очередной геологической экспедицией. И наш шеф, профессор Костерин, еще с зимы начинал внушать молодым и нетерпеливым аксиому: геолог, уезжающий летом в отпуск, — это не геолог...

— Вот ведь лежит и даже погулять не сходит, — сказала мама тете Нюре, с которой играла в карты в соседней комнате, громко сказала, явно в расчете на то, чтобы я услышал.

— Некогда! — крикнул я через закрытую дверь.

— Тридцать лет ведь мужику, жениться пора, а ему все некогда, — завела мама свою привычную пластинку.

Я молчал, разглядывая горные долины, ущелья, густо-коричневые срывы скал. Почему меня тянет в горы? Вырос в Москве, сроду не видел никаких гор, кроме Крымских, да и то в детстве, когда мама еще могла не ограничиваться уговорами и увозила меня на лето к морю.

— ...Этак ведь и умру, не дождусь внучонка покачать...

Я знал: если и теперь промолчать, то мама, чего доброго, заплачет. Горько ей, одиноко со мной одним. Полгода в экспедициях, полгода дома за книжками. И поговорить некогда. В прошлом году мама завела кошку. Но что кошка? Ластится, когда ей надо, а когда не надо — уходит, не сыщешь. Теперь вот тетя Нюра выручает. Одинокая она, и время ей девать некуда. Да только ведь от телевизора да от игры в «дурака» и одуреть можно.

— Невесты на дорогах не валяются! — крикнул я.

— Конечно, не валяются, — обрадовалась мама уже тому, что я заговорил. — Что за невеста, которая валяется. Хорошие невесты делом занимаются, ходят. Или, по крайней мере, стоят, как вон та, у магазина. Нью-ур! — позвала она так, чтобы я расслышал. — Поди-ка погляди. Ну есть же такие красавицы!..

Это было что-то новое, и я встал, вышел в соседнюю комнату. Мама и тетя Нюра и в самом деле стояли у окна, глядели на улицу.

— Ты погляди, ты только погляди! — обрадовалась мама, увидев меня.

— На всех глядеть — гляделок не хватит, — демонстративно зевая, сказал я. Однако подошел к окну, выглянул. Девушка и в самом деле была необыкновенно хороша. Это я понял сразу, даже не разглядев как следует ее лица с высоты нашего пятого этажа. Она стояла возле широкой витрины магазина и читала книжку. Она не выделялась ничем ярким — скромный костюмчик, длинные, но в общем-то обычные волосы на плечах. Только было в ее фигуре, в осанке что-то заставляющее глядеть и глядеть.

Забыв о том, что мама наблюдает за мной, я кинулся в свою комнату, принес бинокль. Глянул и обомлел: девушка была поистине красавицей. Но что удивительней всего — она показалась мне знакомой.

— Кто это? — спросил я.

— Пойди да узнай, — сказала мама.

Легко сказать! Я смотрел в бинокль, разглядывал каждую черточку ее строгого, чуть холодного, какого-то восточного лица, млел от неведомого мне восторга и не смел даже подумать о том, чтобы подойти к такой заговорить.

И тут к ней подступили три длинноволосых оболтуса из тех, что слоняются по улицам не менее, чем по трое, и пристают к людям от тоски и безделья. Девушка попыталась уйти, но они загородили ей дорогу. Даже издали было видно, что разговор был отнюдь не

джентльменский. Они прижали ее к стене, тянули к ней лапы, а она все беспомощно искала кого-то через их головы. И вдруг заплакала. В бинокль я ясно увидел блеснувшую слезинку на щеке.

Эта слезинка что-то перевернула во мне. Неожиданные для меня горечь и ненависть петель захлестнули горло, и я кинулся по лестнице вниз.

— Вы чего пристали?! — крикнул, подбегая к парням, не сводя глаз с девушки.

— Иди, дядя, иди, — беззлобно сказал один из них.

Не было бы девушки, я бы на это «дядя» не обратил внимания. А тут просто взбесился.

— Ишь, племянник выискался! — заорал я. — А ну отойди!..

При этом, как потом выяснилось, я схватил парня за руку, тот, недолго думая, ударил меня по рукам. Тогда я ткнул его в плечо, на что тот ответил ударом под дых, да, видно, не попал, поскольку я врезал-таки ему в ухо.

А дальше я не помню. Очнулся от того, что кто-то коснулся моей щеки горячей, прямо-таки раскаленной ладошкой. Открыл глаза, увидел, что лежу в своей комнате, а надо мной — глаза этой девушки. Было в них столько сострадания, что мне стало жаль ее. И я дернулся, стараясь встать.

И вдруг эти глаза распахнулись широко, наполнились страхом. Да, да, страхом, даже ужасом, это я точно понял и сам испугался за девушку, заметался глазами, стараясь понять, что могло так испугать ее. Рядом стояли заплаканная мама, тетя Нюра с мокрым полотенцем в руках и еще какой-то парень, красивый, темный лицом, чернявый. Но все это я заметил лишь мельком, потому что снова перевел глаза на девушку. Почему-то я боялся, что она исчезнет. Теперь девушка смотрела на меня совсем по-другому, без страха, но с таким неистовым любопытством, словно я был по меньшей мере киноактером Бельмондо. Было ей года двадцать два, никак не больше. Я поморщился, подумав о

своих тридцати годах, сразу понял: старик в ее глазах. Тут подскочила мама, оттеснила девушку, принялась поправлять что-то мокрое у меня на голове, запричитала слезливо:

— Хулиганы проклятые... На улицу не выйдешь... Разве можно человека по голове...

— Извините, что так вышло, — сказал парень, наклоняясь ко мне. — Это все я виноват. Не надо было оставлять сестру одну...

«Сестру», — отметил я про себя и улыбнулся обрадованно, привстал.

— Лежи, лежи, веселого мало, — всполошилась мама. — Сейчас доктор придет, что еще скажет.

Я отстранил от лица мамы руки, и девушка поняла, чего я хочу, снова наклонилась ко мне.

— Я вас где-то видел, — сказал я, мучительно напрягая память.

— И я вас... видела. — Она вопросительно посмотрела на брата. Тот опустил глаза.

— Я серьезно говорю.

— И я... серьезно, — сказала она, с удивлением рассматривая мое лицо.

Мне показалось, что она что-то знает и чего-то недоговаривает.

— Где вы живете?

— Из Еревана мы, дорогой, из Еревана, — решительно вмешался парень. — Ануш никогда не была в Москве. Первый раз ее привез столицу показать.

— Показал, — тотчас съязвила тетя Нюра.

— Вы Ануш? Аня, значит? Можно, я вас так буду называть?

Девушка кивнула и покраснела, отчего ее смуглое лицо, потемнев, стало еще красивее. И я понял, почему она покраснела: потому что своим «так буду называть» я как бы назначал ей свидание.

— А меня зовут Виктор...

Тут пришел врач — строгая пожилая женщина, —

и она принялась бесцеремонно крутить мою голову в сильных сухих ладонях.

— Тут болит? Голова кружится? Тошнота есть? — сыпала она вопросы.

Затем села к столу, с завидной уверенностью выписала рецепт и ушла, кивнув с порога:

— День-два покоя. Если что — к участковому.

И исчезла, оставив в комнате ощущение покоя. Так бывает после грозы, когда уже отбушевали вихри и над землей растекается облегчающая расслабленность.

— Извините, нам пора, — сказал парень.

— Вы где остановились? — выдохнул я.

— У знакомых.

— У знакомых? Зачем же у знакомых? Оставайтесь у нас...

— Витя! — Мама с испугом посмотрела на меня.

— Мы сегодня на поезд, — понимающе улыбнулся парень. — Приезжайте лучше вы к нам. Горы, как видно, любите? — кивнул он на картинку на стене и протянул руку. — Меня зовут Гукас. Адрес я оставил.

— Приезжайте, — тихо сказала девушка, опустив глаза. И тут же вскинула ресницы, снова уставилась на меня своим испуганно-удивленным взглядом.

Она вдруг торопливо полезла в сумочку, вынула небольшую красную книжицу, положила на стол.

— Это... на память...

— Спасибо. Я провожу вас...

Мне не дали договорить. Все, и даже Ануш, так горячо запротестовали, что я растерялся...

И снова уютная тишина была в моей комнате. Я гладил пальцами подаренную книгу, сотый раз рассматривал золотое тиснение на обложке — «Песни и легенды Древней Армении». За приоткрытой дверью бубнил телевизор и, не обращая на него внимания, разговаривали мама и тетя Нюра, обсуждали случившееся.

— А как она на него смотрела!..

— Ты видела?

— А он тоже с нее глаз не сводил. Вот тебе и невестка.

— Она же нерусская! — ревниво воскликнула мама.

— А не все ли равно. Детки-то и у нерусских рождаются.

— Да ты что! Чужое семя.

— А-а! — Слышно было, как тетя Нюра сердито бросила на стол колоду карт. — Если разобраться, так все мы из одного семени.

— Ты об Адаме и Еве, что ли? Так я неверующая.

— А и без Адама и Евы все мы из одного корня...

Почему-то мне было приятно слушать их.

— Тише ты, — сказала мама, — Витю разбудишь.

Она встала и плотнее прикрыла дверь. А я все лежал с книгой на груди, смотрел нагорную грядку, приколотую к стене, и слушал, как звенит что-то во мне, как потягивается, медленно переворачивается сердце в сладкой истоме. И прикидывал, как получше сказать шефу, что этим летом я не смогу поехать с экспедицией, никак не смогу.

А потом раскрыл наугад книгу. «Оровел, Оровел... Вот восток зарозовел...» — прочел в попавшейся на глаза песне пахаря, и мне было приятно, что армянское «оровел» похоже на старорусское «оратай» — пахарь. Я начал искать другие похожести и обрадовался, узнав, что «возлюбленная» по-армянски — «яр» — перекликается с русским «яркий», «ярило-солнышко». А кислое молоко — «мацун» показалось мне родственным нашему «мацуха-мацоха-мачеха». Прочел в одном месте: «Божьей волей плуг спустился. С неба в поле вдруг спустился...» И вспомнил древнеславянскую легенду о том, как плуг упал с неба... Трепетные ниточки, связывающие меня с Ануш, я находил чуть ли не на каждой странице. Понимал: чего не найдешь, когда очень хочешь найти. И все же радовался каждой похожести.

Потом перевернул сразу несколько страниц и стал

читать легенду: «Над горными вершинами висела багровая тяжесть туч. Черные тени ущелий были как траурная кайма. Печаль сжимала сердце, и слезы душили, горькие слезы неизбежного расставания. Толпа шумела, растекаясь на две колонны, уходила по двум темным ущельям в разные стороны.

— Мы разлучаемся, — громко провозгласил вождь. — Но мы встретимся и в единстве нашем будем неодолимы...»

Я не сразу осознал, что происходит. Первая мысль была: сплю и снова вижу тот же сон. Встал, выглянул в окно. За окном над городскими крышами тлел неяркий закат. Небо было чистое, обещавшее назавтра хорошую погоду. С улицы донесся шум проходящего трамвая, похожий на порыв ветра. За стенкой ликовал по телевизору очередной музыкальный ансамбль и слышались голоса мамы и тети Нюры, как всегда равнодушных к телевизионным восторгам. Все было на своих местах. Но ведь даже если снится черт-те что, мы уверены: так и надо. Как проверить, что не сплю, не свихнулся и вообще, что все в порядке?

— Ма-ам! — крикнул я, ложась на свою тахту.

Она вошла сразу, словно ждала, что я позову. И тетя Нюра появилась в дверях с ожидающим, тревожным, как у мамы, лицом.

— Что случилось? Тебе плохо?

— Н-нет, хорошо.

— Еще бы нехорошо! Такая девушка, — сразу вмешалась тетя Нюра.

— Что ты болтаешь?! — напустилась на нее мама. — У мальчика сотрясение мозга.

— Сотрясение сердца у него, али не видишь?

Мама возмущенно замахала руками, не зная, что и сказать на такое, вытолкала тетю Нюру из комнаты и закрыла дверь.

— Мам, а она что, тебе не понравилась? — спросил я. — Ты же сама ее заметила.

— Мало ли что заметила! Почему я знала, что она бог знает откуда.

— Что ты, мама! Она такой же советский человек, как и мы.

— Мало ли что советский. Там и говорят-то не по-нашему, и делают все не так.

— Как это «не так»?

— Очень просто. Далеко больно...

Мне было смешно слушать такое: сама все уши прожужжала, чтобы женился, а когда наконец-то нашлась девушка, которая мне понравилась, мама — на попятную. Ох уж эта материнская ревность: как же, ее тридцатилетний птенчик, чего доброго, вылетит из гнезда. Мне было смешно, но я готов был слушать и говорить, говорить об Ануш. Мама, как видно, поняв это, заторопилась, пощупала мне лоб, поправила плед, накиннутый на ноги, и вышла, тихо притворив дверь.

А я снова принялся читать поразившие меня строки. Все было написано точно так, как мне приснилось. Дальше в легенде говорилось о том, как воины разделились на два отряда, чтобы сопровождать уходившее по горным ущельям население. Все понимали: сила в единстве. Но враг был намного сильнее даже объединенного войска. Не велика честь героически пасть на поле боя, если народ останется беззащитным. И решено было не принимать последнего боя, а разделиться и уйти по разным дорогам. За кем ринется враг, никто не знал, но каждый готов был пожертвовать собой, чтобы спасти другого.

«...Два воина стояли перед вождем, два его любимых военачальника, два родных брата. Город лежал у их ног, непривычно тихий, опустевший.

— Буду я или не буду, все это, все драгоценные камни — ваши. Когда снова встретитесь — владейте. — Он простер руки, и небо вспыхнуло на севере, и небо вспыхнуло на юге, куда уходили люди...»

Вот этого последнего я в своем сне не видел. Мо-



жет, забыл, как забываются сны с пробуждением. Но остальное помнил очень хорошо. Было даже странно от того, что все так совпадало. Что это? Откуда взялись во мне эти видения народа, уходившего по двум разным дорогам? Может, читал когда? Я напрягал память и не мог вспомнить. И почему это приснилось мне именно сегодня, в тот самый момент, когда Ануш уже стояла под моим окном и читала книжку с этой легендой, повторяющей мой сон? Точнее сказать, сон повторял легенду, которую читала Ануш. Да, конечно, Ануш читала именно легенду — в чем я уже не сомневался, — и это каким-то образом передалось мне.

Но почему передалось? Совпадение? Случайность? Как мне не хотелось в тот момент, чтобы это было случайностью! И я лежал и размышлял о закономерностях, пронизывающих все на свете.

А существуют ли вообще случайности? Случайно ли взгляд Ньютона остановился на падающем яблоке? Случайно ли Менделееву приснилась его знаменитая таблица? Они все время думали об этом? Но теперь мне казалось, что и я думал о своем. Не случайно же повесил у себя над кроватью вид гор. Не потому ли мы верим в существование случайностей, что пытаемся измерить нечто бесконечно большое крохотными мерами наших представлений? Так маленький паучок-водомерка стал бы измерять ширину прибрежной струи и по направлению ее делать вывод о течении реки. Откуда паучку знать, что в зависимости от ветра, от рельефа дна отдельные струи, особенно возле берегов, могут течь и поперек реки, и даже в обратном направлении.

Не так ли и судьбы наши вплетены в общий поток великой реки времени? А мы, закрутившиеся в местных водоворотах, запутавшиеся в мелких струях, сталкивающиеся на перекатах, замутившиеся до неузнаваемости, все забываем, что являемся частицами великого потока, что устремленность вперед каждого из нас, всех вместе, составляет общее течение. Недаром фило-

софы считают, что случайность — лишь форма проявления необходимости. Необходимости!..

Это моя мама верит в случайности и вот уже второй год пытается обыграть в «дурачка» нашу соседку. Она берется за карты каждый раз, когда на телеэкране начинается очередная скукота, и нетерпеливо сдает, упорно надеясь, что именно теперь случай пошлет одни козыри. Но случай подыгрывает одинаково и маме, и тете Нюре. В этом непостоянстве он поразительно постоянен, не давая никому взять решительный перевес. Сейчас счет — 565 на 568 в пользу мамы. Но я уже совершенно точно знаю: завтра или послезавтра счет будет в пользу тети Нюры. Казалось бы, где еще и господствовать случайности, как не в игре в карты? А и там в конце концов все подчинено закономерности: при большом числе раскладок карт козыри ложатся поровну — налево и направо. Был бы верующим, сказал бы: так диктует закон высшей необходимости, целесообразности, справедливости, наконец...

Удивительно, как охотно подгоняем мы наши убеждения под наши потребности. Мы куда быстрее верим тому, чему хотим верить, что нам больше нравится. Разговоры о чистом объективизме и абсолютной истине, по-моему, миф. Человек не волен отрешиться от человеческого, сверхчеловеков нет. И кто знает, может, от этой эмоциональности разума и зависит все наше величие?..

И вдруг я увидел себя внизу, возле магазина. На том самом месте, где стояла Ануш, топтался теперь какой-то тип, похожий на кого-то, очень хорошо мне знакомого. Я шагнул к нему, дернулся и едва не свалился со своей тахты. Книжка валялась на полу, а в комнате было совсем уж сумрачно. Вот ведь сам не заметил, как заснул и развел во сне философию. Никогда такого не замечал за собой. Но теперь это меня не удивило: после всего случившегося недалеко и до видений.

Однако мне очень даже понравилась мысль, что встре-

ча с Ануш никакая не случайность. Я убеждал себя: случилось то, что должно было случиться. И из этого убеждения очень скоро вывел интересующее меня продолжение: судьбе не следует противиться и надо поскорее ехать в Ереван.

Я вскочил, прошелся по комнате, готовый мчаться туда хоть сейчас и остро жалея, что поддался уговорам и не поехал провожать. А с другой стороны, чего бы я помчался следом за Ануш? Посторонний ведь. Что бы она подумала? Что бы подумал ее брат?

Я снова лег и раскрыл книгу. И каждая строчка была для меня откровением, песнопением сладостным:

Милая, ты в благодатном саду  
Тонкими пальцами гроздь срываешь,  
Взглядом случайным мне сердце пронзаешь...

О господи! Я кинулся к своим книжным полкам. Хотелось немедленно, сейчас же найти что-нибудь об Армении, о Ереване. И к моему удивлению, нашел. Не только обширные статьи в энциклопедии, но и разные краеведческие книжонки, которые неизвестно зачем покупал когда-то, но до сегодняшнего дня ни разу не брал в руки.

Армения! Крохотная, самая маленькая из наших национальных республик. И в то же время страна одной из самых древних культур. Не веками — тысячелетиями измеряется возраст уцелевших до наших дней исторических памятников. Армения, перед величием которой многие снимали шапки.

Я с удовольствием выписывал из книг свидетельства этого преклонения. Байрон говорил, что страна армян навсегда останется одной из наиболее насыщенных чудесами стран на земном шаре. Ему вторил Рокуэлл Кент: «Если бы меня спросили, где на нашей планете можно больше всего встретить чудес, я назвал бы Армению. Невольно удивляешься, как можно на таком не-

большом участке земного шара встретить столько крупных шедевров». «Средневековая армянская лирика есть одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира» — так заверял Валерий Брюсов. В V веке Мовсес Хоренаци уже пишет двухтомную «Историю Армении». Тогда же Месроп Маштоц создает армянскую письменность. А до этого народы, живущие на Армянском нагорье, знали клинописное письмо. А еще раньше — иероглифическое. Это добрых две тысячи лет до нашей эры. А еще и раньше писали какими-то пиктограммами. Прямо страх берет от такой бездны времен. И крупнейший-то металлургический центр древности найден в Армении. И сам Ереван чуть ли не старейший город мира: без шума, без бума отпраздновал, оказывается, 2750-летие. И еще и еще что-то самое-самое, о чем я забывал, но что все больше переполняло благоговением мое и без того привязанное к Армении сердце...

Недели две я не вылезал из библиотеки. Потом поостыл. Только что-то сладко ныло в душе моей каждый раз, как выглядывал из окна, или брал в руки подаренную книжку, или видел на улице девушку, чем-то похожую на Ануш. Прежде не верил в любовь с первого взгляда, а теперь радовался каждой возможности рассказать о случившемся со мной и даже не обижался, когда приятели посмеивались. Я словно бы ждал чего-то, все время ждал.

И дождался.

Вечер был в тот раз тихий и теплый, совсем летний. Весной, когда выпадают такие теплые вечера, что-то меняется в людях. Добреют они, что ли? А может, окончательно спадает наконец зимняя тоска по теплу? На улицах тогда полно людей, и никому не хочется домой. И мне тоже не хотелось идти домой, стоял возле магазина на том самом месте, где когда-то стояла Ануш, и вспоминал ее. Люди шли мимо, оглядывались на меня. Я не придавал этому значения, привык за послед-

ние две недели. Видно, появилось в моем лице что-то блаженное, привлекающее внимание.

И тут я заметил, что за мной пристально наблюдает какой-то тип кавказской наружности — смуглое сухощавое лицо, небольшие усики, напряженный взгляд быстрых черных глаз. Раз он прошел мимо, посмотрел искоса. В другой раз уставился с любопытством, как на музейную достопримечательность. А потом и вовсе остановился напротив. И было в его глазах что-то особенное — изумление, даже ужас, как тогда у Ануш.

— Чего надо? — спросил я беззлобно.

— Вы... Виктор? — неожиданно спросил он.

— Допустим.

— Вас нельзя не узнать.

— Это почему же?

— Поразительно. Ануш говорила, но я не верил...

Ануш! Это было для меня как пароль.

Через пять минут я уже представлял этого человека моей маме:

— Сорен Алазян, геофизик, кандидат наук, знает Ануш...

А еще через четверть часа мы изливали друг другу душу, как старые добрые друзья.

— Не понимают, — жаловался он на кого-то, — а многие не хотят понимать. Привыкли считать, что разделение труда, давшее такой сильный толчок общественному развитию, порождено рабством. И будто бы без рабства человек не мог додуматься до общественного единения. Откуда такое неверие в человека? Почему не допустить, что племена могли добровольно объединяться, а люди добровольно подчиняться старшим? «Рабство — неизбежный этап общественного развития!» — передразнил он кого-то. — А в Индии рабов вообще никогда не было, только домашние слуги. И многие народы миновали стадию так называемого классического рабства...

Я слушал, глупо улыбаясь, и ничего не понимал. Но не перебивал.

— Рабство привело не к разделению труда, а к его разобщению и развращению. Захваченные в рабство люди делали у купившего их рабовладельца чаще всего то же, что и на свободе, только из-под палки. Недаром во время войн сохраняли жизнь ремесленникам. Рабство создавало безумную концентрацию средств в одних руках. И эти средства обращались, как правило, на разрушение, а не на созидание, на содержание захватнического войска. Если что и сооружалось, то лишь помпезное, вроде пирамид — этих памятников человеческой глупости...

— Пирамиды величественны, — возразил я.

— Вот, вот, мы еще несем в себе эту заразу рабства. Нелепое считаем величественным, как и хотели того рабовладельцы-фараоны. А зачем они, пирамиды? Зачем такая безумная трата человеческого труда?

— Но ведь красиво...

— Да?! — воскликнул он прямо-таки с восточной страстью. — А что, если бы мы перестали строить школы и заводы, сажать леса и рыть каналы, а всем народом начали сооружать памятник величиной с Арарат! Красиво же. Чтоб удивить потомков.

Я попытался направить разговор в интересующее меня русло.

— Как там Гукас, Ануш?..

— А что? Все хорошо. Ануш-то и рассказала мне о вас. А я и без того в Москву собирался. Надо было повидаться тут кое с кем, поговорить насчет Мецамора.

— Чего? — неосторожно спросил я.

— Мецамора. Он-то как раз и доказывает: было разделение труда в дорабовладельческую эпоху.

— Кто?

— Да Мецамор же. Вы не знаете о Мецаморе?! — воскликнул он с такой энергией, что мама испуганно заглянула в мою комнату — не буянит ли. — Меца-

мор — это... это... — Он вскочил, заметался по комнате. — Мы считаем себя цивилизованными людьми и убеждены: все, что было до нас, — никакая не цивилизация, а так, дикость, первобытный строй. Мы ведем свою цивилизацию от первых рабовладельческих государств и тем распишемся: наша цивилизация — рабовладельческая. И это верно. Чем капиталистический строй отличается от рабовладельческого? По существу, ничем — то же отчуждение труда от человека, человека от труда... Но это особый разговор. Сейчас мне хочется сказать, что цивилизаций в истории человечества было немало: индийская, китайская, арийская, наконец, во многом загадочная, великая, оставившая много такого, без чего мы поныне обойтись не можем...

— Ну как же, — перебил я его, не понимая, зачем он мне все это рассказывает. — Цивилизация есть цивилизация. Самолеты, например...

— И баллистические ракеты, — вставил он.

— Искусственные материалы, успехи химии...

— Отравленные реки, экологический кризис...

— Электроника! — выкрикнул я. — Атомная энергетика! Освоение космоса!..

Он оперся о стол, наклонился ко мне и прошипел угрожающе, словно я был в чем-то виноват:

— И ядерные бомбы, готовые смести, выжечь не только породившую их цивилизацию, но и вообще человечество!..

Это было уже скучно слушать. Сколько можно?! Радио об этом говорит, газеты пишут, неужели еще и за столом?..

— Неинтересно? — догадался Алазян. — Все правильно. Равнодушие и усталость — верный признак вашей чудо-цивилизации, точнее, ее заката.

— Чего вы хотите? — взмолился я.

Он долго смотрел на меня, сожалеюще смотрел, с какой-то глубокой печалью в глазах.

— Вам надо поехать в Ереван, — сказал наконец.  
— Прямо сейчас? — усмехнулся я.  
— Прямо сейчас. Нерешительность, бездеятельность, откладывание на завтра — это тоже признаки вашей цивилизации...

Он так и сказал «вашей», словно сам был из другой.  
— ...Там вы поймете, зачем я вам все это говорю.  
— А зачем вы мне все это говорите?  
— Вам это должно быть интересно.  
— Мецамор?  
— Не только, — ответил он. — Мецамор — важнейший аргумент. Это вам и Ануш скажет.  
— Ануш? Она-то при чем?  
— Вот тебе на! Да она же первый энтузиаст Мецамора.

Теперь это слово — Мецамор — звучало для меня, как небесная музыка. Я готов был без конца его повторять, петь, наконец. Теперь я хотел знать о Мецаморе все. Но Алазян вдруг начал говорить совсем о другом — о великой цивилизации, развившейся в бог весть какие давние времена на юго-востоке Европы и своей высокой культурой оказавшей огромное влияние на многие народы.

— Как они сами называли себя — никто не знает, — горячо говорил Алазян, — но сейчас мы их зовем ариями, или арьями. От них остался язык. Да, наш с вами. Армянский и русский, все славянские, фригийский, фракийский, греческий, персидский, латинский, испанский, немецкий, французский, итальянский, румынский — да разве все перечислишь! — санскрит, наконец, — все от индоевропейского праязыка. Недаром индийские лингвисты, приезжающие в Москву, уверяют, что русские говорят на какой-то из форм санскрита. Ни более, ни менее. А можно сказать и наоборот: в Индии говорят на видоизмененном русском языке. И это тоже будет правильно. Но ведь язык не переселялся сам собой, его несли люди. А как они должны были идти из



Юго-Восточной Европы в Индию? Только обтекая Черное море с юга или с востока. А на пути что? Армянское нагорье. Хоть с севера на юг иди, хоть с запада на восток — не миновать наших гор. Они на перекрестке всех переселений народов. И естественно: культура народа, жившего там, обогащалась всем лучшим. Так можно объяснить, что возник Мецамор...

— Да что это такое? — воскликнул я. Очень уж не терпелось узнать, чем таким увлечена Ануш.

— Мецамор — это недалеко от Еревана. Там найдены материальные остатки высокой цивилизации, существовавшей за три-четыре тысячелетия до нашей эры.

Сказал он это торжественно. Выжидающе посмотрел на меня и спросил:

— Вы скажете, что переселение ариев на восток происходило во втором тысячелетии до нашей эры?

Я ничего такого говорить не собирался, но на всякий случай кивнул.

— Правильно, во втором. Но это доказывает лишь то, что местные народы до прихода ариев тоже имели высокую культуру. И это доказывает, что арии пришли как добрые соседи — не уничтожать и захватывать, а делиться тем, что имели, что знали. Центр древней металлургии, найденный на Мецаморе, не прекращал свою работу.

— Интересно, — сказал я. Просто так сказал, чтобы согласием своим умерить лекционное рвение Алазяна. Но только подлил масла в огонь. Положительно нельзя было понять, как себя вести: что бы ни сказал — «интересно» или «неинтересно», — все вызывало эмоциональные взрывы у этого человека.

— Вы еще не так заинтересуетесь, когда все лучше узнаете. А пока запомните одно: еще до прихода ариев было на Армянском нагорье государство. Называлось оно Хайаса. Это была колыбель армянского народа.

— Ну хорошо, хорошо, — попытался я его успоко-

ить. Меня не слишком волновал вопрос: была Хайаса или не было ее.

— Нет, вы запомните. Чтобы потом не говорили.

— Когда потом?

— Когда приедете в Армению.

— Вы меня прямо-таки интригуете.

— Так что, едем? — сразу предложил он.

— Когда? — спросил я, замирая сердцем от так реально представившейся мне возможности увидеть Ануш.

— Прямо сейчас. Зачем откладывать?

— Надо же отпуск оформить.

— Тогда завтра. Утром оформите отпуск, а вечером вылетим. Идет?

— Еще надо билеты достать.

— Это я беру на себя. Вот что, — сказал он решительно. — Я заночую у вас. Чтобы вы не передумали...

Утро, как и полагается, оказалось мудренее вечера. Все получилось просто и хорошо. Мой шеф, профессор Костерин, даже обрадовался, когда я попросил очередной отпуск: до полевого сезона оставался месяц, и я к нему как раз успевал. О билетах вообще беспокоиться не пришлось: каким-то таинственным образом Алазян быстро раздобыл их. Только мама расплакалась, ни в какую не желая меня отпускать, предчувствуя, как она говорила, недоброе. А я даже не утешал ее, совсем потеряв голову от мыслей о близкой встрече с Ануш.

В самолете Алазян был необычно молчалив, только время от времени искоса поглядывал на меня, и в этих его взглядах я порой улавливал какой-то затаенный страх. Потом мне надоело ловить его взгляды, я закрыл глаза и... снова увидел тот же сон: гул толпы, раздававшейся на два потока, на утесе группу воинов, с мечами и копьями, черные горы и кровавое тревожное небо над ними. Гул толпы то затихал, то нарастал, резью отдаваясь в ушах. Тоска больно сдавливала грудь. Я с усилием глотал слезы, чтобы унять эту боль, и все

тянул голову, стараясь отыскать в толпе Ануш. Но ее нигде не было.

И вдруг один из тех, что стояли на утесе, выступил вперед. И я узнал его: это был тот самый человек, что привиделся мне во сне, когда я валялся на своей тахте. Только тогда он был в джинсах и рубашке-безрукавке и стоял возле магазина у меня под окнами. Сейчас же не было ничего летне-легкомысленного ни в его облике; ни в одежде. Сейчас это был суровый воин, умеющий и жить достойно, и умирать без страха. Он вскинул руки и выкрикнул протяжно уже знакомое: «В единстве необоримость!» — и повернулся, чтобы затеряться в толпе. Но оглянулся и сказал неожиданное: «Наш самолет пошел на снижение. Пристегните, пожалуйста, ремни...»

Алазян смотрел на меня восторженными, сияющими глазами.

— Вам что-то снилось? — спросил он.

— Как вы узнали?

— По лицу.

— Мне этот сон уже второй раз снится.

— Первый раз — после встречи с Гукасом и Ануш?

— До встречи.

— Да?! — разочарованно произнес он.

— Как раз перед встречей.

Я начал рассказывать ему, когда и как это было, а он слушал с таким жадным вниманием, что мне казалось: того гляди потеряет сознание от страшного напряжения.

— А что... что вам снилось?

Я рассказал.

— Где-то я слышал подобное.

— Легенда такая есть.

— Ах да, легенда. — Он снова был до того разочарован, что мне стало жаль его. — Значит, приснилось прочитанное.

— Легенду я прочитал после.

— После? Вы не ошибаетесь?

— Книжку-то мне Ануш дала. Знаете, что я думаю? Когда я спал, она стояла внизу у магазина и читала. Я думаю, она как раз эту легенду и читала, а мне передалось. Близко же, флюиды какие-нибудь. Или случайное совпадение? — спросил я неуверенно, так не хотелось мне, чтобы это было случайным совпадением.

Алазян решительно покачал головой.

— Нет, это не совпадение. Я знаю.

— Знаете?!

— Близость Ануш пробудила в вас...

— Что? — выдохнул я.

— Ну... не знаю что, — ушел он от ответа.

Удовлетворенный, я отвалился на сиденье. И вовремя. Самолет сильно ударился колесами и затрясся, покотившись по земле. Мне не надо было ответа. В тот момент, мне казалось, я хорошо знал, что пробудила во мне близость Ануш...

В аэропорту нас, оказывается, встречали. Было достаточно светло, и я еще издали хорошо видел напряженные лица, удивление, восторг, непонятный страх в глазах встречавших. Я оглянулся на Алазяна. Тот шел, высоко подняв голову, и, кажется, был чем-то бесконечно горд.

— Профессор Загарян, — представлял встречавших Алазян. — Архитектор Тетросян...

Меня разглядывали, как заморскую диковину, мне почтительно жали руки. Я ответно жал руки и все тянул голову, оглядывался, искал Ануш. Но ее не было. И восторженное мое состояние все больше переходило в апатию, в горькую обиду. Зачем было ехать, если Ануш безразличен мой приезд? Потом, когда мы уже сидели в машине, одной из трех, на которых разместились встречавшие, до меня вдруг дошло, что Ереван — не Москва, тут свои традиции. Недаром среди встречавших — одни мужчины. И я уже с веселым недоумением оглядывался на эскорт машин, гадая, кто же такой Алазян, что за шишка, если его так встречают?

Передо мной, таинственная в вечерних сумерках, растилалась земля Армении, розовая в отсветах зари, черная в провалах теней. Цвета были почти такие же, как в моем сне. Я еще не видел ни одного памятника древности, но меня не оставляло ощущение, что все тут сплошной музей. И вдруг мелькнул в стороне характерный конус армянской церкви. И вдруг справа на розовых столбах распростер крылья орел, символ глубокой древности. И вдруг вспомнилось мне, что сам аэропорт — новейший и современнейший — носит имя старейшего — IV века — христианского храма Звартноц...

Все более громкий разговор на заднем сиденье привлек мое внимание. Я оглянулся, разглядел в сумраке почему-то виноватые глаза Алазяна.

— Мы тут спорим, где вам остановиться, — сказал он.

— Да вы не беспокойтесь. Найду же место. Высадите меня у какой-нибудь гостиницы...

В первый миг я подумал, что мы на кого-то наехали, так дружно все закричали. Даже шофер, бросив руль, замахал руками.

— Нельзя обижать людей, — когда все поутихло, сказал Алазян. — Вы наш дорогой гость. Каждый счастлив принять вас у себя дома.

— Зачем же стеснять?..

Снова оглушил взрыв возмущенных голосов. И тут впервые подумалось мне, что все эти люди приехали в аэропорт вовсе не ради Алазяна и сам он появился в Москве совсем не для того, чтобы встречаться с кем-то другим. «Что все это могло значить? Может, это нечто вроде смотрин по просьбе Ануш?» — мелькнула тщеславная мысль. Я побоялся задохнуться — так сдавило горло. И машина словно бы полетела, оторвавшись от земли. И голоса расплылись, удалились, затихли.

— Нет, нет, — сказал я, заставив себя думать о том, что тут какая-то ошибка. «Вероятней всего, они

принимают меня за кого-то другого». И только что млевший в сладкой истоме, я вдруг покрылся холодным потом. Совсем не хотелось мне оказаться тут в роли Хлестакова.

— Почему нет? — воскликнул Алазян, по-своему поняв мои слова. — Не надо так говорить. Мы поедем ко мне. Хорошо?

Я неопределенно кивнул.

— Вот и хорошо. У меня вам будет удобнее. — Он оглянулся на своих соседей, давая понять, что дело решено. — Да им и не до гостей. Один завтра целый день в своей мастерской, другой уезжает к Ануш...

— Кто... уезжает? — вырвалось у меня.

— Тетросян. Не так уезжает, как уходит, — засмеялся Алазян. — По горам не поездишь. Да ему непривыкать...

— Почему уезжает?

Вопрос был нелеп — это я понимал, но не знал, как еще спросить, чтобы узнать об Ануш.

— Хочу дочку навестить.

— Дочку?! — изумился я, только теперь сообразив, что у Ануш и у этого серьезного человека, сидящего за моей спиной, одинаковые фамилии. И еще я понял, что дал маху. Вот к кому надо было напроситься на постой, к Тетросяну.

— Ну да, — спокойно сказал Алазян. Кажется, он до сих пор ничего не понимал, целиком увлеченный какой-то своей идеей, в которой мне явно отводилась немаловажная роль. — Ануш работает на раскопках, а у товарища Тетросяна завтра выходной, вот он и хочет посмотреть, как она там. Что такого?

— Тем более что товарищ Тетросян все свои выходные проводит в горах, — вставил шофер.

— Возьмите меня, а? — взмолился я. — Это же прекрасно — побродить по горам!

— Вы же Еревана не видели.

— Еще увижу.

Я был искренен. Город он город и есть. А меня сейчас тянуло, именно тянуло, прямо-таки нестерпимо хотелось в горы.

Они опять заспорили по-своему на заднем сиденье, и я снова задумался о том, за какие заслуги мне такая честь? Что все это значит? Решил: так уж у них принято, у армян, — оказывать гостеприимство на полную катушку.

Они вдруг замолчали сразу все и объявили решение: ехать мне к Алазяну, а завтра утром Тетросян за мной заедет.

За обочинами дороги расстилалось что-то щемяще-знакомое. Картинок насмотрелся за последнее время или это Ануш так на меня подействовала, только все вокруг не воспринималось мною как чужое. Даже розоватый конус Арарата, светивший из своего заграничного плена, был не просто очередной красивой достопримечательностью, а чем-то до боли родным и близким. А потом пошло и совсем знакомое — белые девятиэтажки, как две капли воды похожие на те, что кольцом обступили за последние годы нашу старую Москву.

Дома у Алазяна уже был накрыт стол и ждали гости. Начались долгие церемониальные представления. После суматошного дня и шумного самолета хотелось тишины и уединения. К тому же Ануш все время стояла перед глазами, и мне хотелось просто помечтать, подышать этим воздухом, попереживать. И я удивлялся, как это люди умеют слушать только самих себя. Гостеприимство — прекрасно, если оно для гостя. Но, как видно, даже гостеприимство, если оно для чьего-то самоутверждения, может превратиться в пытку.

Так думал я, слушая пространные тосты. Чаше всего их произносили в мою честь, что меня не переставало удивлять. Произносили тосты и в честь вечной дружбы армян и русских, и в честь каких-то совместных вековых традиций, и в честь исследователей Мецамора. И скоро никакой пытки я уже не чувствовал, сам что-то гово-

рил, видел, что меня слушают с особым вниманием, и снова говорил.

Я не заметил, как по одному разошлись гости. Мы с Алазяном вышли на широкий балкон, сели в уютные кресла-качалки и стали с высоты рассматривать россыпь огней. Видно, я задремал, потому что вдруг подумал: передо мной в ночи пылают костры врагов, обступивших наш дом, нашу крепость. Не счесть их, огней, и завтра, когда взойдет солнце и погасит костры, враги подступят под стены и снова кинутся на штурм. Они и сейчас там, под стенами, стучат и стучат, долбят камень...

Я очнулся от этого стука. Алазян бил кулаком по перилам, ритмично, словно вколачивая слова:

— ...Разница между народами не так велика, как мы воображаем. Это говорил Джавахарлал Неру. Он же высказывал предположение, что пять тысячелетий назад во всей Азии, от Египта до Китая, существовала общая цивилизация, различные центры которой не были изолированы. Цивилизация с развитыми земледелием, животноводством, культурой. Эта единая цивилизация потом уж разделилась на самостоятельные — египетскую, месопотамскую, индийскую, китайскую... И была цивилизация ариев, может быть, самая великая...

Тут я перебил его и задал бестактный вопрос:

— Вы же физик. Что вам за нужда копаться в прошлом?

Он с удивлением уставился на меня и смотрел долго и пристально.

— Я человек, — весомо сказал наконец. — Я хочу знать, откуда добро и откуда зло.

Но во мне уже сидел бес противоречия. Все мысли мои были возле Ануш, а он, вместо того чтобы рассказывать о ней, второй день мучил меня рассуждениями о бог весть каких давних временах.

— Прошлое умерло. Зачем беспокоить мертвецов. Надо думать о будущем.



И снова он долго глядел на меня, с болью глядел и состраданием, как на тяжелобольного. Затем выговорил устало:

— Прошное не умирает. — Еще помолчал и добавил: — Не будь вы тем, кто есть, я бы вас перестал уважать.

Наступила тягостная тишина. Снизу доносился шум улицы, но он словно бы и не нарушал тишины. Из чье-го-то раскрытого окна слышались магнитофонные ритмы, где-то перекликались разлученные этажами горожане. Небо гасло над дальними горами, быстро гасло, словно там опускался занавес.

— Мы как космонавты, оторвавшиеся от своего Солнца, породившего нас и согревавшего от сотворения. Межзвездная темень вокруг и наше Солнце уже едва проглядывается в черной дали, — медленно заговорил Алазян странно бесстрастным, чужим голосом. — Но как бы далеко мы ни улетали, тонкая нить тяготения Родины не рвется, потому что только на нее настроено наше сердце, потому что Родина — в нас. И мы легко находим во тьме пятнышко нашего Солнца и сами светлеем душой. Нельзя жить, забыв о Родине, потеряв ее притяжение. Есть люди, дорвавшиеся доштурманских кресел, ищут другие ориентиры, сеют сомнение в целесообразности оглядываться на родные лучи, делают вид, будто они совсем уже потеряны в чужих звездных просторах. Можно бы сказать: простим им, они не ведают, что творят. Но прощать опасно. Прощение равнозначно забвению, и мы можем не узнать родного, когда придется возвращаться. Все возвращается на круги своя. Каким бы далеким ни был полет, это полет не по удаляющейся прямой. Ничто в мироздании не движется по прямой, всякое движение — по кругу, по эллипсу, по спирали. Мы, как кометы, все время стремимся удалиться. Но наступает час, и мы проходим апогей, и начинаем возвращаться, и Родина оказывается уже не позади, а впереди нас, не в прошлом, а в бу-

душем. И мы начинаем осознавать, что никогда не удалялись, а все время стремились к своей прародине. Так все время падают кометы на центры притяжения. И, возвращаясь, как бы мы, позабывшие о Родине, не испугались приближения к ней, не приняли ее за неведомую опасность. Комете, будь она живой, тоже, наверное, было бы страшно падать на приближающуюся твердь. Но, обогнув ее, комета получает новое ускорение. Таки нам возвращение к прародине дает силы для нового дальнего полета...

Он умолк, и я снова услышал шум улицы. Открыл глаза и поразился: Алазяна на балконе не было. Кто же говорил со мной? Не сам же я произнес такой монолог. И снова, как тогда, в Москве, мне стало страшно. Когда начинает слышаться бог знает что, человеку остается одна дорога — к психиатру. Это только в средние да древние века верили в голоса... Впрочем, сейчас тоже вроде бы начинают верить. Ходят разговоры о мировой материально-энергетической среде, о Голосе, который слышат немногие, о существовании языка «мудрых»...

Приоткрыв балконную дверь, я увидел Алазяна сидящим за столом над грудой книг.

— Вы давно тут сидите? — спросил я.

Он пожал плечами и сказал, не поднимая головы:

— Устали же, ложитесь спать.

— А вы?

— Я еще поработаю. Ложитесь, там постелено. — Он кивнул на соседнюю комнату и, спохватившись, вскочил, пошел показывать мое место.

Я действительно чувствовал себя совершенно разбитым. Сразу же лег и как провалился. На этот раз мне не снилось ничего.

Утро было такое солнечное и тихое, что поневоле верилось: день будет необыкновенным. И настроение у меня было необыкновенным: ведь предстояла встреча с Ануш.

За завтраком я попытался заговорить о вчерашнем — об апогее удаления и обязательности возвращения, но Алазян не поддержал разговора. То ли не хотел больше говорить на эту тему, то ли и в самом деле не знал, о чем речь. Он был молчалив, думал, как видно, о том, о чем недодумал этой ночью. А может, ему тоже был Голос? Может, ему, наоборот, почудился мой монолог и он, как и я, стесняется спросить? Может, ночь сегодня такая чудная? Я уж так смирился со множеством необыкновенных совпадений, что верил и в это.

— Сегодня, после вашего возвращения, нам предстоит очень важное дело, — сказал он многозначительно.

— Разве ехать близко?

— Час на машине да час пешком. Обратно столько же. К обеду должны вернуться, что вам там делать?

Я даже рассмеялся: как это, что делать? Да если Ануш...

— В три часа я буду ждать на шоссе. Тетросян знает где. По пути пообедаем, а потом поедem в одно место.

Мне никогда не нравилось вождение за ручку. Может, мамина опека и заставила после школы пойти в геологоразведочный. Чтобы попутешествовать самостоятельно. И вот снова за меня решают, где мне быть и что делать. Не гостеприимство, а насилие какое-то.

— Я хотел бы сам решить, сколько пробыть там...

Он понял, потянулся через стол, дотронулся пальцами до моей руки. Были его пальцы холодны, как у покойника.

— Желание гостя — закон. Но я прошу вас... Это очень важно... Вы поймете.

Я не стал спорить, подумал: посмотрю на Ануш и сам решу, как быть. Он принял мое молчание за согласие, сразу повеселел, вскочил, принес грудку фотогра-

фий, начал раскладывать их передо мной. На фотографиях были изображены камни с еле различимым хаосом царапин и выбоин на них.

— Пока Тетросян не приехал, я вам расскажу, что это за человек, — заговорил он торопливо. — Сам не расскажет, стеснительный, но вы должны знать, вам это интересно.

Я смотрел и не понимал, чего интересного в этих камнях и почему мне непременно нужно знать о них. С меня было довольно, что Тетросян — отец Ануш, и единственное, о чем я мечтал говорить дорогой, так это о ней, и только о ней.

— Нет, нет, вы смотрите внимательнее. Вот Солнце, вот Луна, планеты, видимые простым глазом. А это созвездия. Звездная карта, не правда ли? — Он отступил, сделав паузу, как фокусник, желающий еще больше удивить зрителей, и добавил: — А создана эта звездная карта во втором тысячелетии до нашей эры. А нашел ее Тетросян...

Я не мог не удивиться. Судьба явно раскидывала передо мной таинственные сети былого.

— Конечно, интересно, — обрадовался Алазян. — Это удивительный человек. Все отпуска, все свое свободное время он проводит в горах, собирает наскальные рисунки.

— Как собирает?

— Армения — страна камня. За тысячелетия народ населил ее искусно вырезанными стелами, вишапами, хачкарами, петроглифическими монолитами. Тетросян ходит по горам, ищет на камнях следы прошлого, срисовывает силуэты, контуры, знаки, высеченные на камнях, делает замеры, фиксирует находки. Он ведь архитектор, художник...

— А, хобби, — догадался я. Каких только хобби не бывает! Как бы ни чудил человек, скажи «хобби», и все понимают — в здравом уме.

Алазян поморщился.

— Хобби — от нечего делать. Это когда человек придумывает себе занятие, собирает винные этикетки, шнурки от ботинок, всякое такое никому не нужное.

— Почему же, — возразил я, — собирают и нужное.

— Собирать нужное значит омертвлять его, наносить вред обществу.

— Хобби — не только собирательство.

— Чехов был врач, а писательство что для него — хобби? Когда человек занимается чем-то важным, помимо своего дела, это не просто увлечение. Часто это научный подвиг...

И тут позвонили в дверь. Вошли Тетросян и Гукас, одетый, как на свадьбу, в черный костюм с белой рубашкой. Минуту они с удивлением, вроде бы даже с испугом рассматривали меня. Но я — привык, что ли? — даже не смутился. Хотел тут же сказать, что я не тот, за кого они меня принимают, да вспомнил об Ануш и промолчал. Ведь этак, чего доброго, они и без меня уедут.

Залитый солнцем Ереван показался мне необыкновенно красивым. Серые дома под цвет земли, красные дома под цвет зари, буйные разливы бульваров, уютные скверики и просто тенистые ниши среди домов, ущелья, вдруг разверзшиеся под улицами, мосты, скалистые обрывы, выступающие к самой дороге... И все время то справа, то слева возникал в просветах улиц белый конус Арарата. Потом Арарат исчез, горы плотнее обступили нас, и дорога, словно испугавшись этих громад, вдруг заметалась по склонам, и не было минуты, чтобы Гукас, сидевший за рулем, не крутил руль то вправо, то влево.

— Вы меня извините, — вдруг сказал он, обернувшись ко мне.

— За что же?

— Ведь это я вас тогда... ну там, возле магазина... стукнул.

— Вы?! — Мне не понравилось это признание. Выходит, он и Ануш оказались у меня дома просто потому, что чувствовали себя виноватыми?

— Не узнал я вас. Думал, один из тех шалопаев. Вы были как-то совсем иначе одеты.

— Что значит «совсем иначе»?

— Ну не так, как в первый раз.

— В какой первый раз?

— Когда я у вас про магазин спрашивал.

— Вы у меня?

— Ну да, и вы сказали, куда пойти.

— Да я из дома не выходил! — воскликнул я, судорожно соображая, не забыл ли чего. — Вы меня с кем-то спутали.

— Ничего не спутал. Ануш еще тогда сразу сказала, что вы...

Тетросян похлопал Гукаса по плечу.

— Останови.

«Так и есть, они меня с кем-то путают», — думал я, вылезая из машины. Было мне от этой мысли совсем не весело. Что скажет Ануш, когда узнает, что я самозванец? Решил больше не тянуть — будь что будет.

— Мне бы очень не хотелось, чтобы вы видели во мне обманщика, — сказал решительно.

— Алазян вам ничего не рассказал? — спросил Тетросян, пристально посмотрев на меня.

— Он много чего говорил. Даже о вас. Как вы камни ищете.

— Ищу, — вздохнул он. И заговорил быстро, словно уходя от каких-то трудных объяснений: — Двадцать лет ищу. Вон с той горы все и началось. Пошел на эскизы — вид оттуда чудесный, — гляжу, а на камне высечено изображение оленя с вот такими рогами. С тех пор и хожу по горам, рисую петроглифы. Нашел уже больше десяти тысяч...

— Это же... все горы изрисованы! — изумился я, забыв о своем намерении выяснить наконец отношения.

— Правильно, все горы.

— Это же... какой пласт культуры!

— Правильно, целое искусство. Правда, большинство рисунков — астрономического характера. Словно бы древние художники больше смотрели на небо, чем на землю.

— Так это, наверное, и не рисунки вовсе, — догадался я. — Это ориентиры. Чтобы не заплутать в горах.

— В горах не заплутаешь, здесь с дороги не свернешь.

— Это у себя дома не заплутаешь. А в чужих горах? Может, это пришельцы рисовали. — Я хотел сказать о пришельцах-инопланетянах, отдать дань моде о летающих тарелках и гуманоидах.

Но фантастика, как видно, ему в голову не пришла. Он сказал задумчиво:

— Вполне возможно. Армения — это же перекресток для всех переселяющихся.

О переселениях народов я в тот момент не подумал, но быстро сориентировался и поторопился убедить Тетросяна, что астрономия — дело, так сказать, всенародное, любому и каждому, особенно человеку путешествуящему, не возбраняется глядеть на созвездия.

— Кстати, о созвездиях, — оживился Тетросян. — Вам приходилось видеть карту полушарий из атласа звездного неба польского астронома Гевелия? Ну, известные изображения созвездий в виде Орла, Льва, Скорпиона, Лебедя, Стрельца... Карта эта была нарисована четыреста лет назад. А я нашел на камнях очень похожие изображения этих же созвездий, созданные четыре тысячи лет назад.

Я усмехнулся. Поистине, если послушать армянских ученых, так все человеческое началось от горы Ара-рат. В точности, как сказано в Библии.

— Не верите?! — воскликнул он. — А вот крупнейшие историки астрономии Маундер, Сварц, Фламмарион нашли, что люди, разделившие небо на созвездия,

несомненно, жили между тридцать шестым и сорок вторым градусами северной широты. А английский астроном Олькотт уточняет: люди, придумавшие древние фигуры созвездий, жили в районе горы Арарат и Верхнего Евфрата...

— Верю, верю!.. — Я вдруг подумал, что, возражая отцу Ануш, сам себе копаю яму.

Довольные друг другом, мы снова забрались в тесную кабину «жигуленка». Однако проехали немного, скоро остановились опять, поскольку дальше надо было идти пешком.

— В три часа будьте здесь, — сказал Гукас и с места рванул машину так, что из-под колес, как из катапульты, сыпануло гравием.

Я чуть не взвыл. Это же издевательство: пока придем туда, да пока вернемся обратно, что останется? Какой-то час рядом с Ануш?!

Но горная тропа постепенно успокоила меня. Виды открывались один другого поразительнее. Синие по горизонту горы здесь, вблизи, были калейдоскопно пестрыми. Коричневые, красные, черные утесы тонули в изумрудной зелени травянистых склонов. Местами эти склоны, словно облитые киноварью, алели от множества маков. Густая синева высокогорного неба простиралась от края до края, непорочно чистая, радостная. И на душе у меня было светло и радостно, и ноги, готовые не идти, а бежать вперед, совсем не чувствовали никакой усталости. И уж непонятно было: Ануш причина моего восторга и вселилия или чудные горы, казавшиеся мне до боли знакомыми и родными. Я любил эти горы, любил и хмурого Тетросяна, все разгоравшегося в стремлении доказать мне, что эта страна полна чудес.

— ...Вероятно, существовало понимание единства земного и небесного, — говорил Тетросян. — Мецмор — горно-металлургический центр, но там же были площадки для астрономических наблюдений, своего ро-



да обсерватории. Я уж не говорю об изображениях звездного неба, высеченных на тысячах камней повсей Армении... А на Севане найдена бронзовая модель Вселенной, относящаяся ко второму тысячелетию до нашей эры. Да, да, не улыбайтесь, модель вы можете увидеть в музее...

Хорошо ему было говорить: не улыбайтесь. Мог ли я не улыбаться, когда до встречи с Ануш оставалось не более получаса.

— ...Эта модель изображает Землю с двумя сферами — водной и воздушной, на противоположном конце — Солнце с Древом жизни внутри, а между Землей и Солнцем — Луна и пять планет, видимых невооруженным глазом, — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. А посередине всех этих объектов — ромбические фигуры, напоминающие о «небесном огне», вокруг которого, как представляли древние, вращаются все планеты вместе с Солнцем...

Я почти не слушал. Во мне звучали другие «астрономические» образы, вычитанные недавно у какого-то древнего поэта:

Ты свет мой ясный в мире сером,  
На свете белом ты одна,  
Юпитер мой, моя Венера,  
Ты солнце в небе и луна...

— ...Петроглифы не просто найти. Их не видно на замшелых камнях. Порой рисунки становятся заметными при определенном положении Солнца на небе. Нередко, чтобы их выявить, приходится смачивать камень водой, поливать из фляги...

А во мне звучало свое:

Ах, раствориться — и стать водой...  
А яр пришла бы — налить кувшин,  
Я прожурчал бы — в ее кувшин,  
С водой поднялся — ей на плечо,  
Ей грудь облил бы — так горячо!..

Потом впереди показались серые квадраты раскопов и люди, ходившие возле них. Я старательно всматривался, пытаюсь угадать, которая Ануш. Спросить бы у Тетросяна, — он-то, наверное, углядел ее, — да все стеснялся.

А потом Тетросян и вовсе куда-то исчез, сказав, что ему надо поговорить с местным начальством. Я подошел к одному из раскопов, увидел какую-то девушку в платочке, повязанном по-русски, в узких джинсах, делавших ее такой тонкой, что страшно было, как бы она не переломилась, наклоняясь к земле.

— Девушка, — тихо позвал я, оглядываясь, чтобы Тетросян не услышал. — Не знаете ли, где тут Ануш?

Девушка оглянулась, и я плюхнулся в кучу сухой земли: это была она.

Ануш с минуту испуганно смотрела на меня, точно так смотрела, как в тот раз, когда я видел ее впервые. Потом испуг очень явственно сменился удивлением и даже, как мне показалось, внутренним восторгом. Так смотрят в музеях на редкостные экспонаты.

— Аня! — сказал я и глупо засмеялся.

— Это вы?! — воскликнула она, словно только теперь увидела меня.

Она была не просто красива, — восхитительна. Так, наверное, выглядят настоящие царицы, вздумавшие переодеться, чтобы походить на своих подданных, но не способные скрыть своего высокородного естества — осанки, властной, проникающей в душу, устремленности глаз.

— Я так и знала, что вы приедете, — сказала она, и сердце мое при этих ее словах подпрыгнуло и забыло опуститься.

Мы долго молчали, не глядя друг на друга. Я торопился придумать, что бы такое сказать поумнее, но в голове крутились только стихи: «О роза, ты роняешь лепестки. Я гибну от печали и тоски...»; «Но в ответ и

бровью не ведет эта тонконогая девица: будешь ты не первым, кто умрет...»

— Как ваше здоровье? — спросила она и покраснела.

— Спасибо, хорошо. А как вы себя чувствуете?..

И тут мы оба рассмеялись. Она прыснула и при этом смутилась так, что мне стало больно за нее, отвернулась, наклонилась низко, принялась царапать ножичком землю.

Тень выросла над раскопом, большая, близкая. Я оглянулся, увидел Тетросяна. Ануш вскинула глаза, блестящие, словно после слез, и снова опустила их. Он прыгнул в раскоп, наклонился к дочери, сказал ей что-то ласковое, успокаивающее. Потом строго посмотрел на меня:

— Пойдемте со мной.

— Я тут побуду.

— Пойдемте, показаться надо.

Он вылез из раскопа, отряхнул руки и пошел не оглядываясь. И я поплелся за ним, волоча вдруг ставшие непослушными ноги.

В палатке, куда мы вошли, было нестерпимо жарко. Пахло пылью и еще чем-то кислым. Пожилой человек в широкополой шляпе на голове, увидев нас, раскрыл рот от удивления и так и закаменел в неподвижности, не сводя с меня глаз.

— Я говорил вам, — торжествуя сказал Тетросян.

— Да-а, — только и произнес человек. И вдруг быстро, почти подобострастно, протянул руку: — Арзуманян. — И повел глазами по сторонам: — Раскапываем вот...

— Что раскапываете? — неожиданно для самого себя деловым тоном спросил я, словно именно этот вопрос сейчас интересовал меня больше всего.

— Крепость, крепость раскапываем. Только начали, но уже видно: объект интересный. Датировать пока не

удалось, но полагаю — тыщи две с половиной, не меньше.

— Чего?

— Лет, лет, разумеется. Вот я вам покажу...

И тут я решился, прямо как в омут кинулся, даже похолодел весь:

— А можно, мне Ануш покажет? — И добавил, словно оправдываясь: — Ведь нам через час уходить.

— Почему же нельзя? — Он откинул полог палатки и закричал неожиданно молодым и сильным голосом: — Ануш! Ану-уш! Иди сюда, деточка!

Тетросян не проронил ни слова. Я покосился на него, но решил уж не отступать.

— Ануш, вот молодой человек раскопками интересуется, расскажи ему, пожалуйста. Да стенку, стенку покажи обязательно.

Она глянула на отца, отвела глаза и, молча повернувшись, пошла по тропе. А я стоял, не зная, что делать, — тотчас бежать за ней или ждать особого приглашения.

— Ануш! — крикнул Арзуманян. — Этак молодой человек тебя и не догонит.

— Догонит, — ответила уверенно, и сердце мое снова подпрыгнуло в радости, словно только и дел у него было в этот день — подпрыгивать да падать.

Мы останавливались над неглубокими квадратами раскопов, и, махнув рукой небрежно, Ануш произносила только два слова:

— Вот... смотрите...

Люди, работавшие в раскопах, поднимали головы, одни насмешливо, другие серьезно осматривали нас. А у некоторых в глазах я замечал уже знакомые мне испуг и безграничное удивление. Эти люди вставали с намерением подойти ближе, но Ануш тотчас поворачивалась и уходила. И я бежал за ней, слыша за спиной удивленное «Вот это да!»

Что означали эти возгласы, до меня в тот момент не доходило.

— А это и есть стенка, — сказала Ануш, остановившись возле какой-то серой кладки. — С нее-то все и началось. Папа нашел. Решили, что это остатки крепостной стены, и начали раскопки.

Она говорила коротко, почти зло, словно задыхаясь. И мне тоже не хватало воздуха. Я опустил на каменную плиту, сказал не своим голосом:

— Давай... посидим.

Она вроде бы даже не обратила внимания на новую форму обращения, молча села в двух шагах от меня, вытянув ноги, уставилась на дальние горы с таким вниманием, словно оттуда должен был вылететь по меньшей мере дракон огнедышащий.

— Прошу... запиши меня в слуги? — не выдержав молчания, игриво выдохнул я вспомнившийся стих все из тех же древних армянских песен о любви. — Хоть рабом допусти к очагу...

Она покраснела и, помолчав, ответила теми же стихами:

— Нет... рабу я не буду рада...

Это уже походило на взаимопонимание. Я вытянулся на камне и положил голову ей на ноги.

— Ах, яр, ямман, ямман... \*

— Хорошая у вас память, — сказала она, не двигаясь.

— Всю книжку наизусть выучил, — пробубнил я. От ее колен, обтянутых жесткими джинсами, пахло землей и душистым мылом.

Она взяла мою голову обеими руками, и я зажмурился от ожидания. Но ничего не произошло. Ануш отодвинула ноги и положила голову левой щекой на теплый камень. Затем встала и быстро пошла прочь. А я

---

\* Яр — возлюбленная. Ямман — выражение огорчения (арм.).

лежал, боясь шелохнуться, стряхнуть ощущение ее рук. Было мне и сладко и горько одновременно.

— Ах, ямман, ямман...

И вдруг я увидел змею. Мокрая, она выскользнула из какой-то щели и поползла ко мне, оставляя на камне темный след. Это было так неожиданно, что я вскочил и заорал. Тут же замолк, устыдившись своего крика, но было уже поздно: ко мне бежала Ануш. Она резко остановилась в шаге от меня, словно наткнувшись на невидимую стену, вскинула огромные испуганные глаза.

— Извини... змея, — выговорил я. Оглянувшись, но змеи не увидел: пропала, будто провалилась. Только мокрый след все еще выделялся на камне.

И вдруг Ануш метнулась к этой мокрой полосе, закричала что-то по-армянски. Набежали люди, обступили, принялись лить на камень воду, заговорили о чем-то, заспорили. Появились Тетросян с Арзуманяном, нырнули в толпу. И я протиснулся вперед, увидел на мокрой плите цепочку ямок и черточек.

— Надо же, надпись! — радостно крикнул кто-то. — Клинопись!

— А чего написано? — спросил я.

На меня воззрились сразу несколько человек, как на сумасшедшего.

— Тут, дорогой мой, еще работать да работать, — послышался голос Арзуманяна. Он встал передо мной, маленький, лысенький, неузнаваемый без своей широкополой шляпы, принялся руками отстранять людей от камня, чтобы, не дай бог, не наступили на него. — Это вы обнаружили? Вы?..

— Я змею... А надпись она, — показал я на Ануш.

— Поздравляю, дети мои, поздравляю! — воскликнул он, простерев к нам руки. — Прекрасная надпись, пре-кра-сная!

— А о чем она?

— Только предположительно, очень предположи-

тельно, — сказал Арзуманян. — По-моему, угадывается понятие каких-то драгоценностей, драгоценных камней. — Его глаза вдруг округлились, и он начал еще дальше отодвигать людей. — Охрану, охрану надо поставить. Вдруг в самом деле здесь драгоценности. — И повернулся к Тетросяну. — Вы уходите? Идите скорей. Сообщите там. Идите же. — Он прямо-таки подтолкнул Тетросяна на тропу. И тот пошел, даже с дочерью не попрощался. Арзуманян и меня потянул за руку: — А вы чего? Захотите поработать на раскопе — милости прошу, а сейчас поспешите...

И я тоже пошел, успокоенный этим его предложением. Конечно, захочу, как же иначе? Напоследок поймал напряженный взгляд Ануш и побежал за Тетросяном.

Машина на дороге уже ждала, возле нее стоял Алазян, нервно барабанил рукой по капоту.

— Где вы так долго? У нас столько дел! Загарян же уезжает, а нам надо успеть в его мастерскую.

— Там надпись нашли, — огорошил его Тетросян.

— Клинопись? Я так и знал.

Что он знал, никто не спросил, но и Тетросян и Гукас посмотрели на него с уважением. Потом мы сели в машину и поехали, и Тетросян, торопясь и захлебываясь словами, начал рассказывать, как все было. Правильно рассказывал, будто был где-то рядом с нами, подглядывал. Не сказал только о том, как я положил голову на ноги Ануш. Может, проглядел это, а может, не захотел говорить. Кто знает, что это значит по кавказским обычаям.

— Поразительно, что надпись нашли именно вы, — сказал Алазян, повернувшись ко мне. — Это еще одно доказательство.

— Доказательство чего?

— А вот сейчас приедем к Загаряну, увидите.

— Интересно, как вы это воспримете, — подал голос Гукас, сидевший за рулем.

— Что? О чем вы? — спросил я.

— А вот приедем к Загаряну... Сейчас пообедаем и прямо к нему.

— Вы же сказали: он уезжает.

— Мы обедать заедем, а не куда-нибудь. Он же понимает.

Обед походил на пир. Хоть было нас всего четверо, стол был накрыт, как на десятерых.

Алазян встал.

— Я предлагаю помянуть те благословенные времена, когда армяне и русские жили как добрые соседи, как близкие родственники, помогая друг другу...

— Так мы вроде бы и сейчас... — вставил я.

— Верно, и сейчас. Но я говорю о проторусских.

— Кто это? — спросил я. И по тяжелому взгляду Алазяна понял: спросил не то, что следует.

Он долго смотрел на меня своими темными пронизывающими глазами и наконец, весомо разделяя слова, начал говорить:

— Мне горько, что именно вы спрашиваете об этом, и я считаю необходимым сейчас же кое-что разъяснить. Теория о том, что народы — это волки, только и ждущие, как бы проглотить друг друга, довольно старая. Но куда древнее теория дружбы между народами. Много тысячелетий назад на огромных пространствах Европы и Азии существовала общность народов, которую мы теперь называем индоевропейской. Возможно, это была не единственная общность доброжелательных племен, объединенных едиными традициями, единой культурой и, не исключено, единым языком. В ту пору не знали рабства. Индоевропейские племена несли демократическую структуру самоуправления, древние сказания, в которых проявлялся единый взгляд на природу, на взаимоотношения между людьми, несли знания и умения. Недаром в районах, через которые они проходили и где оседали, возникали очаги высокой культуры. Проходили они и через земли нашей Армении. Не как захватчики



и порабитители. Свидетельство тому — Мецмор, который не перестал процветать с их приходом...

Алазян вынул платок, принялся вытирать лицо. А я стал думать о Мецморе. И вдруг задохнулся от мысли, что Мецмор — как раз то, что мне нужно: я буду расспрашивать о нём Ануш, она будет рассказывать, а потом мы поедем туда...

— ...Идеи и практика рабства шли к нам с юга, а не с севера или запада. Безумство концентрации людских и материальных ресурсов создавало лишь видимость благополучия. Теперь археологи, находя циклопические постройки, созданные руками рабов, говорят о высокой древней культуре. Но нельзя же раскопанные фундаменты огромных тюрем, только потому, что они лучше сохранились, называть следами более высокой цивилизации, нежели почти не сохранившиеся остатки мирных жилищ. Рабство, особенно на ранних стадиях, когда оно еще могло паразитировать на стихийной верности людей труду и земле своей, оставшейся от родоплеменных времен, создавало рабовладельческим государствам военное преимущество. Потом, когда равнодушие и паразитизм разъедали души всех членов общества, от рабовладельцев до рабов, таким государствам уже не на что было опираться, и они распадались. Так распалась и исчезла Римская империя. Я не могу согласиться, что рабство — необходимый этап развития общества, это скорее болезнь, раковая опухоль на теле истории. Племена, жизнь которых была основана на добрых традициях рода, столкнувшись с рабовладельческими государствами, вынуждены были вырабатывать своего рода «антитела» — создавать племенные союзы, отказываться от многих традиционных добродетелей, ужесточать внутреннюю структуру, перенимать у врагов своих опыт создания временного могущества путем подавления свобод, путем насилия и коварства. Но многие, очень многие народы сумели перебороть эту болезнь...

— О чем вы задумались? — спросил вдруг Алазян.

Я поднял глаза, увидел, что он все еще вытирает платком свое лицо, и понял: это не он только что произнес длинный монолог, это опять Голос. Тот самый, что преследовал меня последнее время.

— Вы спрашиваете, кто такие проторусские? Среди индоевропейских племен, осевших на Армянском нагорье, были те, кто называл себя — руса. Их я и называю проторусскими. Последний царь Руса правил в шестом веке до нашей эры. Под давлением мидян часть проторусских ушла на юг, часть на север...

— По двум разным ущельям? — вспомнил я прочитанную легенду.

Он кивнул, внимательно посмотрев на меня.

— Одни смешались с армянами, другие попали в более тяжелые условия и были вытеснены из благодатных долин в холодные степи.

— Так вы считаете?

— Так я считаю. Это моя гипотеза, и она не противоречит ни историческим, ни археологическим, ни лингвистическим данным.

Гипотеза была больно уж неожиданна, и я принялся расспрашивать Алазяна подробнее, не отдавая себе отчета, что расспросами своими лишь подливаю масла в огонь. Мы поднимали бокалы за проторусских, за протоармян, еще за каких-то прото, что в глубокой древности сплетались этническими корнями с другими, за дружбу народов, имеющую такие надежные корни, за процветание современных наций, этносов, суперэтносов и еще за что-то, чему и названия нет. И Алазян все говорил и говорил о своей гипотезе, зачем-то стараясь убедить меня в ее правоте:

— ...Сравните, вы только сравните языки — санскрит и русский. «Дом» — «дам», «зима» — «гима», «мясо» — «манса», «дева» — «деви», «мышь» — «муш», «свекор» — «свакар», «бог» — «бхага», «ветер» — «ватар»... Примеров не счесть. А числительные — «один» — «ади», «два» так и будет — «два»,

«три» — «три», «четыре» — «чатур»... Местоимения, словообразование с помощью приставок — все почти одинаковое. Казалось бы, откуда такая похожесть? Ведь между Индией и Россией — тысячи километров пустынь и гор. Где остатки той древней связующей нити? Они повсюду, и прежде всего здесь, на Армянском нагорье. Ведь армянский язык тоже относится к семье индоевропейских языков. Основоположник нашей историографии Мовсес Хоренаци еще в пятом веке писал о существовании в древности на территории Армении мощного государственного образования. Ученым известно, что в Северном Причерноморье, в частности, на Таманском полуострове некогда жил народ синдов, говоривший на языке арийской или индоиранской группы. А «синд» — это «синдху», что значит «река». Не отсюда ли само слово «Индия»? Доподлинно известно, что скифы Северного Кавказа и Приднепровья еще более двух с половиной тысяч лет назад имели тесные связи с административными центрами Армении. И именно в это время в Армении правили цари под именами Руса. И это не все. Многие говорят о том, что на Армянском нагорье и в Северном Причерноморье еще четыре-пять тысяч лет назад существовало своего рода единое государственное образование. Если оно и представляло собой систему племенных союзов, то это были Союзы с большой буквы, построенные не по принципу насилия и подавления. Недаром часть этих племен, во втором тысячелетии до нашей эры переселившаяся в Индию, получила название ариев — полноправных, свободолюбивых людей. Джавахарлал Неру писал о них так: «... в древности говорили, что ария никогда нельзя превратить в раба, ибо он предпочтет скорее умереть, чем опозорить имя ария». Это были люди высокой культуры. Приручение лошади и изобретение колесниц, первая плавка железа, обозначение созвездий, создание десятичной системы числительных, окультуривание злаков, винограда, абрикоса и многое еще связано с ними. Тот же Джава-

харлал Неру писал, что древние арии не заботились о том, чтобы писать историю, но на основе устного творчества создали Веды, Упанишады и другие великие книги, которые, как он говорит, «могли быть созданы только великими людьми». Таковы они были, предки русских, армян и многих других народов. Так что все мы — родственники, у всех у нас были единые великие праотцы... — Он замолк, и я вздохнул облегченно, будто сам произносил эту длинную и страстную тираду. Подумал было, что опять мне это почудилось, но, оглянувшись, увидел: не только отец и сын Тетросяны слушают с напряженным вниманием, но и многие другие люди, сидевшие за соседними столиками.

И тогда я встал. Вот уж чего терпеть не мог, так это выпячиваться, а тут встал и, оглядев всех вокруг, сказал громко, на весь зал:

— За дружбу между народами! — Тут же обругал себя, что не нашел пооригинальнее слов, но почему-то не устыдился, а еще и добавил: — Все мы — одна семья!..

Вокруг что-то говорили высокое и хорошее, и мне не было неловко от этого всеобщего внимания, наоборот, было легко и радостно, как бывает в кругу близких, которых любишь и которым до конца доверяешь.

— А теперь, — сказал Алазян, обращаясь ко мне, — я представлю еще одно доказательство того, что у армян и русских — единая прародина.

Он вдруг засобиравшись, мы вышли, сели в машину и поехали. Дорогой они все трое заговорщически поглядывали на меня и молчали. Что они задумали, чем еще собирались огоршить? Об этом следовало спросить, но я не спрашивал: видел по лицам, — все равно не скажут.

Скоро замельтешили окраинные дома Еревана. Почему-то стремительно, словно за нами гнались, машина пронеслась по широким и узким улицам, визжа колесами на крутых поворотах, и резко затормозила у

какого-то старинного здания. Тетросян, посожалев, что должен ехать выполнять поручение археолога Арзуманяна, остался в машине. Алазян с каким-то нервным возбуждением взбежал на высокие ступени подъезда, оглянулся, торопя меня взглядом.

Мы вошли в ярко освещенный холл. Здесь стоял огромный макет знаменитого древнего храма Гарни, и я подумал, что, должно быть, это музей. Потом Алазян провел меня в небольшую комнату, уставленную по стенам человеческими черепами, и я решил: это нечто вроде анатомички. В следующей комнате сидел за столом невысокий крепыш — знакомый мне профессор Загарян. Он встал навстречу, решительный, с засученными рукавами, и я увидел блеснувший в его руке нож. Тотчас вспомнились кровожадные сказки, почему-то называвшиеся детскими, вроде «Синей бороды». Да и как было не вспомнить, когда на стенах висели муляжи рук и ног, частей человеческого лица.

— Привел? — заулыбался Загарян.

— Привел. — Алазян был необычно оживлен.

— Тогда начнем. У меня все готово.

— Вы что тут, людей расчленяете? — спросил я.

— Не столько расчленяем, сколько собираем, — сказал Загарян и, крутнув ножом, положил его на стол. И только тут я заметил, что нож совсем не острый и вымазан в глине. Загарян повернулся к столу, на котором стояло что-то укутанное белой тканью, начал распутывать концы. Он осторожно снял полотно, и я увидел бюст человека, странно похожего на кого-то.

— Не узнаете? — спросил Алазян, заглядывая мне в лицо.

И тут я узнал... самого себя. Это было слишком. Ну будь я киноактером или там знаменитым футболистом, а то шапочное знакомство и уже — скульптурный портрет. В честь чего?

— Ни к чему это, — сказал я.

— Значит, узнал, — обрадовался Алазян. — Не правда ли — похож?

— Похож-то похож, только зачем?..

— Значит, вы подтверждаете, что похож?

— А что, есть кто-то другой такой?

— Был. Жил здесь в Армении. Две с половиной тысячи лет назад.

— Вот этот?

— Этот самый. Недавно раскопали захоронение.

— Богатое захоронение, — подсказал Загарян.

— Очень богатое, можно сказать, царское.

Я был ошеломлен, я не знал, что сказать, стоял и смотрел на скульптурное изображение человека, жившего так давно и как две капли воды похожего на меня. О таких совпадениях я даже и не слыхивал никогда. Каждый человек неповторим — об этом мы знаем со школьной скамьи, и вдруг выясняется, что могут быть и повторы. А может, они не так уж и редки, эти повторы? Наверняка часты. Если бы имелись изображения многих миллиардов людей, живших в разные эпохи и ныне живущих, то разве среди такого числа нельзя найти похожих?

— Откуда вам известно, что он выглядел именно так? — придя в себя, спросил я.

— Есть метод профессора Герасимова. Слышали? Восстановление лица по черепу. Это дело проверенное, можете не сомневаться, — так он и выглядел при жизни.

— А что о нем известно?

— Предположительно, это и есть один из царей, носивших имя Руса. Славянский тип лица, царская гробница, время захоронения — все совпадает. Это ли не подтверждение моей гипотезы о проторусских в Армении?!

— Значит, царь случайно на меня похож?..

— Вы, вы на царя похожи! — заорал Алазян так,

словно я был в чем-то виноват. — И не случайно, а закономерно. Вы — его потомок.

«А почему бы и нет? — подумалось горделиво. — Недаром же меня все время тянуло в горы». Теперь стало понятно внимание к моей персоне. Как же — потомок царя! Доведись узнать, что где-то живет, к примеру, потомок Александра Македонского, кто бы не побежал глядеть? Я вспомнил пристальные взгляды, обращенные на меня, страх и любопытство в глазах Ануш. И вдруг похолодел: значит, был ей просто любопытен? Значит, ей льстило лишь знакомство с потомком царя, некогда правившего в Армении? Значит, сам лично я ей безразличен?!

Мне сразу стало скучно. Я вдруг заметил и запыленные окна, и тусклый свет в этой мастерской, наполненной черепами. Даже почудился трупный запах, и нестерпимо захотелось на воздух. Видно, я не сумел скрыть свое состояние, может, и вовсе побледнел, потому что Алазян неожиданно взял меня за руку и повел к выходу.

На улице все так же бегали автомобили и шумели деревья молодой листвой, и солнце светило, исчерчивая дорогу белыми полосами, но во всем этом я уже не видел ничего необычного. Я думал, что в Москве в эту пору ничуть не хуже, чем в Ереване, даже, может, и лучше, поскольку там все знакомое.

— Домой надо лететь, — сказал я устало.

— Как это лететь?! — вскинулся Алазян.

— Гипотеза подтверждена, чего еще? А дома дел невпроворот, шеф просил не задерживаться.

Алазян минуту ошалело смотрел на меня, потом успокаивающе похлопал по руке, сказал каким-то совсем другим, не своим голосом, ласково и проникновенно:

— Пойдите тут минуту, пойдите, я сейчас.

Он убежал, а я машинально сошел на тротуар и медленно побрел по улице. Мне хотелось только одно-

го: поскорей убраться отсюда, и с этой улицы, и из этого города. Надо было решительно рвать, иначе расслаблюсь в напрасных надеждах, сам себе опротивею. Я задыхался от горечи, от разжигаемой злобы на самого себя, от обезволивающей тоски. Увидел в скверике пустую скамейку, сел и закрыл глаза, стараясь справиться с собой.

— Зря вы это, — сказал кто-то рядом.

Я вздрогнул, таким неожиданным был этот голос. На другом конце скамьи сидел человек примерно моего возраста, похожий на кого-то, хорошо мне знакомого. «Господи, опять похожий! Чертовщина в этом Ереване — сплошь знакомые». Я отвернулся, ища глазами пустую скамью, куда можно было бы пересесть.

— Зря вы это, — повторил незнакомец.

— Что зря, что?! — взорвался я. — Вы же ничего не знаете!

— Знаю, — сказал он. — Вы собираетесь бежать от самого себя.

Я выпучил глаза. Ведь и верно, не от Ануш мне хотелось убежать, а от самого себя. Но разве от себя убежишь?

— От себя не убежишь, — сказал он, словно повторял мои мысли.

И тут мне стало холодно, прямо-таки озноб прошел по коже: я узнал. Да и как было не узнать, когда я только что видел его в скульптурном изображении.

— И вы... тоже? — обалдело прошептал я.

— Увы, — холодно сказал он.

— Так похожи... на этого царя...

— Почему вам не придет в голову, что я похож на вас?

Мне захотелось вскочить и бежать, куда глаза глядят, или кусаться, или выть по-волчьи, только бы обрести реальность.

— Кажется... я понимаю, как сходят с ума.

— Вы не сойдете с ума.



— Почему?

— Потому что я вам все объясню.

— Что вы обо мне можете знать?

— Вы же знаете о царе Руса.

— Что я о нем знаю?!

— Но можете узнать. В отличие от него. Он о вас знать не мог.

— Что вы хотите сказать?!

— Именно то, что вы подумали. Я о вас знаю все или многое, а вы обо мне ничего.

— Вы хотите сказать: вы — мой потомок?!

Он кивнул, и я ему сразу почти поверил. Столько было странностей в последнее время, что я поверил и в эту.

— А я, значит, потомок царя Русы?

Он снова кивнул, но не так уверенно.

— Все мы — прямые потомки многочисленных своих предков. И мы обязательно на них чем-то похожи — глазами, ушами, привычками, чертами характера. Чаще всего мы не можем увидеть предков и узнать, в кого пошли. К тому же предков много, похожи мы на каждого понемножку, это сочетание наследственных черт и есть наша индивидуальность. Случай похожести на кого-то одного, как у вас, — редчайший.

— И у вас редчайший?

— И у меня.

— Значит, это не такая уж редкость?

Он на мгновение задумался, и я заметил это, удовлетворенно откинувшись к высокой спинке скамьи: не такие уж они всезнайки — наши потомки, мы тоже не лыком шиты. Если, конечно, все это не чья-то злая шутка.

— Вас не удивляет, что я с вами разговариваю?

— Меня уже ничего не удивляет. Не пойму только, что вам нужно.

— Прошлые изучают для того, чтобы понять настоящее и предугадать будущее.

— Значит, вы пришли из будущего, чтобы покопаться в нашей жизни, и случайно обнаружили меня, похожего на вас?

— Не случайно. Похожесть — первый признак прямой генетической линии, и мне было любопытно...

— Полюбопытствовали — и хватит, — зло сказал я, все еще уверенный, что это розыгрыш. И демонстративно закрыл глаза, думая, что он сейчас уйдет. Но не утерпел, приоткрыл один глаз. Человек все так же неестественно прямо сидел на краю скамьи, с печалью глядел на меня. И мне вдруг стало стыдно. Что, если все правда? Приди я этак вот к своему предку — царю Русе, он, наверное, тоже отмахнулся бы от меня, как от нечистой силы. И я обязательно принял бы это за ограниченность, и мне было бы неловко за моего предка.

— Согласитесь, — сказал я, — нелегко поверить, что вы — реальность.

— Я вас понимаю, — оживился он, но не изменил позы, сидел все такой же прямой и неподвижный, как штык.

— Скажите мне, коли уж вы все знаете, верно ли, что племя царя Русы и есть проторусские?

— Возможно, царь Руса вошел в историю под именем своего племени, — неопределенно ответил он. — Вероятно, это были те самые племена, что селились обычно по руслам рек, — русловики, русляки, — входившие в конгломерат племен так называемого индоевропейского единства. Знаменитое переселение части этих народов — так называемое арийское переселение, — началось за тысячу лет до династии Русов на Армянском нагорье...

— Возможно, вероятно, — перебил я его. — История мертва и для вас?

— История не умирает, — убежденно ответил он, и мне почудилось нечто новое в его монотонном голо-

се. — История всегда живет в людях и влияет на их поступки.

— Например?

— Возьмите ваше время. Сколько копий ломается над проблемой народов, не оставивших своего имени.

— Вы говорите об ариях? Но они у нас чаще упоминаются в негативном смысле. Их скомпрометировали гитлеровцы.

— Это только подтверждает, что прошлое живет в настоящем. Одни прикрываются им, другие стремятся опорочить. Но время все расставляет по своим местам. Арии — так называли часть этих племен в Индии, и под таким именем они вошли в историю — имели высокую культуру, оставившую глубокий след в судьбах народов. Недаром они многим у вас не дают покоя. Находятся люди, уверяющие, будто прародина ариев — Восточное Средиземноморье, будто они сначала пришли в Северное Причерноморье, покорили якобы полудикое местное население и уже затем начали распространяться по Европе и Азии. Но Восточное Средиземноморье меньше всего подходит на роль прародины ариев. В то время оттуда, из горнила пустынь, населенных преимущественно кочевыми народами, извергалось рабство. Арии же были свободолюбивы. Да и никто не вправе заявить: арии — только мы! Это были представители большой общности. А общность, она и есть общность. В основе ее не завоевания и порабощения, а добрососедство, культурное взаимопроникновение...

— Но я читал недавно... — Я начал вспоминать, что именно читал на эту тему. Вспомнил чьи-то утверждения, что традиции древних захоронений, изменения их свидетельствуют об уничтожении одного народа другим, и если на черепках обнаруживается новая линия, то это будто бы уже доказательство вооруженной экспансии...

— Археологов можно пожалеть. Им приходится де-

лать выводы по очень скудным материалам, — сказал он, словно читал мои мысли. — В десятом веке на Руси началось строительство храмов. Можно ли на этом основании утверждать, что народ-aborиген был завоеван некими пришельцами? А в начале двадцатого века внезапно перестали строить храмы. Это тоже объяснять завоеваниями? Взаимопроникновение культур, их развитие приводят к естественным изменениям. И вообще в истории смену культур гораздо чаще вызывали естественные причины внутреннего развития народов, нежели завоевания. Орды кочевников, к примеру, поработив Русь, несколько веков уничтожали все подряд. А смогли ли уничтожить культуру?..

— Прогресс не остановить! — воодушевленно поддалкнул я.

— Не остановить, — подтвердил он. — Но иногда его ставят в очень опасное положение. Особенно в этом преуспела так называемая Средиземноморская цивилизация, та самая, в которой вы живете.

— Вот те на! — удивился я. — Да ведь весь прогресс — за последнее время.

— И регресс тоже.

— Пароходы, самолеты, полеты в космос...

— И подводные лодки, ракеты, оружие массового уничтожения, — перебил он меня. — Зло, как бы пышно оно ни наряжалось, какой бы демагогией ни прикрывалось, приходит к самоуничтожению. Ненасытная змея, дотянувшись до своего хвоста, начинает заглатывать сама себя...

Я вспомнил, что такой же разговор был у меня с Алазьяном, чуть ли не теми же самыми словами говорили, и задумался: случайно ли это? Поскольку случайно, как я недавно выяснил для себя, не что иное, как проявление некой высшей закономерности, то что означает этот повтор?

— ...При разумном устройстве общества каждому отдельному человеку нужно очень немного. Даже и вовсе

ничего не нужно сверх того, что он сам способен производить.

— Человеку многое нужно! — уверенно возразил я.

— Существовали цивилизации, — не слушая меня, продолжал он, — в которых высшим критерием ценности был один лишь труд. В ваше время трудом называют все, что угодно, всякую деятельность, даже бесполезную, даже вредную. Этот самообман приводит к обесцениванию подлинного производительного труда, к превращению его в одну из форм человеческой деятельности. И постепенно вы потеряете, если уже не потеряли, представление о радости труда. Можете ли вы уверенно сказать, что труд — ваша высшая радость?

— Пожалуй, нет, — замялся я.

— Это говорит о том, что у вас извращено представление о труде, либо о радостях, либо о том и другом вместе. Скажите, изучают ли у вас в школах истории трудовых цивилизаций? — вдруг спросил он.

— Каких, например?

— Хотя бы историю цивилизации ариев?

— А что о ней известно?

— Потому и не знаете, что не изучаете. А ведь многое в вас, да и в нас тоже — от нее.

— И в вас?

— Представьте себе. История человечества — это длинная цепь перевоплощений. Все мы, сами того не замечая, несем в себе прошлое. Хорошее и, к сожалению, плохое. Каждый наш добрый или дурной поступок эхом отдается в будущем. Жизнь отдельного человека или даже целого племени слишком коротка, чтобы заметить биологические изменения. Но они происходят непрерывно. И условия доброжелательства или человеконенавистничества, создаваемые нами, способствуют закреплению тех мутаций, которые больше соответствуют этим условиям...

— Вы же вот добрый, — прервал я его. — Значит, недобрые мутации в будущем не закрепились? Почему

бы, а? Ведь наша цивилизация, как вы говорите, способствует дурной наследственности.

— Вас, а значит, и нас тоже, спасли трудовые добродетели. «Владыкой мира будет труд!» Это ведь в ваше время провозглашено...

— Ну вот, а вы говорите...

— Я говорю, что вы на пути к выздоровлению. Социализм — лишь первый робкий шаг. Внешние и внутренние силы пытаются столкнуть вас с этого пути, извратить понятия трудовластия, народовластия, добровластия.

— Не столкнут? — осторожно спросил я. Как-никак это была попытка заглянуть в будущее.

— Не столкнут. Потому что вы будете сверять дорогу не только с умозрительным будущим, но и с реальным прошлым. Человек — продукт прошлого, всего прошлого, насчитывающего многие десятки тысячелетий, и вы угадаете единственно правильную дорогу между прошлым и будущим.

— Но как это можно, оглядываясь на прошлое, угадать будущее?

— Зная ошибки прошлого, можно сделать так, чтобы они не повторились. Что возвысило, к примеру, рабовладельческий Рим? Концентрация материальных средств, концентрация власти. Но это же его и погубило.

— Рим разрушили готы...

Он поморщился. Так, по крайней мере, мне показалось. То сидел неподвижный, с каменным выражением лица, а то по нему промелькнула какая-то тень. Мне даже показалось, что он чем-то обеспокоился. Огляделся. Ничто не изменилось в сквере, никто на нас не обращал внимания.

— Так вы себе внушили, — быстрее заговорил он. — Готы завоевали то, что потеряло способность даже защищаться. Рабство унизило труд. Сколько нужно рабов для благоденствия? Чем больше, тем лучше? Но множащийся порок лишь приближает гибель. Новые тысячи рабов

не умножили богатства, потому что производительность труда рабов не могла не падать. Человек в рабстве не вырабатывал и ничтожной доли того, что он делал, будучи свободным. Труд, как привилегия раба, становился презируемым. Даже труд так называемых свободных крестьян считался недостойным гражданина Римской империи. В то время проституция, извините, и та считалась более достойным занятием, нежели земледелие. Рабовладельческий Рим должен был погибнуть, и он погиб. Но ваша средиземноморская цивилизация почему-то не сделала вывода из этой исторической ошибки. Спустя несколько веков о Римской империи начали говорить как об образце, как о культурном расцвете. Вдруг было открыто высокое искусство, будто бы созданное в то время. В вашей цивилизации обнаружились силы, заинтересованные в реабилитации рабовладения. Не любопытно ли, что эта реанимация нравов рабовладения совпала с периодом зарождения основ капитализма, очень скоро проявившего себя как неорабство. Человек отчуждается от результатов труда, труд превращается в нечто необязательное для человека, даже презируемое, чести удостаивается не производитель, а потребитель. Ваше искусство переполнилось восхвалением жизни тунеядцев и бездельников, веселая бездеятельная жизнь становится эталоном благоденствия, образцом для подражания. Тратятся огромные средства на организацию досуга, на развлечения. Радость отрывается от деяния, от созидания, удовольствие превращается в биологический акт, не более того. В этих условиях человеку, виду гомо сапиенсов, остается два выхода — или выродиться и биологически погибнуть, или же в корне изменить общественный строй...

— Так мы и меняем, — не выдержал я его длинного монолога. — На смену капитализму приходит социализм.

— Меняете. Но пока еще неуверенно. Вы неразборчиво черпаете в прошлом не только доброе, но и дурное...

И вот тут до меня дошло: если он мой потомок и если знает прошлое, то ведь, пожалуй, знает и свое генеалогическое древо, и на том древе должно быть ясно обозначено, кто мать моих детей. Все эти заумные общественно значимые рассуждения сразу потускнели перед возможностью теперь уже узнать, кто для меня Ануш, — случайная радость и боль или друг на всю жизнь?

Задохнувшись от такой возможности, я закатил глаза к синему небу, испятнанному белыми пухлыми тучками.

— Если вы такой откровенный, ответьте мне на один личный вопрос?

Я боялся посмотреть на моего собеседника, боялся увидеть насмешку в его глазах. Ведь фантасты нам все уши прожужжали, что пришельцам из будущего запрещено вмешиваться в прошлое, что будто бы такое вмешательство приводит к катаклизмам. А с другой стороны, он столько наговорил мне, что еще одна маленькая личная информация ничего уж не изменит.

Птицы щебетали над головой, неподалеку шумели троллейбусы. А он молчал.

— Можете ответить?

Снова молчание.

Не меняя позы, я скосил глаза и не увидел никого. Скамейка была пуста. И вообще во всем сквере не было ни одной живой души. Я вскочил, огляделся — никого. Неужели опять наваждение? А я было успокоился, решил, что это его, моего потомка, проделки с Голосами. Пришел и нашептывает мне, чтобы я, так сказать, вник в проблему, понял глубинную связь времен. Если же его нет и не было, моего потомка, то не миновать мне визита к психиатру...

И тут я увидел Алазяна. Он вышел из кустов, что росли как раз напротив, опасливо озираясь, направился ко мне. Я насторожился: подумалось вдруг, что между Алазяном и этим пришельцем из будущего есть что-то общее. Недаром же они толкуют мне чуть ли не одно и



то же. Или Алазяну, как и мне, нашепывается то же самое? Ему, как энтузиасту идеи, мне, как живому экспонату, подтверждающему идею?

— Куда он исчез?

— Кто?

— Тот, что с вами сидел.

— Точно? Вы видели? — обрадовался я.

— Слева вы и справа вы. В глазах начало двоиться?

С чего бы?

— С обеда, — весело подсказал я.

— Никогда не бывало. Да я и не пил почти. Так, для приличия, гость же за столом.

— Вы из приличия передо мной, я из приличия перед вами. Вот нам обоим и чудится.

— О чем вы?

— Так...

Он молчал, искоса поглядывая на меня, я молчал, искоса поглядывая на него, и оба мы, вероятно, думали об одном и том же: привиделся нам этот третий или был на самом деле? Ни он, ни я не решались заговорить о нем, боясь признаться в галлюцинациях.

— Так что же вы решили? — наконец спросил он.

Я не ответил. Сидел и думал об Ануш, которая — теперь-то было ясно — совсем не случайно пришла под мои окна там, в Москве. И еще я думал о той странной надписи на камне, обнаруженной тоже, вероятно, не случайно. Когда много случайностей, это же верный признак закономерности. Нет, нельзя мне уезжать, нельзя прерывать эту цепь радостных для меня случайностей. И тут еще я вспомнил прочитанную легенду, в которой говорилось о драгоценных камнях. Как в надписи, найденной сегодня. Но в легенде речь шла не о драгоценностях, а о камнях Родины, что дороже всяких драгоценностей. «Когда снова встретитесь, — владейте», — вспомнил я и замер от внезапной мысли: может, это как раз для нас сказано, для меня и для Ануш. Это ведь мы нашли надпись. Может быть, это и есть тот самый город

из легенды? И нам в нем жить и работать? Владеть?!

Теперь мысль об отъезде показалась мне прямо-таки чудовищной. Я решил завтра же отправиться к Ануш, работать вместе с нею на раскопках. И пусть она вечерами рассказывает мне об удивительном древнем городе Мецаморе, о современной Армении. Я имею право интересоваться всем этим, это, можно сказать, мое личное право. Вдруг и на самом деле в эту каменистую землю уходит корнями мое генеалогическое древо?!

И еще я вспомнил продолжение тех злополучных стихов:

Нет, рабу я не буду рада...

Дальше шло так:

Я лишь друга пустить могу!

Конечно же, друга, только друга, кого еще допускают к сердцу в наше время?!

Я обрадовался так, что Алазян по моему лицу сразу все понял.

— Так вы остаетесь? — спросил он.

Я повернулся к нему и с неожиданной для самого себя горячностью попросил:

— Пожалуйста, расскажите мне о Мецаморе?!

## ЧТО МЫ ПАНДОРЕ?

Любая неполадка в системе подпространственного перехода кончается катастрофой. Корабль превращается даже не в пыль, даже не в свет — в ничто. Это было непонятно, и вначале ученые, замороженные законом сохранения энергии, верили, что корабль просто-напросто проваливается в антимир или в какую-то подобную прорву. Потом разобрались: все превращается в поле, исчезающее слабое на фоне гигантских энергетических и прочих полей Вселенной.

А на этот раз катастрофы не произошло. Мы поня-

ли, что находились на грани гибели, лишь после того, когда все осталось позади. Но задним числом страх не тот — его затапливает радость.

Обычно материализация происходит вдали от звездных масс. На этот раз мы «выскочили» вблизи огромного розового солнца, кинулись в сторону, чтобы не вызвать его особых гравитационных реакций и чтобы уйти поскорей от энергетических возмущений вакуума. Последнее, впрочем, предписывалось программой суперперехода. Мы мчались с максимальным ускорением, с опасением оглядываясь на приборы — фиксаторы мощных, все уплотняющихся потоков солнечных корпускул. И уже на другой день увидели Ее.

Голубой лодочкой она плыла в черной пустоте, и первое, что испытал каждый из нас, было глубокое сочувствие к ней, одинокой, сострадание, даже нежность. Мы любили эту планету еще до того, как разглядели ее моря и материки. Анализаторы, уловившие излучения планеты, показали, что она наделена всем — теплом и светом, водой и жизнью. Да, да, жизнью и, возможно, разумной, так сложен был спектр излучений.

— Всем одаренная!..

Это определение впервые вырвалось у Пандии, нашего корабельного врача, юной, чуточку взбалмошной девушки, которую все на корабле обожали и побаивались за проницательный аналитический ум и острый язычок, а я... Впрочем, что обо мне говорить...

— Назовем планету — Пандия, — осторожно предложил я.

— Если всем одаренная, значит, Пандора. Так по древнегреческой мифологии, — сказал кто-то.

— Пусть будет Пандора, — согласился командир. — Но запишем, что это название в честь нашей милой Пандии. Возражений нет?

Возражений не было, и он ввел название вновь открытой планеты в корабельный журнал. Но тут многие начали вспоминать, что мифологическую Пандору боги

одарили не столько добродетелями, сколько человеческими недостатками — коварством, хитростью. Ведь она и сотворена была Гефестом и Афиной в наказание людям за поступок Прометея, похитившего для человечества с неба огонь. Однако вносить поправки в корабельный журнал было не принято. На этом никто и не настаивал. Многие ли помнят мифологию? Зато Пандора — звучало.

Кровавый зрачок на приборе, регистрирующем возмущение вакуума, то вспыхивал, то угасал. Но это никого не беспокоило: так ему и полагалось, вакууму, торгующему материю в виде корабля со всей его автоматикой-кибернетикой и нами, пятерыми путешественниками, через небытие пространства. Волновало другое: почему вакуум так спокоен? Даже инструкция, впитавшая опыт многих успехов и неудач, предупреждает об опасности взрыва вакуума. Ворваться в его таинственные поля все равно, что бросить песчинку в перенасыщенный раствор. В мгновение ока начинается кристаллизация, и песчинка оказывается замурованной в прочнейшем саркофаге из монолитно сцепившихся молекул. А бывало и так: корабль выныривал из подпространства вместе с гигантским пузырем нового солнца, оторваться от которого, естественно, не удавалось.

На этот раз все было спокойно, будто мы вовсе не исчезали в пустоте и не материализовались вновь. Возникло даже подозрение, что ничего у нас не получилось: мы остались в своей же Солнечной системе и, не узнав ее, поспешили переименовать собственную Землю.

Уходя в пространство со скоростью солнечного ветра, мы успели выбросить на Пандору автоматический зонд. Но он исчез, едва вошел в атмосферу планеты. Выбросили еще один, но и его — будто не бывало. Это было немыслимо: автоматические зонды достаточно автономны, чтобы в случае какой-либо опасности для них изменить программу полета и возвратиться на корабль. Или уж во всяком случае сообщить о том, что с ними проис-

ходит. А тут быстрое затухание радиосигналов, точно атмосфера планеты была непрозрачна для них.

Пока продолжался полет по вытянутой в пространство орбите, мы все ломали головы над тайной Пандоры. Вакуум оставался спокойным, и у нас не было никаких оснований уходить далеко. Уже на третьи сутки мы решили вернуться к планете и лечь на дальнюю круговую орбиту.

Голубоватый диск планеты висел над нами, ослепительно сияя зеркальными отражениями океанов. Она была красива и ночью, эта Пандора, расцвеченная гирляндами подвижных огоньков. Одних этих огней было достаточно, чтобы поверить в высокоразвитую цивилизацию, существующую здесь. Но мы и без огней знали, что она есть, цивилизация: об этом ясней ясного говорили аномальные тепловые излучения, напряженное псиполе, свидетельствующее о высшей степени нервной деятельности живых организмов. Только радиосигналов никаких не было, словно местная цивилизация развивалась по каким-то неведомым путям, не знающим электромагнетизма.

В течение нескольких суток мы ждали, держа наготове все наши защитные средства. Но никто не приблизился к нам, и что было удивительнее всего — приборы не зафиксировали ни единого сигнала, ни одной попытки хоть как-то прощупать корабль. Нас не замечали. И тогда, как это часто бывает с людьми, полностью уверовавшими в свою безопасность, мы чуточку зазнались.

— Не висеть же так до скончания века, — однажды за обедом в кают-компании сказала Пандия и с вызовом поскобrelа на меня.

Я отвел глаза, как всегда отводил их под взглядами Пандии, и промолчал. Конечно, следовало что-либо ответить. Потому что кому еще не отвечать на подобные вызовы, как не космическому разведчику, призванному первым вторгаться в неведомое. Но случай был слишком необычный, в таких случаях решать не мне.

Неожиданно Пандию поддержал командир:

— В самом деле, надо что-то предпринимать.

Одного за другим он оглядел всех членов экипажа, всех специалистов, но мы только пожали плечами. Не было никаких, совершенно никаких оснований опасаться Пандоры, но два пропавших катера слишком много значили, чтобы терять бдительность. Ни у кого не было предложений.

— Если наш разведчик трусит, то я сама могу повести катер на планету, — сказала Пандия.

Предложил бы это кто другой, я не обратил бы внимания. Но выглядеть трусом в глазах Пандии мне никак не хотелось. И я сказал:

— Это противоречит инструкции...

Лучше бы я не упоминал об инструкции, потому что Пандия терпеть не могла никаких предписаний, придерживаясь убеждения, что в глубинах человеческой психики скрыто куда больше возможностей, чем мы полагаем, и предощущение, предчувствие лучше любых инструкций ограждает от бед.

— Ну конечно, — съязвила она, — в инструкциях ясно прописано, как спастись. Если строго следовать инструкциям, то лучше бы оставаться на Земле...

— Хватит тебе, — поморщился командир. — Что ты на него взелась?

— Я?! На него?! Больно надо!..

Все засмеялись за столом, и она обиженно замахала своими ресницами, оглядываясь по сторонам.

— Ничего смешного не вижу!..

— Да ты не обижайся, — сказал ей командир. — Это мы так. Была бы у меня хоть какая-нибудь надежда на успех, отправил бы я вас вдвоем. Разбирайтесь там...

Снова все засмеялись, а я замер, прямо-таки застыл от предчувствия такого счастья. Пандия и я! Вдвоем! В открытом космосе! О таком я не мечтал даже и во сне.

— Можно попробовать за зондом, — робко предложил я.

— Как это за зондом?

— На разведочном катере. Не выпуская зонд из виду. Чтобы, так сказать, визуально проследить, в какой момент и куда пропадают зонды.

— В этом что-то есть, — сказал командир. — Давайте-ка все просчитаем...

Если бы я знал о том, что ни для кого не было секретом. Но влюбленные глухи. Как глухари, которые во время брачного пенья ничего не видят и не слышат...

На нашей стороне Пандоры была ночь, когда разведочный катер — летающая тарелочка, как мы его, любя, называем, — беззвучно выскользнул из стартовой камеры, медленно отдалился от корабля и, включив тормозные дюзы, стал падать на планету, переходя на более низкую орбиту, на которой уже находился очередной зонд. Этот зонд казался крохотной звездочкой, готовой вот-вот затеряться среди других звезд.

Планета никак не реагировала на наше к ней приближение. Ни один импульс не шелохнулся на приборах, и наш премудрый кибер — автономное электронное устройство катера — даже при самом пристрастном опросе не высказывал никаких опасений, словно мы для планеты не существовали.

— Это даже обидно, — сказала Пандия.

— Что? — не понял я.

— Чего они на нас внимания не обращают?

— Так хорошо, что не обращают...

— Ничего хорошего! — оборвала меня Пандия, и я подумал, что женщина и в дальнем космосе остается женщиной, все-то ей хочется, чтобы ее замечали.

Но Пандия, оказалось, думала о другом.

— По ответной реакции судят о намерениях, — сказала она. И добавила сердито и назидательно, совершенно уверенная в своем праве учить меня: — Даже звери, прежде чем напасть, шипят, рычат или лают, давая знать о себе. Чтобы увидеть, как среагирует жертва, и

понять, что делать дальше, — преследовать или самому удирать.

И снова я подумал о женской психологии. Как видно, корни ее кроются в древних инстинктах. Неистребимая потребность женщины выделяться, жажда внимания к себе, может, это и есть рудиментарный остаток стремления проверить реакцию мужчины? Чтобы понять, что делать дальше — продолжать преследовать или спастись бегством.

— Ну что же, давай порычим.

— Я говорю серьезно! — вскинулась Пандия.

— И я серьезно. Давай как-нибудь проявим себя.

Катер нырнул на ночную сторону планеты, мы вытолкнули фонарь, и он, падая и обгоняя нас, вспыхнул так ослепительно, что защитное поляризационное устройство резко затенило окна. Подобные фонари мы выбрасывали над мертвыми планетами, чтобы осветить их при ночной посадке. Не увидеть эту вдруг ярко вспыхнувшую луну может только слепой. И мы, естественно, ждали хоть какой-нибудь реакции Пандоры. Но опять ничего не произошло. Ну совершенно ничего — ни ответной вспышки, ни хоть какого-нибудь радиоимпульса. Словно обитатели планеты начисто были лишены любопытства.

— Это даже обидно, — сказал я.

— А что я говорила! — воскликнула Пандия, обрадованная, что вышло по ее.

Снова мы выскочили в ослепительный солнечный свет, снова залюбовались голубыми морями, изумрудной зеленью лесов. Зонд, теперь летевший впереди нас так близко, что мы ясно видели его раскинутые крыльями солнечные батареи и сетчатые чаши антенн, повинаясь программе, начал удаляться, переходя на более низкую орбиту. И вдруг его радиоголос пропал. Мы все еще видели сияющую точку зонда, но он молчал, словно все радиопередатчики его внезапно вышли из строя.

Сообщив на корабль о случившемся, мы, чтобы не потерять зонд из виду, тоже включили тормозные устрой-



ства и скоро услышали голос зонда. Но теперь исчез корабль. Сразу исчез, на полуслове.

Целых полтора оборота — день, ночь и еще день — летели мы, перебрасываясь с зондом малозначащей информацией, стараясь не потерять его из виду и раздумывая, что теперь делать.

— Вдруг мы уже в ловушке, — сказала Пандия. — Вдруг так и будем летать вдвоем...

— Я бы не возражал...

— Вечно ты со своими глупостями! — взорвалась она. И добавила неожиданно капризным тоном: — Только о себе и думаешь.

— Я только о тебе думаю...

— Нашел время любезничать!

Однако в голосе ее уже не слышалось ни капризности, ни раздражения, и я промолчал, не стал объяснять, что вовсе не собирался любезничать, а просто хотел успокоить Пандию, не показать, что встревожен положением не меньше ее.

— Попробуем подняться, — сказал я. — Зонд, конечно, потеряем. Но хуже, если потеряем корабль.

Огненный всплеск под дюзами двигателя был коротким, и ни я, ни Пандия даже не почувствовали, как выскочили на более высокую орбиту. Зонд, все время маячивший впереди, конечно, сразу исчез из поля зрения. Зато мы услышали корабль.

— Что случилось? — обеспокоенно спросил командир. — Куда вы пропали?

Я доложил обо всем и высказал предположение, что мы, вероятно, имеем дело с каким-то экраном, непрозрачным для радиоволн.

— А потому, — сказал я, покосившись на Пандию, обычно не терпевшую, когда решали за нее, мы считаем возможным действовать самостоятельно, то есть сойти на низкую орбиту, разыскать хотя бы один из зондов и попытаться сесть рядом с ним.

— Вы понимаете, что рискуете?

— Рисковать — моя специальность.

— Но не Пандии. Она всего лишь врач.

— А я не трусиха! — с вызовом заявила Пандия, и я понял, что командир нарочно поддел ее. Потому что кто-кто, а она-то из одного лишь противоречия ни за что не откажется от посадки.

Тут наш разведочный катер скользнул за планету и голос командира пропал. Я не стал дожидаться, когда мы снова войдем в зону радиовидимости, — вдруг командир передумает, — включил двигатель на торможение, и мы вмиг оказались под этим таинственным экраном, не пропускающим радиоволны.

Зонды мы отыскиали на четвертом витке. Они стояли неподалеку друг от друга и непрерывно передавали данные о планете — составе атмосферы, плотности грунта, температурных режимах, интенсивности гравитационного, радиационного, биоэнергетического и прочих полей. Все было в таких параметрах, что о лучшем и не мечтать, хоть снимай скафандр и ложись на зеленую травку, загорай.

Мы приземлились, или, точнее сказать, «припандорились», вблизи от зондов на небольшую каменистую площадку, выступающую над обширным полем, и ровную, словно специально приготовленную для нас. Солнце садилось, лучи его оттеняли неровности рельефа, высвечивали изумрудную зелень трав и мелких кустарников, буржившихся по всему полю.

Подчиняясь программе, заложенной в них на случай такого вот коллективного приземления вместе с разведочным катером, зонды вытолкнули из своего металлоорганического чрева длинные, согнутые в коленях, ноги и, как гигантские пауки, пошагали к нам через поле. Приблизились с разных сторон и застыли неподалеку, чтобы в случае нужды защитить катер от нападения, а то и принять на себя первый удар. Так и стоял наш десантный отряд, прислушиваясь к малейшему шороху, приглядываясь к малейшему движению, ощупывая ок-

рестности лучами радаров. Ночь так стоял, день и еще одну ночь. По-прежнему тихо было вокруг. Не сбегались толпы любопытных аборигенов, которых так хотелось увидеть, не появлялись какие-либо механизмы, которые должны были появиться хотя бы для того, чтобы выяснить, кто такой пожаловал на планету. А то, что цивилизация здесь существовала, и довольно высокая, говорили, прямо-таки кричали приборы, фиксирующие интенсивность псиполя.

— Тут какая-то тайна, — сказала Пандия, устав от ожидания.

— Загадок в космосе не бывает, — машинально ответил я.

— Вечно ты возражаешь.

— Но ведь это правда. Тайнами мы называем то, чего не понимаем. Но все в конце концов объясняется, и тогда нам самим бывает неловко за нашу, пусть мимолетную, веру в существование таинственного...

Она не дала мне дальше развить мысль о человеческих заблуждениях, казавшуюся мне такой глубокой.

— Ну и что? Ты должен согласиться.

— Как это согласиться. С абсурдом?..

Я тотчас понял, что говорю не то, и лихорадочно начал придумывать, как бы загладить свою вину. Но, взглянув на Пандию, увидел, что она меня даже и не слушает, смотрит, не мигая, куда-то в россыпь кустов и лицо ее каменеет от напряженного ожидания.

— Там, — прошептала она, указав глазами на кусты. — Там кто-то есть.

Из-за куста появилось существо, похожее на собаку, и затрусил в нашу сторону. Зазуммерил сигнал тревоги, наш катер и все три зонда ошетинились излучателями. А существо все приближалось. Странно как-то приближалось, зигзагами, должно быть, хитрило. И без анализаторов было ясно, что это не слишком высокоразумное существо, потому что не может же высокий разум бегать на всех четырех конечностях. Приборы фиксировали

каждый шаг, каждый взгляд равнодушных зеленых глаз. Анализаторы лихорадочно обобщали показатели приборов, торопясь понять намерения существа и заранее выработать систему действий в случае его агрессивности. А четырехное существо, будто и не замечая нас, вплотную приблизилось к катеру. И тут его заинтересовала пятая опора, глубоко вошедшая в грунт. Оно осмотрело ее со всех сторон, вроде даже обнюхало, а затем вдруг подняло заднюю лапу и опросталось на блестящую ледоритовую поверхность опоры.

Все мы отреагировали на этот поступок аборигена по-разному. Электронный мозг, со свойственной ему педантичностью, принялся за анализ жидкости, вылившейся на опору. Я расхохотался, подумав, что так нам и надо, космическим снобам, уверовавшим в свою исключительность, которой, по нашему мнению, все во Вселенной должны либо бояться, либо жаждать. А Пандия побелела от злости.

— Долго мы будем тут сидеть?! — спросила она таким тоном, будто во всем виноват был один я.

— Столько, сколько нужно.

— Кому нужно? Тебе? Перестраховщик несчастный. Ты можешь сидеть, а я выйду.

— Без моего разрешения люк не откроется.

— А ты разрешишь.

— Не разрешу.

— Нет, разрешишь!

— Нет, не разрешу!

— Ну, пожалуйста, — вдруг взмолилась она, поразив меня такой неожиданной трансформацией. То была сама злость, а то стала сама нежность, какая-то беспомощная детская доверчивость. И я с удивительной непоследовательностью подумал: в самом деле, почему бы не разрешить? Ведь нет ничего такого, что говорило бы о возможной опасности.

Я еще колебался, а Пандия уже стояла возле люка, словно знала меня лучше, чем я сам себя знал. Она бы-

ла необыкновенно красива в эту минуту, в мягком скафандре, обтягивавшем тело, тонкая, гибкая и вся какая-то напряженная, словно пантера перед прыжком.

— Ну?! — нетерпеливо сказала она, блеснув на меня своими темными глазами. — Ну же, миленький!

Я никогда не слышал от нее такого слова и, совсем ошалевший, буркнул электронному мозгу, чтобы пропустил Пандию в переходной тамбур. И тут же кинулся следом, вспомнив вдруг об обязанности разведчика первым встречать опасность.

Но первой в мягкую траву все-таки выпрыгнула Пандия, решительно отстранив меня в последнюю минуту, чему я не смог воспротивиться. Почва была твердой, но не как камень, а как бывает твердо, скажем, дерево. Мы отошли от катера на несколько шагов и остановились, оглядываясь, остро переживая этот редкий момент первой встречи с чужим миром. В синем небе висели пушистые облака, солнце припекало, и, несмотря на систему температурной регуляции, в скафандре было довольно жарко.

— Красивый мир! — воскликнул я, не оглядываясь на Пандию.

Она не ответила.

— Как наша Земля. Пожить бы тут, отдохнуть от космоса...

Сзади слышались какие-то звуки, я быстро обернулся и обомлел: скинув с головы капюшон скафандра, Пандия стояла, подставив лицо солнцу, жмурилась от удовольствия.

— Как хорошо дышится! — На открытом воздухе голос у нее был чуть глуховатый — мягкий, грудной, красивый голос. — Скидывай капюшон, чего боишься?

— Дело не в боязни, надо выполнять инструкцию.

— Я лучше твоих инструкций чувствую, что можно, а чего нельзя.

Это была правда. Десятки уж раз Пандия доказывала свое необыкновенное чутье. словно в ней самой на-

ходились какие-то приборы, улавливающие неведомые излучения будущего. Порой раньше корабельного электроного мозга она предсказывала опасность или отсутствие таковой и, сколько помню, никогда не ошибалась. Собственно, из-за этой необъяснимой способности она и попала в команду нашей разведочной экспедиции. Единственная женщина, которая с первого же дня стала для меня единственной вдвойне.

— Нельзя нарушать инструкцию, все может быть... — не сдавался я.

— Ничего не может быть. Ты что, мне не веришь?!

Это уже было похоже на шантаж. Ведь она знала, что у меня не повернется язык возразить ей. Я вздохнул, мельком подумав, что обо всем этом придется докладывать командиру, после чего — это уж точно — он меня вместе с Пандией никуда не отпустит, беспомощно огляделся и потянулся к застегкам капюшона.

Воздух был какой-то густой, насыщенный ароматами трав, цветов, а может, и еще чего-то неизвестного нам.

— Мне надоел этот... панцирь!

Пандия рывком расстегнула скафандр и выскользнула из него, маленькая, изящная, в тонком, голубоватом, чуть люминесцирующем комбинезончике, плотно облегающем ее тело.

— Была бы связь, я бы доложил командиру...

— Не доложил бы, — засмеялась она и побежала по лугу, оставляя за собой темную полосу подмятой травы.

И вдруг она застыла на месте, замерев в какой-то неестественной, напряженной позе. И прежде чем она что-либо сказала, я сам увидел вдали огромную зеленую гусеницу, выползавшую из-за бугра. У нее были большие красные глаза, которыми она непрестанно шевелила, оглядывая окрестности, а внизу, под длинным гибким туловищем что-то часто-часто мелькало, то ли крутились колесики, то ли шевелились бесчисленные гибкие ноги. Вдоль туловища тянулась широкая поблескивающая полоса. Не сразу дошло до меня, что полоса эта — сплош-

ной ряд окон и что гусеница, стало быть, всего лишь некое средство передвижения, вроде поезда. Скоро я разглядел в окнах и пассажиров — ряд голов, покачивающихся ритмично при движении гусеницы-поезда.

— Я боюсь! — шепотом сказала Пандия.

— Не бойся, я с тобой, — машинально пробормотал я, совсем забыв, что без оружия, вдали от защитных полей нашего разведочного катера сам совершенно беспомощен. Самое разумное в этой ситуации было бы немедленно бежать к катеру, но, зачарованный этой первой встречей с чужой цивилизацией, я вопреки всем инструкциям добавил: — Не шевелись, они нас, кажется, не заметили.

— Нас могут не заметить, но катер, но зонды...

— Чего уж теперь! Стой...

Гусеница проползла совсем близко, и я хорошо разглядел пассажиров, сидящих у окон. Это были существа, чрезвычайно похожие на людей. Некоторые, повернув головы, рассматривали нас и нашу армаду механизмов, громоздившуюся посреди поля. Я даже видел их глаза, большие, чуть раскосые, но какие-то равнодушные, словно встречи с инопланетянами были для них обыденным явлением.

— Они нас приняли за своих! — воскликнула Пандия. — Они совсем как мы...

— Надо надеть скафандры, — сказал я. — И надо вернуться в катер.

— На всякий случай?..

— На всякий случай, — подтвердил я, не подозревая подвоха.

— Интересно, где была бы наша цивилизация, если бы все жили то твоей формуле?

— По какой это формуле?

— Вот по этой самой. Зачем высовываться, когда можно спрятаться. На всякий случай.

Я не успел ответить. Из-за того же самого бугра поползла другая гусеница и, так же изгибаясь на поворо-

тах, направилась прямо к нам. Не успевшие ничего принять, мы стояли и ждали, замерев на месте.

На этот раз гусеница даже притормозила, замедлила ход, и несколько десятков больших раскосых глаз целую минуту рассматривали нас почти вплотную. И опять меня удивило равнодушие на лицах аборигенов. Потом этот странный поезд прибавил скорость и, шелестя тысячами гибких ножек, скрылся за кустами.

Мы с Пандией переглянулись. Чего угодно ждали от встречи с инопланетянами, но только не безразличия.

— А ты говорил: надо прятаться, — сказала она.

— Не прятаться, а проявлять осторожность.

— Проосторожничали бы. Здесь, похоже, требуется прямо противоположное. Жалко, я их не остановила.

— Как бы ты это сделала?

— Встала бы на дороге...

— В другой раз встанешь. А сейчас надо лететь, сообщить на корабль хотя бы то, что мы уже узнали.

Я хитрил, говоря о другом разе. Мне надо было заманить Пандию на катер и вернуть на корабль, а там я бы уж сделал все, чтобы в разведочные рейсы она больше не попадала. Иначе плакали все наши инструкции, составленные на такой вот случай встречи с внеземной цивилизацией. Иначе нельзя поручиться за судьбу всей нашей экспедиции.

Но Пандия со своим неестественным чутьем, как видно, угадала мое тайное намерение.

— А что мы такое здесь узнали? — саркастически спросила она, отстраняясь от меня. — Не терпится — лети, я тебя подожду.

И тут мы оба разом увидели еще одну гусеницу, направлявшуюся тем же маршрутом.

— Стойте! — закричала Пандия, бросаясь ей навстречу и размахивая руками.

Я побежал следом, боясь, как бы ее не подмяло это зеленое идущее-ползущее чудище. Но гусеница остановилась в нескольких метрах от Пандии, быстро-быстро за-



шевелила красными глазищами и вдруг спросила грохочуще-железным голосом:

— В чем ты нуждаешься?

Я едва не присел от неожиданности. А Пандия, похоже, ничуть не испугалась или умело спрятала свой испуг. Мельком глянув на меня, она вдруг воздела руки к небу:

— Я приветствую вас!..

— В чем ты нуждаешься? — так же бесстрастно прогрохотал голос.

— В понимании! — громко, почти визгливо прокричала Пандия.

— Мы тебя понимаем.

— Нет, не понимаете!

Наступило минутное молчание. Потом в зеленом боку гусеницы с глубоким вздохом открылась дверца, и на траву медленно и величественно сошла женщина, поразительно похожая на Пандию. Такие же у нее были распущенные волосы, такой же облегающий гибкое тело комбинезон. Даже рост у них был одинаков. Несмотря на всю необычность обстановки, в первый миг я игриво подумал, как бы между ними не запутаться. Но, взглянув в лицо аборигенки, понял: спутать невозможно, таким оно было бесстрастным, это лицо. И глаза, большие, раскосые, казались некрасивыми от того, что в них ничего, ну совершенно ничего не выражалось. Холодные, пустые, бесчувственные глаза.

— Приветствую вас! — снова прокричала Пандия, и в голосе ее послышалось мне нечто новое, неуверенность, что ли?

— Мяу! — сказала женщина. Так мне, во всяком случае, послышалось. Но так, видимо, послышалось и Пандии, потому что я заметил, как она метнула взгляд под ноги аборигенки, машинально ища глазами кошку или что-либо похожее на нее, мяукающее.

Женщина издала какие-то мурлыкающие звуки, но ее заглушил грохот динамиков гусеницы.

— Если вам что-нибудь нужно, говорите сразу. Мы не можем задерживаться, у детей экскурсия.

При последних словах женщина скосила глаза на окна, и я догадался, что грохочущий голос — это, по-видимому, перевод ее мурлыканья-мяуканья. И тоже посмотрел на окна и не понял, о каких детях речь: в гусенице-поезде сидели совершенно взрослые существа, у некоторых были даже бородаки.

— Экскурсия! — ахнула Пандия. — А можно с вами?

— Садитесь.

— Подождите минуточку, я только переоденусь.

— Не разрешаю! — хмуро сказал я, лихорадочно соображая, правильно ли делаю, запрещая ей отправиться на эту экскурсию. Пандия наверняка собирается надеть скафандр, а это значит, и я, оставаясь здесь, увижу и услышу все, что будет видеть и слышать она. И потеряться в скафандре невозможно, поскольку в нем имеются все системы связи. К тому же и в инструкции сказано, что доброжелательность при контакте следует поддерживать в тот самый момент, как она наметилась.

Я знал, что Пандия не упустит случая ответить мне что-либо в своем духе. Но она не успела ничего сказать, как загредел динамик, оглушил:

— Сборы не нужны. Мы скоро вернемся, и вы опять будете дома. Хотите ехать — садитесь. Мы не можем ждать.

Женщина, все такая же холодно-безразличная, почти надменная, как светская дама из древних романов, повернулась и направилась к входу в свою гусеницу. А Пандия, растерянно оглядываясь на меня, засеменила за ней.

— Вы ведь женщина, вы должны понимать, что мне надо одеться. Там же мужчины...

— Там только дети...

— Пандия! — крикнул я, не зная, что предпринять.

Она отмахнулась и через мгновение исчезла в темном прямоугольнике двери. Сердце мое сжалось.

Мне вдруг показалось, что я больше никогда не увижу ее.

— Пандия! — не помня себя, закричал я и, забыв обо всех инструкциях, кинулся следом.

Дверь плотоядно чмокнула, словно захлопнулись челюсти.

Внутри было светло, но свет падал не только через окна, а струился, казалось, со всех сторон. Два десятка далеко не молодых людей без всякого интереса рассматривали нас, иные зевали, сонно жмуря глаза.

— Здравствуйте! — сказала Пандия.

Никто ей не ответил.

Женщина что-то мяукнула, и по рядам кресел пронесся то ли ропот, то ли какой-то шорох.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — прогремел все тот же металлический голос. — Я сказала детям: невежливо не отвечать на приветствие, даже если вы все знаете о людях. И вот они исправляют свою оплошность, здороваются с вами. А теперь садитесь и молчите. На экскурсии не разговаривают друг с другом, на экскурсии познают, беседуя сами с собой.

Пандия сразу поскуцнела: не разговаривать, когда ничего вокруг не понятно, было выше ее сил. Почему, например, эта странная женщина называет взрослых людей детьми? Как это «познавать, беседа сам с собой»? Впрочем, последнее могло означать просто — «мыслить». Смотреть по сторонам и думать, обдумывать увиденное и таким образом учиться...

За окнами побежали назад кусты и поля, но ни шума, ни вибрации, ни каких-либо толчков, свойственных всякому движению, не было. Словно гусеница продолжала стоять на месте, а все окружающее само собой начало двигаться. Тысячи гибких ножек, на которые опирался этот удивительный вагон, работали безупречно.

Вскоре и сверкающие овалы нашего разведочного катера, и угловатые, похожие на жуков зонды исчезли вдаль. Но не было тревожного чувства, какое нередко при-

ходило на других планетах во время экспедиционных отлучек. Словно все происходило дома, на Земле, и это была привычная поездка по знакомым, много раз изъезженным дорогам.

Ничего не менялось за окнами — все те же поля, кусты, странно круглые, похожие на холмики перелески, прозрачные, состоящие из низкорослых, хилых на вид деревьев. Потом потянулся берег реки, широкой и полноводной, потом показались острые изломы скал. Но все это было не то, чего мы ждали. Мы рассчитывали увидеть города Пандоры, неведомые технические сооружения аборигенов, не просто катающихся, как наши соседи в гусенице-вагоне, а занятых делом, работающих. Ведь по деяниям легче всего судить об образе жизни, да и образе мыслей тоже.

Сидя в своем удивительно удобном, почти совсем не ощущаемом кресле, я с интересом оглядывался на сидящих рядом экскурсантов и не видел в их сощуренных, словно в дремоте, глазах никакого интереса к окружающему. Казалось, они уже тысячу раз видели все эти леса и горы. Тут еще можно было понять молчаливых аборигенов. Но почему им безразличны мы? Ведь женщина-экскурсовод ясно дала понять, что они знают о нашем прилете из космоса. Да если бы к нам, на Землю, заявился хотя бы один инопланетянин!.. Даже представить трудно, что было бы. Люди перестали бы работать, гулять, ходить в гости, сутками просиживали бы у телевизоров в ожидании хоть каких-нибудь подробностей о существе, «свалившемся с неба», тысячами осаждали бы всякое место, где объявится инопланетянин, в надежде, если не поговорить с ним, то хотя бы увидеть и услышать его. А тут!.. Какая-то цивилизация мертвецов...

Я поежился от этой мысли. Вспомнилась давно позабытая детская сказка, где по ночам мертвые выходили из могил и бродили молчаливыми толпами, пугая людей. Мелькнуло шальное: уж не попали ли мы на тот свет? Я испуганно оглянулся и в глазах Пандии тоже увидел



испуг: видно, и ее донимали страшные мысли. Она-то со своей обостренностью чувствования, пожалуй, раньше меня должна была испугаться.

А вокруг была тишина, не нарушаемая ничем, и от этой тишины, от безмолвного движения за окнами, от пустых, ничего не выражающих глаз всех этих существ становилось не по себе.

«Ты же разведчик, — кольнул я себя ехидной мыслью. — Дело разведчика не только прорываться туда, где никто не бывал, но находить выход из любых положений».

Я посмотрел на женщину-экскурсовода. Она сидела неподвижно, с высоко поднятой, чуть откинутой головой, отчего ее пушистые волосы стлались по подлокотнику кресла. Мне показалось, что она к чему-то прислушивается.

— Можно спросить? — прошептал я.

Большие раскосые глаза ее округлились, губы сложились в трубочку и послышался тихий, довольно мелодичный свист.

— Тс-с, не мешайте детям думать! — громыхнул над головой металлический голос переводчика.

Я тотчас ухватился за возможность задать новый вопрос:

— Какие же они дети?..

Женщина повернулась, показала мне, как надо сесть. Я последовал ее примеру, прижался ухом к спинке кресла и сразу услышал тот же голос, но уже тихий, словно бы доверительный:

— Да, они еще дети. Им нет и сорока лет.

Мне стало не по себе. Мой сорокалетний юбилей отмечался как раз перед этой экспедицией. Тогда товарищи говорили, что я давным-давно созрел не только для героических подвигов в космосе, но даже и для семейной жизни. А я краснел как мальчишка, пряча глаза от Пандии, присутствовавшей на юбилее, которая почему-то

и не думала краснеть, хотя отлично знала, что и в ее огород этот камешек.

Может, экскурсоводша имела в виду то, что все мы до седых волос в чем-то не перестаем быть детьми? Я понимающе улыбнулся ей и сказал неожиданно:

— У вас красивые волосы.

Она скосила на меня свои глазищи, и я увидел в них не привычное холодное равнодушие, а что-то вроде любопытства.

— И глаза у вас удивительные.

Ее губы шевельнулись, что я расценил как улыбку и, воодушевленный, начал торопливо придумывать очередной комплимент, торопясь закрепить наметившееся взаимопонимание. Но в голову, как назло, лезли одни банальности, вроде все того же «у вас красивые...».

— Однако! — игриво сказала Пандия.

Женщина кольнула ее взглядом и повернулась ко мне, что я расценил как готовность продолжать этот разговор.

— Я так и знала! — произнесла Пандия.

— Что ты знала? — всполошился я.

— Да уж чувствовала.

Не приходилось сомневаться в ее предчувствиях, но тут она, по-моему, перестаралась.

— С вами приятно разговаривать, — сказал я женщине. — Вы умница, все-то понимаете.

— Да, мы все понимаем, — ответствовала она.

— Куда уж понятнее! — тотчас вставила Пандия.

— Хорошо у вас, — сказал я, обводя рукой широкие окна. — Мне тут нравится.

— Оставайтесь...

— Что?!

— Оставайтесь, — повторила женщина и улыбнулась в точности так, как улыбаются земные красивые женщины — изящно и обворожительно.

— Как это?

— Очень просто. Оставайтесь, и все. Вы узнаете много такого, чего не знает никто на Земле.

— Где? — опешил я.

— На Земле. Так ведь называется ваша планета?

— А... откуда вы знаете, что мы с Земли?

— Мы узнали это сразу, как только ваш корабль материализовался из вакуума.

— А что вы еще узнали?..

— Все, — сказала она, почему-то покосившись на Пандию. И вдруг добавила: — Оставайтесь, у нас многие остаются.

Это было совсем уж неожиданно.

— Вы хотите сказать?..

— Да, именно это. Вы не первые у нас.

— А кто еще был?

Я начал вспоминать историю наших сверхдальних экспедиций, но Пандия, каким-то образом поняв, о чем я думаю, сказала раздраженно:

— Не о нас она, не о нас.

Я все никак не мог согласиться с мыслью, что планета, на которую мы попали, возможно, и есть один из тех перекрестков космических миграций, о существовании которых ходили легенды среди космонавтов. Попасть на такой перекресток означало найти дороги ко многим обитаемым мирам.

— А кто еще тут был? — снова спросил я.

— Перечисление вам ничего не даст, — ответила женщина.

— Значит, мы — одни из многих? Этим объясняется безразличие к нам? Значит, вы просто, как говорится, устали от визитов?

— Не этим. Ваша цивилизация ничего не может дать нам.

— Но вы же нас не знаете.

— Знаем, — бесстрастно возразила она.

— Откуда?

— Из анализа ваших излучений. В том числе и та-



ких, которые вы никак не фиксируете. Анализы были проведены еще до того, как ваша лодка опустилась на нашу планету.

— Так не бывает! Чтобы одна цивилизация ничем не заинтересовала другую? Не бывает!..

Женщина никак не отреагировала на мое восклицание. Отреагировала Пандия. Скользнув томным взглядом поверх моей головы, она изрекла:

— Что поделаешь, дорогой. Вы их не интересуете.

Ситуация была настолько неожиданной, что я не обратил внимания на эту язвительную реплику. Было такое ощущение, словно меня вежливо попросили удалиться. Я тупо смотрел на проплывавшие за окнами все те же поля и перелески, на все так же неподвижно сидящих перестарков-детей и не смел поднять глаз на женщину-экскурсовода. Наконец до меня дошло, что это мое предположение никак не вяжется с их безразличием к нам. Ведь если им все равно, есть мы тут или нет, то откуда вдруг возьмется желание избавиться от нас? Желание — это уже не безразличие. И я решил сделать вид, что не понимаю намека. Если мы их не интересуем, то они-то нас очень даже интересуют. Сами, не способные ни о чем просить, они, похоже, не умеют отказывать в просьбах. Остановилась же эта гусеница, когда Пандия кинулась ей навстречу...

— Трудно поверить, что наша цивилизация ничем не может обогатить вашу, — завел я все ту же пластинку.

— Мы избегаем новой информации. Мы многократно убеждались, что новая информация — это лишь новое толкование давно известного...

— Новое — хорошо забытое старое, — подсказала Пандия.

— Нет ничего такого, чего бы мы не знали или не могли бы узнать при желании.

— А желаний нет, — снова вставила Пандия. — Какой уж тут интерес, если желаний нет.

— Желания отнимают время, — как ни в чем не бы-

вало продолжала женщина. — Каждому из нас не хватает жизни на то, чтобы усвоить уже накопленные знания.

У меня вдруг пропал интерес к этой планете. Что это за жизнь без желаний! Простая передача накопленных знаний от поколения к поколению? А рост, а дальнейшее развитие? Возможны ли они, когда никто ничего не хочет? Это же как у муравьев: одно и то же, одно и то же из поколения в поколение. У муравьев жизнь по биологическому стереотипу, а тут по социальному?

Теперь было понятно, почему нет связи с кораблем. Они отгородились от излучений космоса, не желая ничего знать сверх того, что им уже известно.

Ну что ж, на нет, как говорится, и суда нет. Но мы-то не дошли до такой жизни, нас-то у них многое может интересовать. А раз так — держитесь, уважаемые пандорцы! Пользуясь вашей долготерпимостью, мы будем совать нос повсюду...

— Я должна кое-что объяснить, — сказала женщина. — Наша долготерпимость безгранична.

Мы с Пандией переглянулись, и я понял, что думали мы с ней об одном и том же. Обоим нам стало не по себе от этого объяснения женщины-экскурсовода. Значит, она читает наши мысли? Значит, мы действительно ничем не удивим их, поскольку все, что мы знаем, — в наших мыслях?

— Но ведь не бывает такого, чтобы одни ничем не могли быть полезны другим! — воскликнул я, никак не желая примириться с мыслью о своем ничтожестве.

— Ничем, — холодно сказала женщина. И показала на окна: — Мы возвращаемся, вы можете выйти.

За окнами уже поблескивали вдали металлические корпуса зондов и катера. И никого вокруг. Похоже было, что на этой уставшей от знаний планете и в самом деле не нашлось ни одного любопытного, кого бы заинтересовали наши аппараты.

— Высокоразвитая цивилизация не может быть негуманной, — сказал я, не желая отступить.

Женщина поняла сразу все — и что я хотел сказать, и то, о чем только собирался подумать.

— Мы не нуждаемся в новой информации. Но вы можете получить любую. Что же вас интересует?

— Все! — сразу отозвалась Пандия.

— Все не может интересовать никого. Любое разумное существо, как и общество в целом, может понять лишь очередной этап знаний.

— При таких возможностях нам трудно конкретизировать вопросы. — Я решил схитрить. Говорил и старался не думать о том, что вертелось на языке, чтобы не выдать себя. — Но мы рассчитываем на вашу помощь.

— Мы никому не отказываем в помощи.

— Вы не могли бы выйти вместе с нами?

— Зачем?

— Нам нужно спросить у вас...

— Спрашивайте.

— Это нужно там... в нашем катере.

— У вас неисправность? Я пришлю тех, кто вам поможет.

— Нет, все в порядке... Нам только спросить. Но лучше спросить там, в катере...

Я совсем измучился от необходимости говорить одно, а думать другое, чтобы она не угадала моей хитрости. Мне казалось, что если она сама увидит нашу технику, то поймет, что и мы не лыком шиты, и тогда возникнет обоюдный интерес, так нужный для контакта.

— Вам необходима привязка к аппарату? — спросила женщина. — У вас нет самостоятельности?

— У некоторых — никакой, — не упустила Пандия возможности съязвить.

— Экскурсия не может остановиться. Дети ушли в свои мысли, дети учатся, и я не вправе прервать этот процесс. Но если вам нужно, я вернусь. Довежу экскурсию до конца и вернусь.

Мы вышли из гусеницы, и она снова засучила своими бесчисленными ножками, заторопилась дальше. Последний раз мелькнули в окнах все такие же равнодушные лица, последний раз изогнулось за бугром длинное тело поезда, казавшееся живым, и мы остались одни на лугу в окружении своих зондов. Солнце перевалило за полдень, слабый ветер приятно охлаждал лицо, было тихо и спокойно на этой странной планете, которой мы были нисколько не нужны.

— Что говорят на этот счет твои инструкции? — ехидно спросила Пандия.

— Они говорят, что так, как ты, нельзя себя вести при контакте.

— А как ты, можно?

— Что я такого сделал?

— Так вести себя с незнакомой женщиной! Она же инопланетянка.

— Вот именно. А я разведчик. Ты не забыла?

— Я ничего не забываю.

— Мне полагается вести себя так, как я нахожу нужным.

— Ну-ну, — ехидно сказала Пандия. — Ты большой мастер своего дела.

Я разозлился. Это было наконец смешно, вести такие разговоры в такой момент.

— Неужели нам нечего больше обсудить?

— Еще наобсуждаемся. Ты же видишь, какие они. Тут хоть оставайся. А позлить тебя так интересно!

— Ты сама злишься.

— Я? Больно надо!

— Тебе не кажется, что мы ведем себя здесь как-то странно?

— По-моему, ты всегда такой...

— Встретились с иной цивилизацией, а думаем о каких-то пустяках. Увязались в эту дурацкую экскурсию, ведем праздные разговоры вместо того, чтобы занимать-

ся исследованиями... Бывало, обыкновенная букашка с другой планеты вызывала бурю...

— Они мне сразу не понравились, — сказала Пандия.

— Кто?

— Эти отупевшие от учебы «дети», эта гражданка из поезда-гусеницы. Послушай! — схватила она меня за рукав. — Может, дети — вовсе не дети, а космонавты вроде нас? Те, которых уговорили тут остаться?..

— Ну у тебя и фантазия! — сказал я, внутренне пожевываясь от такого предположения. — Тебе бы фантастические романы писать.

— А что?! Это же очень-очень развитая цивилизация. Бездна знаний. Пока их переваришь...

— В этом что-то есть, — признал я.

— Наконец-то заметил!..

— погоди ты... — Я задумался. — Ты сказала: «пока переваришь»?

— Да, а что? Ведь если у них бездна знаний, то и переваривать эти знания нужна бездна времени.

— Ну?

— А жизнь ограничена. Биологические рамки не раздвинешь...

Меня поразила эта мысль, и я, воодушевленный неожиданной идеей, собрался добавить что-то свое. Но вдруг увидел, как глаза Пандии округлились в ужасе. Оглянулся и чуть не шарахнулся в сторону: возле меня, буквально в метре, извивалась, шевелилась, хватала воздух голая по локоть человеческая рука. Ничего вокруг, только эта рука, беззвучно ищущая что-то в пространстве. Самое ужасное было в том, что рука была мне знакома — белая, мягкая, какая-то по-особому пластичная.

Я глянул на Пандию: руки у нее были на месте. Да и понял, что эти изнеженные пальцы никак не могли принадлежать Пандии, чьи руки всегда лезли не в свое дело и потому были исцарапаны и искилоты.

А рука все трепыхалась в воздухе. Наконец, она ух-

ватила что-то, медленно согнулась в локте, и мы увидели выходящую прямо из пустоты нашу знакомую аборигенку.

— У меня что-то заедает в системе подпространственного перехода, — произнесла она на чистом русском языке. Точнее, произнесла не она, поскольку губы ее даже не шевельнулись. Голос, мягкий, певучий, исходил из маленькой коробочки, прикрепленной у нее под горлом. — Так что вам нужно? Говорите скорей.

— А чего говорить, если вы сами все знаете.

У меня это вырвалось произвольно, и я тут же пожалел о сказанном, испугавшись, что она попросту обидится и исчезнет. Но, видно, даже обижаться не было в привычке у этих пандорцев.

— Конечно, знаем, — сказала она все тем же безразличным тоном. — Вы все, не только земляне, но и все другие тешите себя нелепой надеждой, что можно у кого-то что-то подсмотреть, перенять. Так ведь?

— А что в этом плохого?! — вскинулась Пандия.

Аборигенка даже не повела глазом в ее сторону, сказала, по-прежнему обращаясь ко мне:

— Плохо то, что вы себя обманываете. Перенять чужое — значит воспользоваться чужим, на это могут рассчитывать только нравственно несовершенные существа.

— Ну, знаете! — опять не выдержала Пандия.

— Чужие знания могут быть поняты лишь в том случае, когда свои близки к ним. Но тогда чужое и не нужно. Не в использовании чужого, а в развитии, совершенствовании своего — путь всякого прогресса.

Я видел, как Пандия нервно передернула плечами: вместо обоюдоинтересного контакта приходится выслушивать назидательно-приторную нотацию, на которые горазды и свои, земные, лектора. Это называется — напросились.

— Но мы хотели не только узнать о вас, но и сообщить вам о себе.

— Зачем?

— Как это зачем? Как зачем?!

Теперь я не глядел на Пандию. Если уж мне невмоготу выслушивать такое, представляю, каково ей.

— У нас существует запрет на собственные знания, зачем же нам ваши?

— Как это запрет на знания?

— Я так и знала: вам неизвестен биологический предел познания. Хотя трудно поверить, что ваши ученые не додумались до сравнительного анализа созревания биологических систем...

Что-то знакомое было в ее словах. Будто бы только что я думал об этом самом. Думал, да почему-то недодумал.

Мы так и стояли посреди поля, и было в этой беседе что-то непонятное, противоестественное. Солнце, желтое, как лимон, клонилось к горизонту, и тень от стоявшего неподалеку нашего разведочного катера тянулась к нам по ярко-зеленой траве, словно подкрадывалась.

Не так, совсем не так представлялся мне первый контакт с представителями иной цивилизации. Сесть бы друг против друга в салоне нашего катера, который, право же, был совсем не плох для такого случая, да угостить инопланетянку как следует, да поговорить по душам, никуда не торопясь. А то получалось, что разговариваем, как прохожие, — здравствуй и до свидания.

— Пожалуйста, будьте добры, пойдёмте к нам, — залопотал я, подобострастно жестикулируя, чуть не кланяясь.

Женщина удивленно посмотрела на меня и, как мне показалось, только из жалости направилась к катеру. Пандия шла следом и молчала, и я рад был, что молчала, потому что в эту минуту больше всего боялся ее ехидного язычка.

Войдя в салон, женщина мельком огляделась и никак, ни словом, ни взглядом не выразив своего отношения к увиденному, повернулась ко мне.

— Давайте знакомиться! — торжественно произнес

я. — Меня зовут Андреем, ее — Пандией. Мы представители миролюбивой и дружественной планеты Земля...

— Это я знаю, — резко прервала меня женщина. И вдруг добавила: — Меня зовут Ная.

— Многоуважаемая Ная! Прежде чем мы начнем беседовать, пожалуйста, познакомьтесь с нашей земной цивилизацией, с нашей историей, культурой... Мы вас очень просим, — добавил я совсем уж слащавым тоном.

Не знаю, что на нее подействовало, — убедительность слов или мольба, явственно прозвучавшая в моем голосе, — только она, ни слова не говоря, ни о чем не спрашивая, шагнула к креслу, тому самому, в котором обычно мы брали сеансы самообучения, и села в него. Так-таки подошла и села, словно заранее знала, куда и как садиться, словно это было ей не впервой. Я предложил ей надеть наушники, но она сказала, что и так все услышит. Я попросил ее быть внимательной, поскольку изображения на экране меняются довольно быстро, но она удивленно посмотрела на меня. То есть она только подняла свои ставшие круглыми, как у кошки, глазщи, и я решил, что она именно удивлена. Или это была такая телепатия, внушение взглядом?

Объяснять больше было нечего, и я включил информационную систему. Для начала решил показать нашу историю, все, что было хорошего и плохого за много тысячелетий существования рода человеческого.

— Быстрее, — сказала она.

Я увеличил скорость подачи информации, решив, что самые ранние периоды истории ее не заинтересовали.

— Быстрее.

Снова прибавил скорость и счел нужным предупредить:

— Дальше будет интереснее...

— Быстрее, — перебила она меня.

Подскочила Пандия, до сих пор молча стоявшая в стороне, включила информаппарат так, что он завизжал.



— Тебя же по-человечески просят: быстрее, — со злорадством проворчала она.

Это была совсем уж безумная скорость, однако Ная ничего не сказала, сидела со скучающим видом, смотрела на экран, на котором ничего нельзя было разобрать — сплошная толчея цветочных линий.

Общая история человечества проскочила быстро. Экран побелел на мгновение и снова замельтешил тенями. Дальше была история научных открытий с бесчисленными формулами и цифрами, над каждой из которых думать да думать. И Ная задумалась, уставив свой все еще равнодушный взгляд в мерцающий экран. А потом протянула руку к экрану, и... мерцание прекратилось.

— Это неинтересно, — сказала она. Изобразила пальцами какую-то фигуру, и экран сам собой снова замерцал. Изображения теперь мелькали не так быстро, как вначале, и я разглядел, что Ная снова смотрит фрагменты общей истории. Как она, впервые увидевшая нашу технику, переключила все по-своему, мне было неизвестно. Но факт оставался фактом: она разбиралась в нашей технике не хуже нас самих. Эта ее способность все мгновенно понимать восхитила и ужаснула меня. Получался не контакт, а какое-то совершенно не равное общение. Такое я чувствовал только один раз в жизни, когда мальчишкой-первогодком впервые оказался в учительской перед бородатыми педагогами. Тогда я уже совершенно точно знал, что учителя существуют для меня, а не наоборот, но не мог отделаться от ощущения, что я для них что-то вроде червячка-мотыля, который рассматривают со всех сторон, прикидывая, как получше посадить его на крючок.

И вдруг до меня дошло, что ведь она, всезнающая инопланетянка, смотрит то, что уже смотрела. Значит, что-то ее заинтересовало?

— Вы что-то ищете? — спросил я, наклонившись к Нае. От ее волос пахло цветами, напоминающими ароматы, любимые Пандией.

Она повернулась ко мне, и я впервые так близко увидел ее красивое, чуть бледноватое лицо, ее глаза, в которых уже не было прежнего безразличия.

— Я еще не знаю, что именно, — сказала она с какой-то новой интонацией в голосе.

Это было уже немало. Во всех инструкциях сказано, что при контакте не следует пугать аборигена своими знаниями или незнаниями, а необходимо проявлять чуткость даже к незначительным проявлениям интереса. Другими словами: надо подлаживаться и делать вид, что тебя безумно интересует то, что заинтересовало его, хоть это, по-твоему, и сущая ерунда.

— Вы скажите, я вам помогу.

— Не знаю... Может быть... Пожалуй, нам надо лучше познакомиться.

— Куда уж лучше, — бросила Пандия из своего угла, куда она забилась, как неприкаянная, и сидела там в кресле, забравшись в него с ногами. Она почему-то показалась мне страшно одинокой в эту минуту, всеми забытой.

Ная взяла меня за руку и, ни слова не говоря, властно потянула к выходу. Рука у нее была мягкой, невесомой, но неприятно холодной.

— Иди, иди, разведчик, — ехидно бросила Пандия.

Я на миг возмутился, хотел сказать, что обязанность разведчика не только первым бросаться в огонь и в воду, а проникать в неведомое, в том числе и в неведомые глубины психики инопланетян. Но ничего не сказал. А в следующий миг уже не мог ничего сказать, потому что люк катера за нами сам собой закрылся. Не выпуская моей руки, Ная прошла немного, мягко ступая по жесткой траве, потом резко повернулась, положила руки мне на плечи и близко, в упор, уставила мне в глаза свой пристальный колючий взгляд, от которого я словно ослеп, как слепнут от яркой вспышки. Еще ничего не видя, почувствовал, что она сняла руки с моих плеч.

— Теперь можешь оглядеться, — слышался рядом ее голос, звучащий так, словно мы находились не в поле, а в закрытом помещении.

Медленно, очень медленно проступали контуры предметов. Собственно, предметов почти и не было никаких, — только два кресла с высокими подголовниками и обычный журнальный столик с зеркальной поверхностью. А вокруг — стены. А может, это были и не стены вовсе, так, туман, плотный, слабо люминесцирующий.

— Тут я живу, — сказала Ная. — Садись.

Только теперь я заметил, что она обращается ко мне, как старая приятельница, — на «ты». Это обрадовало: значит, есть контакт, есть доверительность. Хотя кто знал, что означал у них переход на «ты»?

— Неуютно живешь, — в тон ответил я. — Никакой мебели. Где же ты спишь?

— Там, — махнула она рукой куда-то в туман. — А это, как это у вас? — гостиная.

Я подумал, что гостей она принимает не иначе как только по одному, раз тут всего два кресла.

— Сейчас больше не нужно, — сказала Ная, прочитав мои мысли. И неожиданно улыбнулась. Или мне только показалось, что улыбнулась, потому что глаза ее сощурились и блеснули, а лицо смягчилось и стало еще красивее. — А когда нужно, мест может быть сколько угодно. Смотри.

Она провела ладошками по гладкой поверхности столика. Я смотрел за ее руками и ничего особенного не видел: столик как столик, руки как руки. Только свет вроде как изменился, стал темновато-розовым.

— Не сюда смотри, вокруг.

В недоумении я даже встал с кресла. Стены исчезли и вокруг до самого горизонта, над которым висел розовый блин местного солнца, простирался хаос геометрических фигур. Это был город. Несомненно, город.

Насколько мне известно, природа нигде еще не создавала таких четко разлинеенных ландшафтов.

Паутина улиц вдруг ожила, дома, если только это были дома, начали перестраиваться. Через мгновение я понял, что это всего лишь меняется точка зрения, — Ная, видимо, решила показать свой мир с разных сторон, — но первое впечатление от этого подвижного города было настолько ошеломляющим, что я не сразу расслышал ее объяснение.

— ...все, что хотим, мы имеем, все, что можно узнать, — знаем. Ты, конечно, скажешь: все знать нельзя. Верно. Но мы не можем знать больше, на новые знания нас уже не хватает. Жизнь очень коротка, всего лишь двести лет. Но это максимум, доступный далеко не всем. До пятидесяти лет мы еще дети, до ста длится развитие мозга. Только к ста двадцати — ста сорока годам мы успеваем переварить массу знаний, накопленную до нас. Едва человек становится зрелым, способным на самостоятельную деятельность, как уже кончается жизненный ресурс...

Я был поражен. Но не тем, что она сказала, а недавней проницательностью Пандии, словно бы почувствовавшей, с чем мы тут столкнемся, и ни с того ни с сего вдруг заговорившей именно о возможности существования биологических рамок для разума, знаний, прогресса. Сколько раз убеждался ее удивительной, никому не понятной способности предугадывать будущее, и вот опять...

— Может быть, ты хочешь узнать, увидеть всю нашу историю?

— Да, конечно, — машинально сказал я, потому что как разведчику отказываться от возможности разом узнать все. Но в этот момент в мыслях у меня была Пандия, и я, подумав, что на ознакомление со всем прошлым и настоящим планеты уйдет уйма времени, нерешительно покачал головой.

— Все можно просмотреть очень быстро, — понял

причину моего отказа, сказала Ная. — Разве вы не знакомы с особенностями мозга лучше запоминать быстро мелькающие изображения? Информация, подаваемая на пороге восприятия, ложится сразу в долгую память, в подсознание. Разве ваш мозг устроен иначе?

Наш мозг не был устроен иначе. И наши педагоги тоже знают эту особенность мозга и успешно используют ее в обучении. Вот только, насколько мне известно, никто еще до конца не объяснил механизм подобного восприятия. Я еще раз порадовался обнаружившейся очередной общности между нами, но снова отрицательно затряс головой. Мне было жаль Пандию, мучающуюся теперь в неизвестности. Ведь ничего она не знает, куда я исчез и надолго ли. Хотел сказать об этом Нае, но вдруг увидел ее глаза, снова ставшие холодными, отстраненными, и промолчал. Не каждый день бывают подобные встречи, и нельзя, просто недопустимо не использовать до конца наметившееся взаимопонимание. Я только намекнул, что предпочел бы ограничиться знакомством с настоящим. Ведь и прошлое можно понять, если узнать настоящее.

Ная ничего не сказала, но виды за этими исчезающе туманными стенами вдруг начали меняться. Замелькали уже знакомые мне гусеницы-сороконожки, большие и малые, существа, похожие на людей, что-то делающие, сидящие перед широченными экранами, идущие, бегущие, даже плывущие где-то в море, открытом до горизонта. И еще то ли живые существа, то ли механизмы, прямо-таки нагромождения этих многоруких и многоногих, сползающихся и разбегающихся в разные стороны. То ускоряющиеся ритмы движения, то совсем замедленные, то стеклянное многоцветье, а то серая пустота перед глазами, сплошной туман, в котором копошились какие-то тени. Кто и что делал в этом мире, было совершенно непонятно, и я уже готов был признать, что не только прошлое, но и вообще ничего нельзя узнать, глядя на калейдоскоп этого настоящего.

И тут вдруг замелькали перед глазами детские мордашки, обыкновенные наивные и неизменно восторженные, милые. И другие — постарше возрастом, и еще постарше, и еще. Вот они уже и с легкими бородками, а все глуповатые, бегающие друг за другом, играющие в мячики, плаксиво хныкающие. Неловко было смотреть на этих инфантильных бородачей, казалось, что все они просто психически больны. «Что ж, — думал я, — и самые развитые цивилизации, наверное, не гарантированы от дегенератов... Но почему Ная решила показывать мне именно дегенератов?.. Да нет же, — одернул я себя. — Она же говорила, что до пятидесяти лет тут все — дети. Но почему?..»

— Почему? — Ная следила за моими мыслями. — Ведь и вы платите такую же цену за прогресс эволюции, только пока что не столь большую...

— Да нет же! — решительно возразил я. Не потому возразил, что был совершенно уверен в ее неправоте, просто ужаснулся перспективе такого прогресса.

— Я вывожу это из вашей истории, которую вы только что мне показали. «Мозг пятимесячного человеческого зародыша... есть мозг обезьяны, подобной мартышке...» Так признавал знаменитый ваш ученый Дарвин. А мозг новорожденного человека не слишком отличается от мозга новорожденного шимпанзе. Точка отсчета почти равная. А дальше? К пяти годам мозг обезьяны созревает и больше не развивается. А человек в это время еще ребенок. Мозг человека окончательно оформляется анатомо-физиологически лишь к восемнадцати годам. Так что и у вас затянуто детство...

— Но не настолько же! — вырвалось у меня.

— Вы привыкли к десятилетним детям, мы — к сорокалетним. Дело только в привычке...

— Не только!

— Не только, — вдруг согласилась Ная. — Есть у вас еще что-то, дающее основания верить, что вы не попадете в тупик, подобный нашему.

— Вот!...

— А что именно, никак не пойму...

Теперь, когда она избавила меня от страшного видения эволюционного тупика, я сам начал думать о нем всерьез. Детство человека в сравнении с детством обезьяны затянато, вероятно, ровно настолько, насколько человек ушел от обезьяны. Ведь детство — это основное время обучения, перенимания навыков и умений, накопленных предками. А если наши потомки так же далеко уйдут от нас, не будет ли и человечество обречено на столетнюю инфантильность? Ведь может получиться, как говорила Пандия: знаний будет столько, что их и за сто лет не переваришь.

Теперь я с тоскливым равнодушием глядел на чужую жизнь, все еще мелькавшую вокруг за исчезнувшими стенами. Мы живем надеждами, и потому гипотезы о космических катастрофах нас не пугают. Уверены, что к тому времени, когда такая опасность станет реальностью, мы обязательно что-нибудь придумаем во спасение свое. Мы допускаем, что надежда эта может оказаться самообманом, но совершенно не приемлем безнадежности. А тут вдруг появилась перспектива именно безнадежности, возникла реальная картина тупика. Жизненный ресурс указывал предел нашему развитию.

— Нет, у вас что-то не так, — сказала Ная, — а что — не пойму. Надо еще раз заглянуть в ваше прошлое.

— Почему в прошлое? Если уж интересоваться, то настоящим.

— Ты же сам сказал: настоящее можно понять, узнав прошлое.

— Я сказал наоборот.

— Если есть связь в одном направлении, то она будет и в обратном. Я хочу посмотреть именно прошлое. И давай поторопимся, а то твоя невеста без тебя улетит.

— Какая невеста?! Почему это она моя невеста? — не задумываясь, выпалил я с той же энергией, с какой отвечал на подобные подковырки еще там, на Земле.

Ная улыбнулась. Да, на этот раз именно улыбнулась. Только одними губами. Глаза оставались отчужденными, словно бы углубленными в какие-то свои заботы.

— Вы, люди, право же, как дети. Многого не знаете, а может, и знать не хотите, но это вам не мешает быть уверенными в себе, в своем будущем. Вы, как путники, забывшие о дороге, о том, что прошли непомерно много и пора бы устать. А вы не устаете. Чего-то мы в вас недопоняли. Пойдемте, я еще раз хочу посмотреть на путь, пройденный людьми...

Она вдруг быстро оглянулась, словно испугалась чего-то. Тотчас возникли туманные стены, отгородили от нас непонятную жизнь этой планеты.

— Дай руку, — сказала Ная, вставая. — Да быстрее, быстрее, а то опоздаем.

Я встал и подал ей руку, недоумевая, чего это она так заторопилась? Туманные стены сразу придвинулись, заволокли все вокруг серой пеленой. И тут же растаяли. И я увидел Пандию, лежавшую в кресле с откинутой спинкой. Подумал, что она спит, и, не желая ее будить, стоял и молчал, любовался ею, радовался ей, словно не видел целую вечность. Но она почувствовала, что я тут, резко обернулась и вскочила, кинулась ко мне, затормозила в неистовой радости.

И вдруг она тяжело навалилась на меня всем телом. Я схватил ее, но сам не устоял на ногах, и мы покатались по полу. Не сразу понял, что это обычное ускорение, какое всегда бывает при старте разведочного катера. С трудом поднялся на ноги и так и стоял, прижатый к переборке, распластанный на ее мягкой поверхности.



А Ная как ни в чем не бывало стояла посередине салона, словно ускорение ее не касалось. Она так и оставалась неподвижной до того самого момента, когда катер вышел на орбиту вокруг планеты и наступила невесомость.

— Я... я решила... — выговорила Пандия, боясь пошевелиться, чтобы не улететь в другой конец салона. — Столько ждать... Надо было сообщить на корабль...

— Включила минутную готовность? — догадался я. — Что же не предупредила?

— Да не успела, не успела... Ты появился так неожиданно...

— А как же теперь Ная?! — перебил я ее. Это было нарушение всех предписаний, по существу, похищение, категорически запрещенное инструкциями.

— Не беспокойся, я уйду, когда будет нужно, — сказала Ная. — Посмотрю еще раз ваши картинки и уйду.

Она подошла к информаппарату и включила его с той же немислимой скоростью. Я минуту смотрел на мельтешащий экран и повернулся к Пандии.

— Переволновалась?

Я ждал, что Пандия скажет свое неизменное «больно надо!», но неожиданно она подняла руку и потрепала меня по голове, как мальчишку.

— Не знала, что и подумать. Хотела сразу лететь за помощью, да не смогла. Подумала: ты вернешься, а меня нет....

— Все-таки смогла же, — не удержался я от упрека.

— Так ведь откуда я знала, может, ты насовсем ушел, — ответила она в том же тоне.

— Андрей! Андрей!.. — пробился в салон едва слышный голос командира корабля.

Я кинулся к радиопульту, торопясь и сбиваясь, принялся докладывать обо всем, что было.

— Возвращайтесь немедленно.  
— Не можем. На борту женщина.  
— Ну и что? — удивился командир.  
— Да не Пандия, не Пандия! — Я почему-то рас-  
смеялся.

— Во дает! — вмешался чей-то насмешливый воз-  
глас.

На минуту голос командира пропал и в салоне по-  
висла тишина, нарушаемая только тихим свистом ин-  
формаппарата.

— Какая женщина? — Командир спрашивал забот-  
ливо, как спрашивают больного.

— Да я же рассказывал: эта самая Ная...

— Красивая! — неожиданно вставила Пандия.

— Помолчи, пожалуйста, — сдержанно сказал  
командир. — Почему эта красивая Ная оказалась на  
катере?

— Сама захотела. Ее интересует общечеловеческая  
история. Сейчас она у информаппарата.

— Почему это надо делать обязательно на орбите?

— Так получилось...

— Ты же знаешь: это не допускается.

— Не допускается! — взорвался я. — А что тут до-  
пускается? Мы для них безразличны. До формально-  
стей ли?.. Хорошо, их хоть что-то заинтересовало.

— Что именно?

— Понятия не имею. Что-то такое, на что мы и вни-  
мания не обращаем.

— Ладно, — мягче сказал командир. — Высадите  
ее и сразу возвращайтесь.

— Да она сама уйдет.

— Как это?

— Потом объясню.

Я взглянул на Наю и увидел, что она просматри-  
вает информацию не с прежней бешеной скоростью.  
Я смог не то чтобы разглядеть, — разглядывать в мель-  
кании цветовых пятен и линий было нечего, — а дога-

даться: ее интересуют какие-то древние времена, когда человек уже многое умел, но мало что знал, когда господствовали не точные цифры, а расплывчатые символы, когда многое, очень многое принималось на веру, а ощущениям и предчувствиям придавалось такое же значение, как теперь формулам и логическим выводам. Наверное, не очень-то хорошим я был знатоком истории, если удивился тому, что этот период антропоцентризма и слепых верований был таким длительным: Ная все смотрела и смотрела, и никак не могла досмотреть.

— Ухожу, ухожу, — сказала Ная, не оборачиваясь, видно, угадав мои мысли. Она встала, и экран сразу погас. — Я знаю: вы еще вернетесь, а пока отдайте мне все это... — Она замялась, не зная, как назвать прибор, — всю эту информацию. Я должна разобраться.

— Берите, берите, — обрадовалась Пандия.

— В чем... разобраться? — Все-таки мне, как разведчику, полагалось выяснить причину столь неожиданного интереса этой представительницы цивилизации, где никто ничем не интересуется.

— Я еще не могу ничего утверждать, но похоже, что ваша цивилизация, ваш разум развивались парадоксально.

— Если можно, объясните.

— Не знаю, как и объяснить. — Она улыбнулась, как тогда, одними губами. — Мы убеждены: генеральный путь развития разума — логика, последовательность. Нельзя понять последующего, не зная предыдущего. У нас образованным считается лишь тот, кто хорошо представляет себе всю историческую цепь перевоплощений, откуда что взялось и почему. Не зная этого, нельзя пользоваться всем богатством накопленного опыта. Ваш разум, похоже, идет от аксиомы к аксиоме. Закономерность осознается лишь один раз, и больше никто не утруждает себя ее доказательством. Она принимается на веру. Так есть — и вы не хотите знать, почему именно так, а не иначе, и идете дальше налегке,

не оглядываясь, не отягощая себя этими «доаксиомными» знаниями. Так заказано, говорите вы, так создано, сотворено. Вы каждый раз начинаете сначала, и потому, наверное, обладая достаточными знаниями, избавляетесь от чересчур затянутого детства...

Ная замолчала, и я счел нужным напомнить ей о том, о чем она сама недавно говорила мне, — что мозг человека анатомо-физиологически созревает лишь к восемнадцати годам, гораздо позднее, чем у любого из земных животных. Я сказал это не для того, чтобы укорить Наю в непоследовательности, просто мне не терпелось окончательно избавиться от непомерной тяжести, навалившейся на меня, когда я с такой ясностью осознал возможность нашего эволюционного тупика. И мне хотелось, чтобы она опровергала меня. Одно дело, когда ты сам себя переубеждаешь, и совсем другое, когда это делает кто-то.

— Я еще не уверена в своих выводах, но допускаю, что на этих восемнадцати, ну, на двадцати годах вы и остановитесь. Придумаете очередную аксиому и пойдете дальше с юношеским энтузиазмом, с уверенностью в безграничности прогресса. Наш рок — недоверие, стремление каждого все познать самому. Ваше счастье — вера. Вера в разумное и доброе, которое вечно...

Мы с Пандией переглянулись. Вот уж чего не подумали бы, так это того, что мы, люди космической эры, обуздавшие едва ли не все силы природы, покорившие не только межпланетные, но и межзвездные пространства, живем по трафарету, созданному много десятков тысячелетий назад в те времена, изучению которых и в школах-то уделяется минимум внимания.

— Я еще не знаю, как этот ваш опыт поможет нам, но уже сейчас хочу поблагодарить вас за то, что вы прибыли, поблагодарить за искорку надежды, принесенную вами...

Она отступила назад, положила одну руку на экран информаппарата, другую на кресло и вдруг исчезла

вместе с креслом и экраном. В том месте, где стояли приборы, теперь была непривычная пустота.

— Может, не следовало отдавать-то? — испуганно спросила Пандия.

— А нам нечего скрывать!..

Я задышался от прямо-таки необузданного восторга. Такая цивилизация благодарна нам! Нет, не одними только техническими достижениями гордятся цивилизации! Основа всякого прогресса — человек, такой, как есть, каким его создала природа и каким он сам себя создал. И тут, в сотворении самих себя, мы, оказывается, далеко не последние в сонмищах космических цивилизаций.

— Ишь, как тебя разобрало, — сказала Пандия, подозрительно поглядывая на меня. — Небось хочешь вернуться к этой гражданке?

— Обязательно! — воскликнул я. — Нам еще обо многом надо поговорить.

— Поговори, поговори. Только не забывай, что этой бабуле лет сто пятьдесят, никак не меньше.

Я опешил. Вот о чем ни разу не подумал, так это о возрасте Наи.

— Какое это имеет значение?!

— Никакого, — пожала плечами Пандия и уставилась в иллюминатор на голубоватую, испещренную лохмотьями облаков поверхность планеты.

— Надо же! — с сожалением сказал я. Все-таки это не одно и то же — вспоминать о молодой и красивой женщине или о полуторастолетней старухе. А в том, что так оно и есть, можно было не сомневаться. Тут уж у Пандии чутье безотказное.

— Сочувствую, — поддразнила меня Пандия.

— А ведь как молодо выглядит.

— Это наши земные женщины тоже умеют.

Я подошел и обнял ее за плечи. Она не отстранилась, как делала всегда. Так мы и стояли, боясь спугнуть что-то невесомое, вдруг возникшее между нами.

Стояли и молчали, смотрели на голубоватую планету, уже не казавшуюся нам ни загадочной, ни необыкновенной. И нам было ее жаль.

## ПАН-СПОРТСМЕН

— Давай, Пан, давай!..

Похожий на осьминога биоробот, простейший анализирующий № 23—29, которого все звали просто Пан, высоко подпрыгивал, пружинисто падал на площадку и снова взмывал вверх, стараясь в точности выполнить требование и допрыгнуть до антенны, натянутой на уровне крыши.

Начальник наблюдательной станции на Аксиоме — четвертой планете звездной системы Зеты Симон Капиани стоял, расставив ноги, на краю площадки, взмахивая руками, и со стороны казалось, что это его взмахи, его волевые усилия подкидывают гибкое тело робота.

Иван Гулыга любил смотреть на станцию со стороны. Отходил по мягкой пыли до серебристо-серого бугра — застывшего лавового потока и с этой небольшой возвышенности смотрел на страшно одинокий в мертвой пустыне и потому казавшийся особенно красивым городок — полусферический дом, — такие же полусферические, только поменьше размерами, постройки энергоцентра и хозяйственных служб, ажурную вышку с параболической антенной и прожектором.

Сейчас этот единственный на мертвой Аксиоме оазис жизни выглядел особенно красочно: красное светило клонилось к горизонту, и вся пустыня, в полуденные часы серо-бурая, была теперь темно-красной. Ветер шевелил тяжелую пыль, и казалось, что по пустыне ходят багровые волны. И в этом тревожно пульсирующем мире неколебимо стояли, успокаивали зеленые, синие, желтые пятна построек станции.

— Хватит, чего ты его мучаешь?! — сказал Иван, прижав подбородком ларингофон.

Симон перестал махать руками, оглянулся. Очки его маски плеснули огнем отраженного солнца.

— Да ты посмотри на Пана. Прыгать для него — удовольствие. Если можно так сказать о роботе, — тотчас поправился он.

— Почему нельзя? — промурлыкал Пан своим странным булькающим голосом, к которому Иван никак не мог привыкнуть. — Мои чувства не похожи на ваши, но они есть.

— Робот должен работать, а не прыгать, — сказал Иван, не обратив внимания на замечание Пана.

— Я все делаю, что от меня требуют, — снова вмешался робот. — Могу попрыгать в свободное время?

— У робота не должно быть свободного времени.

— У человека должно, а у робота нет?

— И у человека не должно быть свободного времени, не занятого полезной деятельностью...

— Хватит спорить, — сказал Симон, снова кроваво блеснув очками. — Что делать, если нечего делать? — И расхохотался нечаянному каламбуру.

Спор этот был не первый и, наверное, не последний. Безделье мучило наблюдателей. Они были оставлены на этой планете на два года, продовольствием обеспечены на три года и на столько же энергией и запасными приборами. В первый месяц работы хватало: составляли датчики, налаживали автоматическую запись всего, над чем только могли установить наблюдение. А когда сделали все, затосковали. Предпринимать дальние рискованные экспедиции не разрешалось: задача исследователей сводилась к наблюдению за точной работой приборов. Да и нечего было исследовать на этой планете, безжизненной, монотонно ровной, без высоких гор и глубоких морей, повсюду покрытой одинаковой бурой пылью или наплывами лавы. Поверхность планеты еще раньше хорошо изучили автомати-

ческие станции. Но по невесть когда заведенному правилу исследование считалось незаконченным, если человек сам не поживет на планете. Это и предстояло троим исследователям — Симону Капиани, Ивану Гулыге и Оразу Мустафину. Троим потому, что это число, по мнению психологов, оптимальное для замкнутого коллектива. И вот теперь они маются вдвоем там, где одному делать нечего.

Начальник станции решил: единственное, что может спасти от оупляющего безделья, — это спорт. Он предписал всем, включая Пана, каждый день бегать и прыгать до ломоты в суставах. Чтобы не потерять форму. Но делать это приходилось в масках, поскольку кислорода в атмосфере не хватало, и все, включая самого Симона, проделывали эти процедуры с неохотой. Зато Пан, свободно чувствующий себя в любой атмосфере, казалось, нашел в спорте второе (или какое там по счету?) призвание. Он не начинал дня, чтобы не проделать часовую разминку, не пробежать по мягкой пыли предписанную начальником сотню километров. Пан уверял, что только после такой пробежки чувствует себя готовым к работе, поскольку все конечности получают необходимую гибкость, суставы — свободу движений, а нервные центры — высшую активность. Но автоматика повсюду работала исправно, и Пан, которому нечего было делать, продолжал свои упражнения целый день. Он явно любовался собой, демонстрируя перед людьми эти свои гибкость и активность, что дало Ивану повод назвать его однажды «самовлюбленным антропидом». Иван высказал даже опасение: как бы Пан, увлекшись самосовершенствованием, не перепрограммировался на самооберегание. Но Симон не разделял его опасения, заявив, что в борьбе с бездельем все средства хороши и что бы ни случилось, а Пана — самый сложный и дорогостоящий механизм — он сохранит в исправности...

Светило зашло, и сразу на пустыню упала непро-



глядная тьма. На вышке зажегся прожектор, рассеянным лучом осветил всю территорию станции и еще изрядное пространство вокруг нее. Пан перестал прыгать, улегся на своей площадке, звездой раскинув свои восемь ног-щупалец.

Пан был удивительным созданием, наделенным невероятной силой, фантастической неутомимостью, умеющий делать все. Но сейчас Ивану было жаль его. Со своим увлечением бессмысленными прыжками и бегом он напоминал могучего гордого льва, униженного дрессировщиком до совсем нетрудного для него, покорного нелепого прыгания на арене цирка с тумбы на тумбу.

Вечер прошел обычно. Кухонные автоматы выставили на стол заранее заказанные блюда, казавшиеся, как всегда, невкусными, поскольку никто давно уже не испытывал ни голода, ни обычного хорошего аппетита, вызываемого усталостью. Затем автомат-синтезатор скучным голосом прочел им дневную сводку, обобщающую показания всех датчиков за день, и сообщил, что сводка уже отправлена по космическому каналу связи. Затем Иван без особого энтузиазма сыграл в шахматы с вторым наблюдателем Оразом Мустафиным, продолжая бесконечный матч на первенство станции, и рано завалился спать.

Разбудил его подземный толчок. В этом не было ничего необычного — здесь такое случалось каждый день, — но Иван больше уже не мог уснуть. Вспомнился сон, странный, даже, пожалуй, страшный, и отдохнувший мозг принялся так и этак переворачивать ускользающие картины, анализировать.

«Почему сны так легко забываются? — думал Иван, рассматривая слабо освещенный потолок. — Работают только центры короткой памяти? Но и самая короткая память — долгожительница в сравнении с самым длинным сном. Значит, мозг, поиграв во сне фантастическими картинками, быстро стирает их. Как растеряв-

шийся студент, поймав строгий взгляд профессора, торопливо стирает с доски фантасмагорию цифр и формул, которые только что писал с завидной уверенностью...»

Но этот сон Ивану Гулыге хотелось хоть ненадолго удержать в памяти. Было в нем что-то необычное, тревожащее. словно напоминание, предупреждение о чем-то.

На Земле это было или на какой другой планете, в детстве или в теперешнем зрелом возрасте — не поймешь. Будто плясал он под звуки какой-то волшебной дудки, не хотел, а плясал. И был уверен почему-то, что пляска эта совершенно необходима для него, что она — помощница во всех делах, даже само дело. Потом он очутился здесь, на мертвой Аксиоме, под холодным фиолетовым чужим небом, но все плясал, потому что дудка продолжала звучать. И его товарищи по станции, даже наивный Пан, все плясали, забыв про свои дела. И когда подземный толчок раскидал их по сухой пыли, они и лежа еще дрыгали ногами, теряя секунды, которые еще могли спасти их...

Может, именно толчок, разбудивший Ивана, и породил весь этот бред? Но каким же быстрым должен быть сон, длившийся, казалось, так долго?!

Иван встал, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящих товарищей, вышел. У порога на просторной, поблескивающей в свете прожектора стекловидной площадке спал Пан, звездой раскинув свои конечности. Площадка эта была сделана специально для робота, чтобы лежал он на ней в такой вот сторожевой позе, не смыкая хотя бы пары из своих восьми глаз, прислушиваясь, принохиваясь, оставаясь в готовности в любой момент поднять тревогу, отразить нападение.

Увидев Ивана, робот заморгал изумрудным глазом и потянулся, грациозно приподнявшись на всех восьми своих щупальцах. И снова распластался на площад-

ке: было еще слишком рано, чтобы вставать, тем более что делать ему все равно было нечего.

Иван вышел из луча прожектора и сразу утонул в крошечной тьме. Безбоязненно, опасаясь лишь того, чтобы не споткнуться, он отошел подальше, поднялся на пологий лавовый бугор, нащупал ногами небольшую площадку и сел на нее, привычно погладив пальцами неровную поверхность. Площадка эта, словно доска, влитая в лавовый поток, была его любимым местом. В морщинках доски угадывался какой-то рисунок, почему-то казавшийся Ивану знакомым, и они, страдающие от скуки исследователи, в свое время построили немало гипотез относительно происхождения рисунка. Всегда увлекающийся Симон уверял даже, что это своеобразная карта звездного неба с хвостатыми кометами и линиями силовых полей. Симону повсюду мерещились следы иных цивилизаций. Однако никто не мог толково объяснить истинной природы столь четкого замысловатого рисунка, и Симон все больше утверждался в своей правоте.

Иван знал на этой доске каждую линию, и теперь, ощупывая холодный камень, он словно бы наяву видел рисунок.

Пустыня дышала холодом, и освещенная станция казалась из этой ледяной тьмы до боли одиноким оазисом.

Восток начал светлеть. Скоро тьма разделилась чертой горизонта на две части — темно-серую непроглядную поверхность планеты и темно-фиолетовое, испещренное редкими яркими звездами небо. Близился день, багровый от густо-красного солнца, холодный.

Когда совсем посветлело и стали просматриваться дали, Иван пошел к станции по мягкой нетронутой пыли, оставляя цепочку следов. В этот момент сильный толчок бросил его лицом в пыль, и он, падая, едва не сбил маску. Вскочил в тревоге, торопливо протер очки — толчок все же был необычно сильным — и уви-

дел, что вышка на месте, здание станции и все пристройки стоят целехонькие. А Пан, свержчуткий Пан, который первым должен реагировать на опасность, преспокойно подпрыгивает на площадке, занимаясь своей утренней разминкой.

Новый толчок покачул почву, послышался глухой гул. Равнина за станцией начала вспучиваться бугром, но и это не очень обеспокоило Ивана, поскольку Пан не прерывал своего занятия, только запрыгал быстрее. А потом он сорвался с места и помчался по пустыне, поднимая легкое облачко пыли. В тот же миг Иван почувствовал мелкое дрожание почвы, словно ее лихорадило. Оглянувшись на вспучившийся бугор и увидел вишнево-красный лавовый поток, валом нависший над склоном бугра. Мелькнула мысль, что именно эту вибрацию — предвестник извержения — уловил чуткий Пан и потому бросился бежать. Но такое его поведение никак не вязалось с программой, которой должен неукоснительно следовать робот, и Иван отбросил эту нелепую мысль. Испугать робота ничто не может. Робот обязан защищать людей до последнего и если уж погибать, то первым... Что он может против лавового потока?.. Пусть ничего не может, но в случае опасности он должен быть с людьми...

Все эти мысли вихрем метались в голове Ивана, пока он бежал к станции. Но лавовый поток оказался проворнее, пересек дорогу перед самым порогом.

— Ребята! — заорал он, стараясь перекрыть глухой хаос звуков — свистов, шипений, плодоядных чмоканий.

Он хотел перепрыгнуть лавовый поток, но отшатнулся, обожженный нестерпимым жаром.

— Ребята! — снова крикнул он, крепче прижав ларингофон, опасаясь, что в хорошо изолированном от всех внешних воздействий доме люди не слышат гула стихии. А толчки недр им не в новость. А робота, который первым должен подать сигнал тревоги, нет рядом...

И тут он заметил, что лава имеет необычное зернистое строение, словно это был не аморфный поток, а скопище каких-то огненных пузырей, мягких, ползающих друг по другу. Он отступил на несколько шагов, и вся эта масса, колыхнувшись, как студень, подалась к нему, изменив направление движения. Это было так странно, что Иван остановился и стоял, заслонив лицо руками, замороженно смотрел, как оранжево-малиновые пузыри, толчками переваливаясь один через другого, подбирались к нему.

— Берегись! — услышал он голос Симона. — Беги на вышку. Это огневка.

— Что?!

— Огневка. Разве не слышал? Особая неорганическая форма жизни.

— Так то сказки. Огневки не существует.

— Откуда-то берутся сказки. Беги!

— Надо понаблюдать. Это, похоже, не так уж опасно.

Отступая, он едва не упал, споткнувшись обо что-то. Оглянулся. Под ногами была плита со звездным рисунком. Когда снова посмотрел на огненный лавовый язык, то увидел, что он за эту минуту замешательства почти не сдвинулся с места. Тогда, прикрываясь от жара, Иван сделал шаг вперед, чтобы получше рассмотреть зернистый огонь. И заметил, что красный поток тоже качнулся вперед. Огневка, если и в самом деле была она, копировала движение.

— Беги! — сердито крикнул Симон. — Откуда ты знаешь, в чем ее опасность?!

Иван пошел к вышке скорым шагом. Оглянулся и увидел, что огонь тоже ускорил движение, катится за ним, не отставая. Тогда ему стало страшно, и он побежал, боясь оглянуться. Взлетел на высокий каменный фундамент вышки, прогрохотал по ступеням к верхней площадке. Сверху хорошо просматривался весь городок, бугор, из которого выплеснулся загадочный живой

огонь, коричнево-пепельные дымящиеся полосы — следы этого огня. Лава, преследовавшая его, искрилась, переливалась, шевелилась у подножия вышки, словно и в самом деле была живой.

— Как вы там? — спросил он запыхавшимся, прерывающимся голосом.

— У нас-то защита надежная, — ответил Симон.

— Откуда ты знаешь, насколько надежна защита?

Симон помолчал и не нашел другого ответа, кроме старой поговорки:

— Дома и стены помогают... А что ты там видишь?

— К дому огонь не подходит. За мной потянулся. Теперь под вышкой бушует.

— А где Пан?

— Бегаёт твой Пан...

— Что?

— Физзарядкой занимается. У него по твоему предписанию стокилометровая пробежка.

— Что он, спятил, в такой момент бегать?

— Он убежал за секунду до извержения...

— Значит, скоро вернется. Пан, ты слышишь меня?

— Я уже возвращаюсь, — послышался мурлыкающий голос. — Сегодня я побил свой собственный рекорд...

— Плевал я на твой рекорд! — грубо закричал Симон. — Сейчас же сюда!

— Тороплюсь, как только могу. Должен заметить, что я сейчас в лучшей форме, чем полчаса назад.

Симон прорычал что-то невразумительное и умолк.

— Вот тебе плоды просвещения, — усмехнулся Иван. — Я говорил: робот может перепрограммироваться. Спорт хорош как помощник труда, но не как его заменитель. И не только для робота...

— Чем я вас загружу, чем?! — снова закричал Симон.

— Чем угодно. Песок пересыпать, камни ворочать, дома строить... Человек должен созидать, иначе он де-

градирует. И робот тоже, поскольку он в некотором роде аналог человека...

— Нашли время спорить! — вмешался в разговор Ораз Мустафин.

«В самом деле, — подумал Иван. — Совсем рехнулись от безделья. Даже на опасность нет должной реакции».

Он посмотрел вниз. Огненный поток все бился под вышкой, пытаясь вползти на каменное возвышение фундамента.

— Я буду через три минуты, — промурлыкал Пан.

Симон ничего не ответил на это. Иван всмотрелся в зыбкое марево пустыни, увидел легкое облачко пыли. Облачко быстро приближалось, и скоро он разглядел гибкое тело Пана, огромными прыжками мчавшегося к станции. Он резко остановился возле вышки, и масса живого огня подалась к нему.

— Уводи его! — закричал Иван. — Уводи отсюда!

— Понял! — коротко ответил Пан.

Высоко подпрыгивая, словно радуясь объявившейся наконец-то возможности делать дело, он помчался по пустыне, и огненный вал, искрясь и словно распалаясь в лучах восходящего светила, покатился следом, оставляя за собой широкую темно-серую выжженную полосу.

Симон вышел из дома, помахал Ивану рукой.

— Ну вот, а ты говорил: спорт не нужен.

— Я говорил, что лучше делать дело, чем прыгать без толку, — ответил Иван, спускаясь с вышки.

— Опять двадцать пять! Да где взять это дело, где?!

— Там, где нет дела, не должно быть и человека.

— Это ты потом, в отчете, скажешь.

— Обязательно скажу...

Опаленный камень был горяч, это чувствовалось даже сквозь толстые подошвы. Пыль вокруг сплавилась в сплошную массу, напоминавшую застывший лавовый по-

ток. Доска со звездным рисунком почернела, но странные узлы, окруженные гибкими линиями, по-прежнему хорошо просматривались на ней. И вдруг Иван вспомнил, где он видел подобное, — на монолите древней плотины, на котором был оттиснут рисунок деревянных досок. Существовала в древности на Земле такая практика: деревья, драгоценные накопители органики, распиливали вдоль и из полученных досок делали опалубку, этакие коробки, в которые заливали жидкий бетон.

Может, и здесь, на Аксиоме, когда-то делалось подобное?! Ведь рисунок на этой каменной доске так схож с тем оттиском на бетонном монолите! Может, и здесь когда-то росли деревья? Пусть не такие, как на Земле, но деревья. Может, здесь была жизнь? Почему же она исчезла?.. Теперь он догадывался почему: все органическое на планете сожгла, сожрала огневка...

Прижав подбородком ларингофон, чтобы слышнее было, он начал рассказывать эти свои догадки Симону. И словно споткнулся. Подумал, что, если огневка знает, что такое органика, значит, это извержение, этот выплеск огня не случаен. Значит, там, в недрах, она каким-то образом учуяла, что на поверхности появились они, живые существа...

«Не учуяла же все эти месяцы, пока мы здесь», — попытался успокоить он себя. Но не успокоился. Было ясно: отныне им придется жить в буквальном смысле как на вулкане. И работать, работать, окружать станцию множеством дополнительных датчиков, контролировать их работу и каждый день ждать нового извержения. И делать множество не предусмотренных программой анализов, собирать данные, изучать это чудо природы — огневку...

— Ты хотел работать? Теперь наработаешься, — угрюмо сказал Симон, словно прочитав его мысли. — Без Пана это будет непросто.

— Без Пана? — повторил Иван и посмотрел в серую даль пустыни. Ему вдруг подумалось, что Пан, за-



программированный в последнее время на свою стокилометровку, очень просто может вернуться и притащить за собой огневку. В это не верилось: должен же он сообразить... Но ведь даже человек бесконечными повторениями одного и того же приучается делать несуразное, не то, что робот!

Он кинулся на вышку, сверху оглядел даль. Горизонт был чист. Значит, Пан уже далеко увел огневку и связаться с ним на таком расстоянии не удастся.

— Симон, — сказал он, — ничего не поделаешь, придется нам поочередно дежурить на вышке.

— Придется, — сразу согласился Симон, думая, как видно, о том же. В голосе его слышалась тревога.

— Ничего, — постарался утешить его Иван. — Ничего. Зато теперь у нас начнется жизнь, достойная человека...

## ЕСЛИ РАЗБУДИТЬ ПАМЯТЬ

В нашем классе завелся вундеркинд. И надо же, стал им Петька Самойлов, для которого тройка всегда была единственным «средством передвижения» из четверти в четверть.

Однажды он пришел в класс, бросил портфель на парту и стал декламировать:

— Эх, тройка, птица тройка! Кто тебя выдумал!..

Мы, конечно, засмеялись.

— Сам, — говорим, — тройку заработал.

— Эх вы! Это сочинил писатель Николай Васильевич Гоголь, — сказал Петька. И пошел декламировать наизусть, словно артист в телевизоре: — Знать, у бойкого народа ты могла только родиться...

И так далее. Как в учебнике, который мы еще не проходили.

А тут как раз урок литературы. Танька Воробьева, ясно, не выдержала, пискнула из-за парты:

— А Петя про тройку выучил.

Анна Петровна поглядела на нас, а потом в журнал. Видно, не поняла.

— Что мы приготовили дома? Кто готов отвечать?

Каждый раз она так спрашивает, и каждый раз после этого ее вопроса парты скрипеть начинают. Это мы сползаем пониже. А тут все повернулись к Петьке. И Анна Петровна тоже на него поглядела.

И Петька не стал ломаться, вылез из-за парты, даже рот открыл — и ни слова. Молчит. Мы уж подсказывать начали. Анна Петровна закрыла глаза ладонью — верный признак двойки. Но тут Петька словно проснулся. Вскликнул как-то странно и сказал:

— Я лучше «Евгения Онегина» прочитаю.

И, не дожидаясь разрешения, пошел скороговоркой про того дядю, который не в шутку занемог и уважать себя заставил.

Анна Петровна не поверила даже, подошла, посмотрела — не по книжке ли он читает. Да так и простояла рядом чуть не весь урок. А когда звонок прозвенел, взяла Петьку за руку и увела в учительскую.

Вышел он оттуда красный как рак, улыбающийся.

— Пятерку получил?

— Что пятерка! — сказал Петька таким тоном, будто никогда ничего другого не получал. — Она меня представлять будет.

— Как это «представлять»?

— Обыкновенно. Перед всеми учителями «Евгения» читать буду.

И он пошел по коридору таким зазнайкой. А мы все стояли на месте, удивленные, восхищенные, пораженные возможностями, которые отныне открывались перед Петькой. Мы-то знали: если кто попадает в вундеркинды, тому тройку не поставят. Лучше спросят еще раз.

На другой день было Петькино «представление».

В клубе. Впереди сидели учителя, потом мы всем классом (все-таки он наш вундеркинд), а на последних рядах — остальные.

Представляла сама Анна Петровна. Она говорила недолго, но здорово.

— Товарищи! — говорила она. — Ребята! Кое-кто из нас жалуется на плохую память. А ведь память наша обладает фантастическими возможностями. История знает немало примеров, когда простой человек выучивал невероятно много. Приведу только один пример — Маццофанти. Итальянец Джузеппе Маццофанти, живший во времена Пушкина, выучил пятьдесят шесть языков. Конечно, не у всех такие способности. Но все могут развить свою память настолько, чтобы хорошо помнить не только уроки, но и многое другое. Живой пример этому...

Тут Анна Петровна убежала за кулисы и вывела на сцену красного как рак нашего Петьку.

— Это Петя Самойлов. Вы все его хорошо знаете. Он сумел развить свою память. Сейчас Петя прочтет по памяти отрывки из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». — И первая похлопала в ладоши.

А потом наступила тишина. Слышно было, как воробьи за окном чирикали на весеннем солнце, да половицы под Петькой скрипели. Он все переминался с ноги на ногу, уже не красный, а бледный. И молчал.

— У лукоморья дуб зеленый, — подсказал кто-то. Видать, для смеха.

Потом мы зашшукали:

— Мой дядя... Дядя честных правил...

Вдруг Петька словно проснулся:

— Богат и славен Кочубей, — сказал. — Его поля необозримы. Там табуны его коней пасутся...

Анна Петровна попыталась возразить, что это, мол, не «Евгений Онегин», а «Полтава». На нее замахали

руками из учительских рядов: все равно, мол, Пушкин. И так Петька и продолжал без запинки говорить про Мазепу да про Марию. С выражением говорил, какого мы от него никогда и не слышали. Особенно это: «...И грянул бой, Полтавский бой!..»

Прямо мурашки по коже.

Петьку долго не отпускали со сцены. А после мы за него взялись. Мы — это Колька Еремеев, Ваня Колосков и, стало быть, я. Еще с утра мы договорились взять «вундеркинда» под свою опеку. Скоро был конец года, и нам тоже не помешало бы вызубрить по поэмке.

На улице мы подошли к нему с трех сторон.

— Что вы, ребята? — испугался Петька.

— Не бойся, — успокоил его Ваня. — Мы только хотим узнать, как тебе удалось столько вызубрить.

Но Петька еще больше испугался. Видно, решил, чуждак, что мы драться собрались. А чего тут драться, кулаки учебе не помощь.

— Я и не зубрил вовсе, — сказал Петька. — Чтоб мне лопнуть. Я этих стихов и в глаза никогда не видел.

— Наверное, ты их сам сочинил, — съязвил Коля Еремеев. Он всегда такой язва, прямо не может без своих шуточек.

— Да они мне приснились, честное слово. Пусть меня на второй год оставят, если вру.

Это была всем клятвам клятва. В такую поневоле поверишь.

— Обучение во сне, — обрадовался Ваня. — Известное дело. Я читал: включаешь магнитофон и спишь себе. А во сне все само выучивается.

— Да нет у меня никакого магнитофона, — возмущался Петька.

— Может, у тебя кровать такая волшебная?

— Ничего не волшебная.

— А ну покажи кровать...

Мы пошли к Петьке домой. Оглядели кровать, ни-

чего интересного не нашли. Кроме царапины на деревянной спинке да еще гвоздя, вбитого зачем-то снизу.

— А может, ты все-таки врешь? — растерянно спросил Коля. Хотя по Петькиной физиономии было видно, что ему самому все это до смерти интересно.

— А чего ты «Евгения»-то своего не читал со сцены?

— Забыл, — шепотом сказал Петька. — На другую ночь мне «Полтава» приснилась.

И мы зашептались, удивленные. Шепот ведь такая штука, только начни, потом слово вслух сказать страшно. Так мы стояли и шептались, пока не дошептались до одной идеи: кому-то остаться у Петьки ночевать. Кинули жребий — досталось мне.

Родителей мы быстро уговорили. Сказали, что надо вместе уроки учить, чтобы получить пятерки по литературе. А родителям, известно, только пятерку пообещай — что хочешь разрешат...

Постелили мне на полу. Лег я и стал глядеть в потолок. А по потолку тени ползали: должно быть, на улице гулял ветер, фонари качал. Петька уже храпел давно, а я все лежал с открытыми глазами и завидовал ему, зубрящему во сне свою очередную поэму. Потом догадался, подтянул свой матрасик к самой его кровати и скоро уснул. Во сне я стоял у доски и рассказывал какую-то сложную теорему. А учитель по математике — наша самая страшная гроза — стоял и улыбался.

Вдруг на задней парте кто-то тоскливо завыл. Я хотел проснуться и встать, но почувствовал, что меня держат за тусы. Тут мне стало совсем страшно. Дернулся я, ударился обо что-то головой. И вдруг кто-то как прыгнет на меня сверху, как-как закричит диким голосом...

Тут зажегся свет. В дверях стоял Петькин отец. А мы с Петькой барахтались на полу и кричали со страху. Оказалось, что это я во сне скатился под кровать и зацепился там за гвоздь. Оказалось, что Петька,

услышав, что под кроватью кто-то возится, с испугу свалился на пол. А выл это соседский щенок, которого ночью выгнали на балкон. Одним словом, все было ясно, понятно и смешно.

На другой день мы дружно посмеялись над этим ночным происшествием. Но смеялись мы только до урока математики. Выйдя к доске, я вдруг совершенно ясно вспомнил свой сон и начал исписывать доску тригонометрическими знаками.

— Это же из программы девятого класса! — удивился учитель.

Он взял меня за руку и повел в учительскую.

После этого моего триумфа вся школа потеряла покой. На переменах только и разговоров было, что о «вундеркиндах» из 5-го «В». С других этажей приходили смотреть на нас. Как на артистов.

Потом к Петьке стал проситься Коля Еремеев. Но прежде чем удалось еще раз уговорить родителей, мы сделали открытие. Случайно узнали, что «волшебные сны» можно видеть не только в Петькиной комнате, но и по другую сторону стены, на улице, и не только ночью, но и вечером, если задремать.

Мы вкопали в том месте скамеечку и допоздна стали просиживать на ней с закрытыми глазами.

Сны наши были как кино. Даже интереснее. Потому что кино быстро забывается, а сны помнились целый день во всех подробностях. Мы рассказывали их и друг другу, и приятелям в школе, кому можно было доверять. Жаль только, что пятерки нам уже не ставили. Учителя, прежде говорившие: «интересно», стали говорить: «подозрительно». И требовали ответов на заданные уроки. А уроки нам почему-то не снились.

Так продолжалось месяца два. Однажды мы, как всегда, сидели на своей скамейке и спорили о причинах странных снов.

— Дом у нас старый, — говорил Петька. — А в ста-

рых домах привидения водятся. Когда я был маленький, мне бабушка такое рассказывала!..

— Заколдованный дом! — прошептал Коля Еремеев.

А Ваня, который ничего не представлял себе без загадок космоса, стоял на своем:

— Это космические лучи. Кто-то с другой звезды внушает нам свои мысли.

— Откуда же они знают про «Евгения Онегина»?

— А может, они тебе только помогли вспомнить.

— Было бы чего вспоминать. Я этого «Евгения» и не читал ни разу.

— А может, отец читал? — сказал кто-то над нами.

Мы чуть со скамейки не попадали. Рядом стоял высокий дядя в плаще и шляпе.

Первым опомнился Петька.

— При чем тут отец? — сказал он.

— Вот тебе раз! Ты же сын своего отца.

— Дяденька, — сердито сказал Ваня. — Вы ведь не знаете, о чем мы говорим.

— Подумаешь — тайна. Вы разговариваете об обучении во сне.

Мы рты поразевали от удивления.

— А вы кто? — наконец спросил Ваня.

— Гражданин, как и вы. Живу во-он в том доме. Видите крышу?

Ваня безнадежно махнул рукой. Но и это незнакомый дядя понял так, будто неделю невидимо сидел рядом с нами.

— Могу утешить. Вы не одни мучаетесь. Мне тоже эти сны не дают покоя.

— Ка-акие сны?! — чуть не хором воскликнули мы.

— Эти самые. Вы только любуетесь ими, а мне еще приходится разбираться в их природе. Понимаете, какая штука? Замечено, что под воздействием определенных излучений в человеческом мозгу просыпаются ка-

кие-то неведомые центры памяти. Происходит это во сне...

— Во сне просыпаются? — спросил Колька Еремеев. Я дернул его за рукав, Петька наступил на ногу, а Ваня толкнул в бок. Чтобы не мешал слушать.

— Ну а что видите вы во сне?

Тут уж таиться было ни к чему, и мы, перебивая друг друга, рассказали все.

— Интересно, интересно, — говорил незнакомый дядя.

А когда мы все высказались, он встал и собрался уходить.

Должно быть, на наших физиономиях выразилось что-то этакое. Потому что он снова сел рядом с нами.

— Вы хотите спросить, что это такое? Не знаю, ребята. Да и никто, думаю, не знает. Ясно только, что это память.

— А Петька никогда не читал «Евгения Онегина», а вспомнил. Как он мог вспомнить, чего не читал?

— Вероятно, отец читал или дедушка. Говорят же — весь в отца. Если наследуется внешность, разные физиологические особенности, почему же не быть наследственной памяти? Почему бы детям не перенимать знания и опыт родителей? Такая память, похоже, существует в каждом из нас. Только не может вспомниться.

— Во была бы жизнь! — заволновался Коля Еремеев. — Учиться не надо, ведь папка все проходил уже.

Мы поглядели на Кольку с завистью: его отец был кандидатом наук.

— Все пройти нельзя. Может, учиться тогда пришлось бы еще больше. Только не с первого класса, а, скажем, сразу с института.

— Все равно легче.

— Легче ли? Ведь тогда непременно надо будет только на пятерки учиться. Ибо ваши знания станут реальным наследством, они перейдут к вашим детям.



— Лет через сто это какие же головы у людей будут?!

— Наверное, такие же. Речь идет не о том, чтобы все всегда помнить, а чтобы, когда понадобится, вызывать в памяти нужные знания. Будут люди ходить с какими-нибудь аппаратами. Нажал нужную кнопку — и все вспомнил.

— Как электронная машина?

— Вот-вот. Только запоминающее устройство — твоя голова. А в руках — пульт управления. Улавливаете идею? Ведь что такое мозг? Это миллиарды нервных клеток, миллиарды и миллиарды связей между ними. Вероятно, никогда не удастся создать электронную машину, подобную мозгу. Вот мы и подумали: а зачем ее создавать, когда она уже создана? У каждого своя. Надо только научиться управлять ею...

Он щелкнул Ваню по лбу. А Ваня даже не отодвинулся, смотрел на дядьку круглыми глазами, стараясь что-то понять.

— А чего же память? — спросил он.

— Скажи-ка, что ты проходил в прошлом году?

— Вона! Разве я помню?

— Помнишь. Все, что читал или видел когда-нибудь, навсегда остается в голове.

Мы засмеялись: взрослый человек, а не понимает. Даже учительница говорит, что у нас в одно ухо влетает, а из другого вылетает.

— Ничего не забывается, — сказал он. — И вы сами в этом убедились. Мы работали с нашими излучениями во-он там. Видно, один лучик пробился, дошел до вашего дома. Он-то и заставил вас вспомнить то, что когда-то проходили ваши отцы...

Дядька начал говорить о каких-то сложностях, которые при этом возникают, о переизбытке информации, о самозащите мыслящих систем от информационного взрыва, о том, что, может быть, невозможность в обыч-

ных условиях пробудить память предков и есть результат такой самозащиты...

Но эти рассуждения мы плохо поняли. Мы мечтали о возможностях, которые открылись бы перед нами, будь у нас такой аппаратик, чтобы вспоминать все. И за папу, и за маму, и за дедушку. Чем больше они проходили, тем больше мы помним и знаем...

— А у меня деда на фронте убило, — сказал Ваня грустно.

И нам стало очень жаль Ваню. Мы вдруг заметили, что уже поздно и дома нам здорово влетит. Для памяти...

Но на другой день после уроков мы снова сидели на своей скамейке, ждали этого дяденьку. А он не пришел. И волшебные сны все пропали. И на скамье, и даже в Петькиной комнате снилась теперь всякая чепуха, которую ни запомнить, ни понять.

Но мы все собираемся по вечерам возле Петькиного дома. Сидим и спорим, мечтаем о том времени, когда станем взрослыми и сами сделаем такую машинку для пробуждения памяти. Чтобы не только свое, а все помнить — и отцово и дедово. И не забывать никогда.

## ОТКРОЙ ГЛАЗА, МАЛЫШ!

— А у меня сегодня день рождения!..

— Сколько же тебе?

— Ровно пять исполнилось.

— Фу, килька!

Малыш непонимающе посмотрел на своего собеседника — рыжего Антошку, первого задиру из старшей группы.

— Что это — килька? — спросил он.

— Рыбка такая маленькая.

— Значит, это хорошее слово, — облегченно вздохнул Малыш. — Рыбкой меня мама называет.

— А у тебя где мама?

— Не знаю, — растерялся Малыш. — Она приходит...

— А моя мама улетела.

— Как улетела?

— А так. В космос.

— Вернется, — сказал Малыш. — Тетя Поля говорит: все улетающие обязательно возвращаются.

— Конечно, вернется. Только я тогда буду старый.

— С бородой?

— Не-ет, — неуверенно протянул Антошка. — Когда мама вернется, мне будет целых восемь лет.

— А я бы маму не пустил, — сказал Малыш.

— Как это?

— А так. Покрепче обнял бы за шею и заплакал.

— Я не ты, я уже большой, чтобы плакать. Мне шесть лет.

— А ты понарошку. Когда я плачу, мама не уходит.

— Это она тебя обманывает, а потом все равно уходит. Когда засыпаешь. Она когда-нибудь тебя будила?

Малыш задумался.

— Меня никто не будит, я сам просыпаюсь.

— Как бы не так. Когда надо, твоя тетя Поля включает музыку, и вы все просыпаетесь, кильки безголовые.

— Не ругайся, пожалуйста.

— «Какой хороший мальчик!» — пропел Антошка, подражая голосу воспитательницы.

— Ты чего тетю Полю передразниваешь?

Они сидели на бревнышке на берегу быстрой речушки, болтали ногами в воде.

— Тетя По-ля! — насмешливо сказал Антошка. — Знаешь, кто твоя тетя Поля? Врушка она.

— Сам ты врушка! — крикнул Малыш. Еще никогда не слышал он, чтобы так говорили о взрослых. А тетю Полю в их малышовой группе все особенно любили. «Велела тетя Поля», «Сказала тетя Поля» — этих слов

было достаточно, чтобы уговорить самых непослушных.

— А я говорю — врушка. Все взрослые обманщики...

— Сам ты обманщик! — взвился Малыш. — Самый, самый, пресамый!..

Они оба вскочили на ноги и стояли друг перед другом раскрасневшиеся, возбужденные.

— Я обманщик? — угрожающе спросил Антошка. Темные конопушки на его носу еще больше потемнели. — А хочешь, докажу! Я знаю такое!..

— Ничего ты не знаешь.

— Знаю. Вот это что по-твоему?

— Где?

— Все это. Все вокруг?

Малыш рассмеялся.

— Такой большой, а не знает!

— Все это ненастоящее.

— И речка?

— Какая это речка!

— И лес?

— Разве это лес? Одна видимость.

— И птички?

— Птички вроде настоящие...

— Ага, — обрадовался Малыш. — Не знаешь!

Антошка растерялся.

— А ты в лес ходил?

— Ходил.

— С тетей Полей? По тропиночке?

— Ага.

— Цыплята желтоносые! Ни на шаг от курицы. Самое интересное там и начинается, куда вас не пускают.

— Тетя Поля говорит: придет время, и мы все узнаем.

— А сейчас тебе неинтересно узнать?

— Интересно.

— Тогда слушай, что я скажу...

— Не хочу слушать, — заупрямился Малыш.

— А если сам увидишь, поверишь?

— Поверю.

— Тогда пошли.

Они перепрыгнули через речку и побежали по полю к лесу. Трава мягко стегала по щиколоткам. Жуки и бабочки торопливо разлетались из-под ног. Полуденное солнце жгло голову, и Малыш на бегу поплотнее натянул панаму.

Возле леса Антошка остановился.

— Ты дождя боишься?

— Дождя? — удивился Малыш. — Так же солнце.

— Ты на небо не смотри. Когда мы войдем в лес, все равно польется дождь. Я знаю.

— Встанем под дерево.

— Ага, они только того и хотят, чтобы мы никуда не ходили. А надо по дождю идти, не останавливаясь.

— Тетя Поля рассердится.

— Опять тетя Поля! Ты сам что-нибудь значишь? Если хочешь узнать, надо ничего не бояться. Там, за лесом, еще будет пустыня и ветер знаешь какой? Но если не бояться, можно быстро дойти до горизонта.

— До горизонта разве можно дойти? Тетя Поля говорила...

— Может, где и нельзя, а за лесом можно. Ты меня слушай.

Замирая сердцем, Малыш следом за Антошкой вошел в лес. Здесь трава была по пояс, и в этой траве что-то шуршало, шевелилось, бегало.

— Звери... тама, — зашептал Малыш.

— Наслушался сказок, — насмешливо фыркнул Антошка. — Самые большие звери в этом лесу — кролики.

— Зайчики?

— Кролики. Слушай, что говорят.

Только что светлый, залитый солнцем лес вдруг потемнел, короткой судорогой пробежал по верхушкам берез порыв ветра, и ослепительно белые стволы их словно погасли.

— Идем, идем, я же говорил — дождь будет.

И едва он это сказал, как зашуршало в листве и первые большие капли упали на панаму.

Теперь Малыш боялся Антошки. Рыжий и конопатый, знающий все наперед, он казался ему маленьким колдуном из сказки. Еще вчера Малыш был уверен, что не боится ничего на свете. Сколько они играли в смелых индейцев и космонавтов, сколько фильмов смотрели о бесстрашных исследователях чужих миров! Бывало, что и сами участвовали в фильмах, ползали по затаившимся джунглям. И никогда, ни единого разу Малыш не пугался. А тут было ему не по себе. Потому что одно дело, когда ты влезаешь в фильм, и совсем другое, когда все непонарошку.

Они пересекли тропу, по которой не раз ходили с тетей Полей, черную тропу, скользкую от дождя, незнакомую, и скоро оказались на опушке. Это удивило Малыша: ведь от их детсадовских домиков лес казался таким огромным!

Дождь кончился, и туча, только что закрывавшая солнце, куда-то исчезла с голубого неба. Впереди полового уходила вверх песчаная пустыня, поросшая редкой клочковатой травой.

— Ага, что я говорил?! — торжественно сказал Антошка. — Сейчас и ветер подует.

И в самом деле, они не сделали по песку десяти шагов, как навстречу ударил порыв ветра, засвистел в стеблях сухой травы.

— Давай руку, — крикнул Антошка, — а то еще унесет! Ты, главное, шагай и ничего не бойся. Там говорящие камни будут, так ты и их не бойся...

— Говорящие камни? — изумился Малыш, судорожно сжимая руку своего проводника. — Таких не бывает.

— Я тебе такое покажу, что слово «не бывает» совсем забудешь. Камни чего, дураки они, спрашивают одно и то же: сколько будет дважды два? Только ты не

вздумай сказать — четыре, враз поймут, что из младших, не пропустят. Отвечай как взрослый.

— А по-взрослому дважды два сколько будет?

— Они же этим вопросом мальцов ловят. Отвечай что-нибудь позаковыристей. Я, когда в первый раз шел, сказал им формулу подсчета энергоматерии в метагалактике.

— Ты знаешь? — изумился Малыш.

— Сказал первое, что придумалось. Мозги-то у камней каменные. Пока соображали, я и прошел.

Все в этой дороге казалось бесконечно далеким, а на самом деле было очень близким. Они и прошли-то всего ничего, а уж увидели впереди гряду острых камней. Между ними был узкий проход. Когда подошли к нему, из-под камней послышалось кряхтение и медлительный сонный голос:

— А сколько будет дважды два?

Малыш замер на месте. Он морщил лоб. Все формулы, как назло, вылетели из головы, и вспоминалась только глупая детская скороговорка.

— Давай же! — торопил Антошка.

— Две да две, да две на дне, сколько будет в голове? — выпалил Малыш.

Камни кряхтели и не шевелились. Ребятишки нырнули в узкий проход и кинулись наперегонки по плотному песку. Малышу показалось, что у него закружилась голова: горизонт странно приблизился, и все в глазах вдруг заструилось, заколебалось.

— Теперь пошли потихоньку, а то налетим на небо, носы расквасим, — сказал Антошка.

— На что? — Малыша поташнивало от круговерти в глазах, но он сразу забыл об этом, услышав такое.

— На стену, которая небом называется.

Малышу хотелось смеяться: небо — это же пустота! Но не смеялось: все ведь получалось по-Антошкиному.

— Я боюсь! — сказал он и зажмурился.

— Разнюнился, — презрительно протянул Антошка. — Лучше бы я пошел с Кешкой Беззубым. Уж он-то ничего не боится.

Кешка, тоже воспитанник тети Поли, выдернул свой качающийся зуб на спор. Очень ему захотелось иметь розовый кристаллик, который Малышу подарила мама. Мама сказала, что он привезен с Удивительной планеты кристаллов, на которую она летала в командировку, и Малыш дорожил подарком больше всего на свете. Но Кешка пристал, и Малыш согласился, совершенно уверенный, что выпорит. Проспорил. И со зла наградил Кешку кличкой — Беззубый.

— А я уже не боюсь, — сказал Малыш, не открывая глаз. — Что я, неба не видел?

Ему вдруг подумалось, что хорошо бы залезть на небо, раз оно такое твердое, и крикнуть сверху тете Поле, всем мальчишкам и девчонкам. Вот бы удивились. А Кешка пускай бы себе все зубы повыдергивал от зависти...

— Я ничего не боюсь! — твердо сказал Малыш и открыл глаза. Перед ним по-прежнему все плыло и качалось, откуда-то возникали белые облака и неожиданно исчезали в пульсирующем сине-бело-розовом пространстве. А то совсем близко появлялся лес, а то поле и знакомая речка, а то их детский сад с бегающей по двору ребятней. Появлялись и терялись, как в калейдоскопной игре цветов и форм.

— Уже пришли, — сказал Антошка. — Тут где-то дверь.

— Дверь в небе? И мы увидим, что за небом?

— Все увидим. Вот гляди — ступени.

Ступени были точно такие же, как в детском саду, из желтого шершавого пластика, только совсем новые, неисхоженные. Их было восемь. Над ступенями в зыбком мареве виднелось что-то похожее на дверь трудноразличимой формы: то ли квадратная, то ли овальная.



Дверь открылась сама собой, едва они ступили на верхнюю площадку. С порога Малыш оглянулся и ничего не разобрал — было сплошное переливчатое сине-бело-розовое сияние.

За дверью начинался короткий коридор, упиравшийся в другую дверь. Справа и слева тянулись то ли плафоны, то ли иллюминаторы, из которых лился ровный свет. Из-за стен слышалось тихое, монотонное гудение. Малыш разглядел, что один иллюминатор не светится, подошел, привстав на цыпочки, заглянул в него. За твердой прозрачной пленкой в ярком свете виднелись какие-то огромные цилиндры, трубы, таинственные агрегаты.

— Небесная механика! — насмешливо объяснил Антошка. — С помощью этих агрегатов малышне головы морочат.

— Кто морочит? — удивился Малыш.

— Кто-то, не я же.

— А что это за коридор?

— Почему я знаю?

Это было не похоже на Антошку: то все знал, а то вдруг сам признается, что не знает.

— Коридор и коридор. Главное, что дальше.

— А что дальше?

— Иди — увидишь. Такое увидишь — умрешь от удивления.

— Умру?

— Не по-настоящему, конечно.

— А как это «не по-настоящему»?

— Надоел ты мне: что да как? Иди знай.

Они разговаривали полупшепотом, словно боялись, что их подслушают, удивляясь необычной тишине, в которой даже шепот странно позванивал.

— Иди, чего встал.

— Иди ты вперед.

— Опять испугался?

— Ничутьточки.

— Тогда иди.

— А почему не ты?

— Она передо мной не откроется. Там дверь, которая открывается только перед теми, кто первый раз идет.

— Откуда она знает?

Антошка пожал плечами.

— Проверено.

С опаской Малыш подошел к двери, и она бесшумно скользнула куда-то вбок, открыв черный провал.

— Иди! — зачарованно шепнул за спиной Антошка.

Малыш не боялся темноты, но впереди, как ему вначале показалось, была не просто темнота, а пустота, ничто. Словно там, за дверью, сразу начинался черный-пречерный, беззвездный космос, о котором так много рассказывала тетя Поля.

— Ты хотел быть космонавтом?

— Хотел.

— Ну так иди.

Только присмотревшись, Малыш разглядел, что за дверью есть небольшая, слабо освещенная площадка. Он шагнул на нее, потом еще шагнул и уперся лбом в холодную, совершенно невидимую стену. Дверь сзади закрылась, и они с Антошкой остались вдвоем на темной площадке, зачарованные безбрежностью пустоты, раскинувшейся перед ними. Глаза уже привыкли к темноте, и теперь ребяташки видели бесчисленные разноцветные звезды, усыпавшие беспросветную черноту.

— Ух ты! — воскликнул Малыш.

— А ты думал! — тоже восхищенно сказал Антошка. — Еще и не то увидишь.

Звездное небо было совсем не таким, какое привык видеть Малыш над своим детским садом. Там он знал многие созвездия, мог отыскать и Большую Медведицу, и Льва, и Кита, и Рыбу. А тут все было незнакомое — бессмысленный хаос звезд.

Они долго смотрели на звезды и не могли оторваться от величавой картины этого чужого неба, пугающего и манящего.

— Послушай, Антошечка, — ласково сказал Малыш. — Ты ведь все знаешь. Расскажи, что это такое, а? Знаешь ведь?

— Давно бы спросил. А то идет и не спрашивает. А я что — не спрашиваешь, и не надо...

— Расскажи, пожалуйста. Может, это нам снится?

— Что нам, один сон снится?

— Это мне снится. А ты в моем сне. А?

— Как бы это я привел тебя в твой собственный сон? — заинтересовался Антошка.

— Как, как, очень просто.

— Я вот тебе сейчас дам в бок, а ты соображай — во сне это или не во сне.

— Ты лучше так расскажи.

Антошка отступил на шаг и в звездном полумраке показался Малышу большим, совсем взрослым.

— Тебе тетя Поля рассказывала о космосе? — спросил он.

— Сколько раз.

— И все хвалила да хвалила?

— Конечно.

— Знаешь, зачем она это делала? Чтобы вы, кильки малолетние, забыв про свою манную кашку, с утра до вечера глядели в небо.

— А зачем?

— Чтобы мечтали о космосе.

— А зачем?

— Ну чтобы хотели полететь.

— А зачем?

— Заладил. Да затем, чтобы радовались, узнав, что уже летите.

— Кто летит?

— Все мы. И наш детский сад вместе с лесом, полем, речкой.

— А, знаю, — обрадовался Малыш. — Тетя Поля говорила: вся Земля — все равно что космический корабль, только большой.

— Тетя Поля, тетя Поля, — передразнил Антошка. — Я говорю о настоящем космическом корабле, на котором мы с тобой находимся. А на Земле мы никогда и не жили. Вот.

— Врешь ты все.

— Вру? А это что? — Антошка широко показал на черный звездный простор, подался вперед, хлопнул ладошкой по невидимой холодной сфере. — А это? Тебе мало? Пошли дальше, еще покажу.

— Куда дальше? — Малыш огляделся. Ему казалось, что отсюда одна дорога — обратно. И вдруг в темном углу он увидел такой же темный провал туннеля, а возле него поблескивающие глаза робота-десятиного.

— Там Киса! — испуганно вскрикнул Малыш.

Точно такой же робот был у них в детском саду, бегал днем и ночью по коридорам, всегда чем-то занятый, все знающий, все замечающий. И если шаловливая ребятня изобретала сотню способов разжалобить, а то и просто обмануть тетю Полю, то десятиного провести еще никому не удавалось. Он терпеливо сносил проделки ребят, их шуточки, даже издевательства и упрямо делал то, что велела тетя Поля. У десятиного было много прозвищ и кличек. Малышня звала его Кисой за упругие усики-антенны на сером носу. Те, кто был постарше, почему-то ругали робота Сороконожкой.

— Подумаешь, Киса! — сказал Антошка. Он смело подошел к десятиному и пальцем принялся щекотать ему усы. Робот вытянулся на всех своих ногах и стал похож на высокую тумбочку с выпуклой крышкой. Три пары его розовых глаз замутились, словно он жмурился от удовольствия.

— Киса? — сказал Малыш, погладив гладкую мягкую кожу робота. — Ты почему ребят оставил? Как они без тебя?

Робот молчал. И тут Малыш увидел, что это совсем

другой робот. У их, детсадовского, не хватало слева четырех усюнок-антенн — повыдергала ребятня, а у этого все были целы.

— Пошли, — сказал Антошка.

— А Киса?

— Кису только пощекотать. Полчаса будет жмуриться. Пошли.

Робот и в самом деле не двинулся с места, когда они шагнули мимо него в темный провал туннеля. Но потом покати́лся следом за ребятами. Туннель был длинный, где-то далеко, в конце его, светлел выход.

Мальчишки запыхались, пока добежали до этого выхода. Выскочили в ослепительный сияющий простор и заморгали, привыкая к яркому свету. Свет лился, казалось, отовсюду. Когда пригляделись, поняли: и в самом деле отовсюду. Матово подсвечивал пол площадки, на которой они оказались. И высокие перила ограждения, и стены, и близкий потолок над головой — все это словно было выткано из света. Потому и казалось, что впереди воздушный, залитый солнцем простор. И только переливающиеся тенями полосы на полу и перилах напоминали о границах этого светового мира.

Зачарованно оглядываясь, Малыш подошел к ограждению и задохнулся от красоты увиденного, от ликующей радости, охватившей его. Внизу огромным полем простиралось калейдоскопное разноцветье. Красные, желтые, зеленые, голубые квадраты, полосы, овалы, переходившие один в другой, лежали перед Малышом, шевелились, жили. Жили! Малыш разглядел и людей, двигавшихся посреди этой пестрой красоты, мужчин и женщин. Не видел только детей.

Одна женщина подняла голову, внимательно посмотрела вверх, помахала рукой.

— Мама! — ликующе закричал Малыш. И, забыв обо всем, полез на прозрачную решетку ограждения...

Воспитательница детского сада Полина Аркадьевна,

молодая красивая женщина с добрыми глазами, ахнула, увидев Малыша на ограждении, и подалась к экрану, по которому вот уже два часа наблюдала за ребятами.

— Не волнуйтесь, робот успеет, — сказал присутствовавший в кабинете главный психолог детсадовской зоны Валентин Оразов, невысокий черноволосый мужчина. Он приблизил изображение, и стало видно, что робот уже начеку, уже обхватил тонкими гибкими щупальцами талию мальчика.

Малыш замахал руками, пытаясь освободиться, но, сообразив, что это невозможно, обернулся и принялся щекотать Кисе усы. Десятиног поблескивал глазами-кристаллами, но щупальца не разжимал.

— Жалко Малыша, — сказал сидевший возле экрана молодой стажер Костя Рудин. — Пусть бы прыгнул. Представляете?..

— А вы представляете? — прервал его Оразов. — Узнает, расскажет всем детишкам. Ведь они в другой раз, не задумываясь, начнут десантировать с этого балкона. И не только с этого. Нет уж, давайте без молодых эмоций. Тем более что вам по роду будущей работы надо учиться предусмотрительности.

— Я понимаю, — вздохнул стажер. — Только какой был бы след на всю жизнь! Я свою первую экскурсию так помню! А если бы еще и это?!

— Всему свое время.

— Все равно рано или поздно...

— Лучше поздно, — прервал его Оразов. — Вы этого не понимаете?

Он посмотрел на стажера сердито и внимательно, и Рудин понял: еще немного, и главный психолог усомнится в его способности работать в детсадовской зоне. И тогда! Сколько тогда понадобится усилий, чтобы доказать обратное?

— Все я понимаю, Валентин Оразович, очень даже хорошо понимаю, — заторопился стажер. — Но пять, а то и шесть лет — не многовато ли для детства? Они

к шести годам столько знают и умеют, что хоть давай им самостоятельную работу. По себе знаю...

— Вы полагаете? — заинтересованно спросил Озаров.

— Конечно! — обрадовался стажер. — На корабле столько дел, столько дел!..

— А сколько людей на корабле?

Рудину показалось, что его доводы дошли до бесстрастного главного психолога, заинтересовали его. И он заговорил торопливо, как на экзамене, словно боясь, что его не дослушают:

— Я все знаю и про корабль, и про нас с вами. Это не корабль, а целая планета: восемьдесят километров в длину, сто тысяч — экипаж. Это не экипаж, а подлинная частица человечества. И такое не случайно: сохранить человеческое лицо, не выродиться можно только в полноценном обществе. Мы посланцы великой цивилизации. Да что посланцы, мы сами цивилизация, живущая самостоятельно, ищущая, развивающаяся... Семь поколений сменилось на корабле после того, как мы покинули пределы Солнечной системы. А сколько еще сменится, пока завершится наша переселенческая эпопея?! Важно начало, и важен конец. Все поколения, что посередине, лишь передаточные звенья. Их задача — уцелеть, сохранить генетические и социальные начала и как можно больше узнать о космосе. Чтобы к цели, к другой солнечной системе, которую предстоит обживать нашим потомкам, прилетел не просто корабль, а сгусток знаний не менее, а может быть, и более высоких, чем земные...

— Вы так полагаете? — снова спросил Озаров.

— ...Детство — это время, когда человек, как губка, впитывает все — и впечатления и знания. А мы его консервируем — детство. Представляете, что будет, если сократить его хотя бы на год-два?! Сколько свежих сил, новых открытий?!

— Вы очень хорошо сказали...

Оразов медленно начал поворачиваться к стажеру, как всегда, спокойный, уравновешенный. Но и он вздрогнул от тихого вскрика Полины Аркадьевны, неотрывно смотревшей на экран. На экране происходило что-то непонятное. Десятиног, который только что вел ребятишек ко входу в тоннель, чтобы отправить их обратно в детсадовскую зону, суетился на площадке, размахивая щупальцами. Он держал за руку упиравшегося Антошку, а Малыша возле него не было.

Оразов резко увеличил обзор, и все сразу же увидели Малыша. Каким-то чудом ему удалось вырваться из цепких объятий робота, и теперь Малыш стремительно бежал к невысокому ограждению. Он взлетел на перила одним махом, будто перед этим специально тренировался, на мгновение застыл наверху, маленький, худенький, торопливо оглядывая под собой пестрый kaleidoscope крыш.

— Мама! — отчаянно крикнул он и, зажмурившись, прыгнул.

На мгновение повисла тишина.

— Почему он не испугался? — задумчиво спросил сам себя Оразов.

Полина Аркадьевна подалась почти к самому экрану, сказала ласково, доверительно:

— Малыш, мальчик мой, помнишь, я рассказывала о гравитации? Что в космосе человек свободен от ее оков? Что мячик, подброшенный вверх, не падает? Помнишь? Почему же ты испугался и зажмурился? Ведь ты уже знаешь, что находишься в космосе. В детсадовской зоне гравитация создана искусственно. Там все как на Земле. И на площадке, где ты только что был, гравитация держала тебя. Она действовала, пока твои ноги касались площадки. Но когда ты прыгнул... Ты слышишь меня, Малыш? Открой же глаза и не бойся. Ничего не бойся...

Теперь лицо Малыша было во весь экран. Он удив-



ленно смотрел по сторонам, ничего не понимая. Пестрый ковер крыш медленно поплыл под ним.

— ...В космосе невесомость, в космосе все летают, — тихо говорила ему Полина Аркадьевна. — Не бойся, я с тобой...

Оразов снова повернулся к Рудину, повторил сдержанно:

— Вы очень хорошо сказали насчет детства. Верно — консервируем. Консервируем, чтобы защитить. Если продолжить вашу нетерпеливую мысль, то почему бы не сделать и следующий шаг — ускорить время созревания плода в чреве матери? Пусть бы рожали не через девять, а, скажем, через два-три месяца. Какая была бы экономия сил и времени!..

— Я такого не говорил! — взвился стажер, уловив иронию.

— Могли сказать или, по крайней мере, подумать. Но такое нецелесообразно. Вы думаете, за миллионы лет эволюции природа упустила бы такую возможность? Но большего не могла даже природа, — ведь за девять месяцев зародыш как бы должен прожить всю предысторию человеческого рода. А детство? Что такое детство? Это такая же стремительная пробежка по истории человечества. Вам должен быть известен факт: за три первых года жизни человек проходит половину своего развития. Половину! Это вам о чем-нибудь говорит?..

— Но я не о том!..

— И я не о том. Я о детстве переселенцев. Вы задавали себе вопрос: почему на нашем корабле, где так тесно, выделено такое огромное пространство для детсадовской зоны? Почему для детей воссозданы земные условия? Думаете, только потому, что детям больше, чем кому-либо другому, нужны солнце, воздух и вода, цветочки-бабочки? Да, это древнее убеждение не устарело. Но, кроме того, нашим детям, детям переселенцев, нужно именно земное детство. То, что входит в человека в пору детства, остается святым на всю жизнь. По-

нимаєте? Покоління людей, ніколи не бачилих Землі, повинні зберегти любов до неї. Просто знань о Землі тут недостатньо, необхідна саме душевна прив'язаність...

— Але ж, виростаючи, всі дізнаються, що ніколи не були на Землі, що прожили дитинство в ілюзорному світі, — торопливо вставив стажер.

— Виростаючи, переселенці багато дізнаються і про справжню Землю, земле-матушку, як говорили в старину...

— Але жити-то всім нам доводиться не на Землі, а в особливих умовах. Щоб вижити, нам потрібно вивчати і освоювати ці умови.

Стажер говорив збуджено, відчуваючи, що від цього випадкового розмови, який він сам же і почав, залежить дуже багато.

— Несомненно, потрібно вивчати, потрібно освоювати. Але спочатку нам потрібно не втратити мету. А це можливо, тільки якщо ми не втратимо справжню точку. Чому ми летимо, що будемо робити там, куди прагнемо?.. Дитинство — це казки, віра в чудеса, це і забутий дорослими індивідуальний суперництво. Дитинство, я вже говорив, як би пробіжка по історії, по соціалістичній історії. Всі болі, якими переболіло людство, в мініатюрі проходять через таємничу пору дитинства. Без нормального дитинства будуть виростати уроди, як народилися б уроди, нежиттєздатні істоти при скороченні термінів вагітності. Втрата дітей дитинства, я не взявся б передсказати, що ми, переселенці, освоїв далекі планети, не змушені були б в нових суспільних умовах переболіти всіма жахливими соціальними хворобами... Тому-то і не поспішимо виганяти дітей з дитинства. Настає час, і вони самі йдуть у світ дорослих, але йдуть природно, як діти, в гру, чекаючи чудес від кожного наступного кроку. Тільки при нормальному дитинстві майбутнє може бути казковим...

Головний психолог говорив холодно, назидально, не

глядя на стажера. Рудин молчал, он понимал, что его стажировка окончена, и окончена плохо.

А воспитательница все шепталась с Малышом, прикинув к самому экрану, рассказывала о корабле, о людях, его населяющих, о домах, раскинувшихся внизу. Она не знала, внимательно ли слушает он ее, и потому говорила и говорила, как говорят и не могут наговориться с уходящими навсегда.

А Малыш все смотрел на чудеса, открывающиеся ему, и не видел этих чудес. Он искал маму.



## ОБ АВТОРЕ

22 июня 1941 года улицы старинного русского города Костромы заливало щедрое солнце, Волга сияла под обрывами чистым серебром. В полдень Владимир Рыбин получил свидетельство об окончании школы-семилетки. И в тот же час радио принесло страшную весть — началась война.

Тем же тревожным летом началась трудовая биография автора этой книги. В 15 лет он уже работает слесарем, затем электромонтером на оборонном заводе, выпускавшем снаряды для знаменитой сорокапятки.

В 16 лет он — комсомолец, в 18 лет — солдат, в 22 — офицер Советской Армии, в 25 — член КПСС.

Теперь, вспоминая свою юность, Владимир Рыбин говорит, что трудности военной и послевоенной поры, ускоряя гражданское созревание, давали закалку на всю жизнь.

Эта закалка помогла впоследствии совмещать работу с учебой. И среднюю школу, и Московский университет он оканчивал без отрыва от основной работы, занимаясь по вечерам.

Затем много лет было отдано журналистике.

В литературу он пришел поздно, только к 50 годам.

В своем творчестве участник войны, член Союза писателей СССР Владимир Алексеевич Рыбин верен взаимопроникающему триединству литературных жанров — путешествиям, приключениям, фантастике. Долгие годы работая корреспондентом в журнале «Советский Союз», В. Рыбин объехал всю страну. Было множество корреспонденций, очерков, опубликованных в разных газетах и журналах. Но главный итог журналистского периода — три книги путешествий. «По древнему пути «Из варяг в греки», «Путешествие в страну миражей» (о Туркмении), «Навстречу рассвету» (путешествие по Амуру).

Одна за другой выходят книги В. Рыбина о героях войны и послевоенной Советской Армии. Даже рассказывающие о подлинные события, книги эти читаются как чисто приключенческие:

«Звездный час майора Кузнецова», «Бастионы в огне», «Встречный бой», «Седьмая звезда», «Взорванная тишина».

И в своих фантастических рассказах и повестях В. Рыбин остается верен приключенческому направлению. «Дело об убегающих звездах», «Иллюзион» и другие произведения, вошедшие в его первую книгу фантастики «Здравствуй, Галактика!», отличаются прежде всего сюжетной остротой. Уже в этой книге намечается и новое направление в творчестве автора — исследование психологии человека, попавшего в исключительно сложную ситуацию, оказавшегося один на один с проблемами общечеловеческого плана. Таковы рассказы «Земля зовет», «Голубой цветок», «Дверь в иной мир», «Ошибка профессора Громова».

Многие из героев произведений Владимира Алексеевича — дети, подростки. Рассказы о них проникнуты особым лиризмом. Таков «Открой глаза, малыш!», неоднократно переиздававшийся в Советском Союзе, переведенный на многие языки мира.

В предлагаемой читателям новой книге фантастики В. Рыбина — «Гипотеза о сотворении» — почти половина рассказов и повестей посвящена детям. Извечное стремление фантастов «заглянуть за горизонт» в рассказах, где герои — дети, приобретает как бы новое качество, своего рода «дальнодействие». Ведь дети — это будущее. А исследование психологии детей — это похоже на попытку заглянуть за тот горизонт, который за горизонтом.

И в то же время фантастика В. Рыбина очень современна, даже злободневна, свидетельство тому — рассказы «Живая связь», «Зодчие» и другие произведения.

Представлена в этой книге и типичная для творчества автора приключенческая фантастика «Что мы Пандоре?», и такая, в которой делается попытка смелого научного прогнозирования — «Гипотеза о сотворении», и так называемая «бытовая фантастика», где вроде бы все реалистично, все нам знакомо, где лишь намекается на неведомое и таинственное.

## О ХУДОЖНИКЕ

Издания с рисунками Юрия Макарова знакомы нескольким поколениям любителей фантастики. Он неизменный оформитель книг А. П. Казанцева. Сейчас даже трудно представить произведения Александра Петровича в чем-либо другом оформлении. настолько рисунки художника органично слились в сознании читателей с книгами старейшего советского фантаста.

Художник рисует в характерной, присущей ему манере. Его иллюстрации к книгам остросюжетны, полны динамизма и потому, наверное, так привлекательны для читателя.

Юрий Макаров — человек сложной судьбы. Родился он в

1921 году в городе Бийске на Алтае, в крестьянской семье. В зимние вечера мать шила шапки, а маленький Юра приноровился вырезать из лоскутиков фигурки лошадей. Получалось вроде неплохо. Родителям нравилось.

Когда семья переехала в Омск, то Юра наряду с посещением обычной школы ходил заниматься вольнослушателем в художественный техникум имени М. А. Врубеля. Способного мальчика заметили. По направлению Омского обкома тринадцатилетний Юра приехал в Москву в Дом художественного воспитания детей при Наркомпросе. Располагался Дом на Чистых прудах.

А в Ленинграде в ту пору была открыта Школа юных дарований при Академии художеств...

Сохранился у Юрия Георгиевича интересный документ — письмо к директору Академии художеств И. Бродскому от заместителя народного комиссара просвещения, датированное 19 ноября 1935 года:

«Прошу принять Юру Макарова и рассмотреть его работы на предмет определения его в школу изобразительных искусств для особо одаренных детей при Академии художеств.

По заключению специалистов Юра Макаров обладает исключительными дарованиями в области рисунка».

Юрий был принят в эту школу.

На втором году обучения на выставке детского рисунка в Париже его работа на чапаевскую тему получила вторую премию, а в следующем, 1937 году на выставке детского рисунка у нас в стране он получил первую премию за панораму Полтавской битвы.

Перспективы на будущее вроде бы вырисовывались четкие, и все было хорошо, да, видно, проявилась излишняя живость Юрино-го характера, которая не раз вредила ему и в дальнейшем. За проступок — подрался он со сверстником, а его заступника Бродского не было в то время в городе — исключили Юрия из школы.

И начались скитания. Работал в Эрмитаже, в цирковой труппе Донато. Рисовал афиши, выступал на арене. После травмы, полученной во время выступления, стал эстрадным танцором. Его выход громко объявляли: «Ритмический вальс исполнит для вас Юрий Макаров и джаз».

Подошло время призыва в армию. Попал Юрий в школу младших авиационных специалистов. Но оканчить ее не успел. Началась война.

В первом вылете летающую лодку, на которой он был стрелком, сбили в неравном бою. Потом воевал в морской пехоте, был ранен, лежал в госпитале.

После госпиталя получил направление на Тихоокеанский флот. Был художником флотского театра, военным художником-корреспондентом. Участвовал в перегоне морских транспортов типа «Либерти» с грузами, поставлявшимися по ленд-лизу из Америки в на-

ши порты. Рейсы эти были опасные. «Либерти» строились из расчета на один рейс. В 1944 году в одном из рейсов транспорт был потоплен, а Юрий ранен. Сорок минут пробыл он в студеное море. Последствия этого ранения скажутся через многие годы. Приведут к инвалидности...

Окончилась война с Японией. Некоторое время Макаров служил в Корее, Маньчжурии, Китае. В 1946 году демобилизовался.

И снова поиски своего творческого пути. Работал художником театра...

Как-то случай свел его с Валентином Катаевым. Писателю понравились рисунки Юрия, и он предложил ему оформить недавно написанную рукопись «За власть Советов». Эта книга и стала первой работой Макарова на новом для него поприще.

С той поры Макаровым оформлено около двух тысяч изданий.

1986 год — юбилейный как для автора, так и для художника этой книги. Им исполняется по 60 лет,

## СОДЕРЖАНИЕ

ЖИВАЯ СВЯЗЬ (рассказ) . . . . .	5
О ЧЕМ ПЛАЧЕТ ИВОЛКА (рассказ) . . . . .	23
ЗОДЧИЕ (рассказ) . . . . .	42
ГИПОТЕЗА О СОТВОРЕНИИ (рассказ) . . . . .	58
СЕКРЕТ СЕН-ЖЕРМЕНА (рассказ) . . . . .	89
ГОРОД ЭСТЕТОВ (рассказ) . . . . .	118
СУПЕР (рассказ) . . . . .	145
РАССКАЖИТЕ МНЕ О МЕЦАМОРЕ (повесть) . . . . .	159
ЧТО МЫ ПАНДОРЕ? (рассказ) . . . . .	217
ПАН-СПОРТСМЕН (рассказ) . . . . .	261
ЕСЛИ РАЗБУДИТЬ ПАМЯТЬ (рассказ) . . . . .	272
ОТКРОЙ ГЛАЗА, МАЛЫШ! (рассказ) . . . . .	281
<i>Об авторе</i> . . . . .	299
<i>О художнике</i> . . . . .	300



**Рыбин В. А.**

**Р 93** Гипотеза о сотворении: Фантастические рассказы и повесть. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 303 с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

В пер.: 1 р. 100 000 экз.

Сборник фантастических произведений, посвященных человеку будущего, гармонии его личности, извечным нравственным проблемам, стоящим перед человечеством.

**Р** 4702010200—033  
078(02)—86 172—86

**ББК 84Р7**  
**Р2**

ИБ № 4618

**Владимир Алексеевич Рыбин**

**ГИПОТЕЗА О СОТВОРЕНИИ**

Редактор **В. Родиков**

Рецензент **Л. Поспелов**

Художник **Ю. Макаров**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры **А. Долидзе, Т. Пескова**

Сдано в набор 06.09.85. Подписано в печать 10.01.86. А08013. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Услови. печ. л. 13,3. Услови. кр.-отт. 13,65. Учетно-изд. л. 14,2. Тираж 100 000 экз. Цена 1 руб. Заказ 1324.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21



Сканирование - Беспалов  
DjVu-кодирование - Беспалов



1 руб.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

